

∞ *Звѣно* АСТАФЬЕВ

∞ *Звѣно* АСТАФЬЕВ

Виктор
АСТАФЬЕВ

—

Собрание сочинений

Виктор
АСТАФЬЕВ

Собрание сочинений в пятнадцати томах

КРАСНОЯРСК
«ОФСЕТ»
1997

Виктор
АСТАФЬЕВ

—

Собрание сочинений

•

Том
ВОСЬМОЙ

•

ОДА
РУССКОМУ ОГОРОДУ

ПАРУНЯ
очерк

ЗРЯЧИЙ ПОСОХ
Повесть

КРАСНОЯРСК
«ОФСЕТ»
1997

Художественное оформление
А. Озеревской, А. Яковлева

Астафьев В. П.

А91 Собрание сочинений: В 15 т. Т. 8. Произведения
1970—1980-х годов. Ода русскому огороду. Паруня.
Очерк. Зрячий посох. Повесть. — Красноярск: ПИК
«Офсет», 1997. — 352 с.

В восьмой том собрания сочинений В. П. Астафьева включены произведения, написанные им в 1970—1980-х годах (писатель жил тогда в Вологде). Это ставшая хрестоматийной «Ода русскому огороду» — его песнь деревенской природе и деревенскому труду, очерк «Паруня» и повесть о литературно-творческой дружбе В. П. Астафьева с известным московским критиком А. Н. Макаровым. Завершают том авторские комментарии.

© В. Астафьев, 1997

© А. Озеревская, А. Яковлев.

Оформление, 1997

© Производственно-издательский комбинат «Офсет», 1997

ОДА
РУССКОМУ ОГОРОДУ

•

Память моя, память, что ты делаешь со мной?! Все прямее, все уже твои дороги, все морочней обрез земли, и каждая дальняя вершина чудится часовенкой, сулящей успокоение. И реже путники встречу, которым хотелось бы поклониться, а воспоминания, необходимые живой душе, осыпаются осенним листом. Стою на житейском ветру голым деревом, завывают во мне ветры, выдувая звуки и краски той жизни, которую я так любил и в которой умел находить радости даже в тяжелые свои дни и годы.

И все не умолкает во мне война, сотрясая усталую душу. Багровый свет пробивается сквозь немую уже толщу времени, и, сплющенная, окаменелая, но не утерявшая запаха гари и крови, клубится она во мне.

Успокоения хочется, хоть какого-нибудь успокоения. Но нет его даже во сне, и во сне мучаюсь я, прячусь от взрывов и где-то за полночь начинаю с ужасом понимать: это уже не та война, от теперешних взрывов не спрятаться, не укрыться, и тогда покорно, устало и равнодушно жду последней вспышки — вот сверкнет бело, ослепительно, скорчит меня последней судорогой, оплавит и унесет искрой в глубину так и не постигнутого моим разумом мироздания. И вижу ведь, явственно вижу искорку ту, ощущаю ее полет. Оттого вижу, что был уже песчинкой в огромной буре, кружился, летал где-то между жизнью и смертью, и совсем случайно, капризом или волей судьбы, не унесло меня в небытие, а сбросило на изнуренную землю.

Сколько раз погибал я в мучительных снах! И все-таки воскресал и воскресал. На смену жутко гудящему огню, гремучему дыму взрывов неожиданно хлынут пестрые поляны в цветах; шумливая березовая роща; тихий кедрач на мшиной горе; вспененная потоком река; коромысло радуги над нею; остров, обметанный зеленым мехом тальника; степенный деревенский огород возле крестьянского двора.

И лица, лица...

Явятся все женщины, которых хотел бы встретить и любить, и, уже снисходительный к ним и к себе, не протягиваю им руки, а вспоминаю тех женщин, которых встретил и любил на самом деле. С годами я научился утешать и обманывать себя — вспоминания об этих встречах сладостней и чище самих встреч...

Память моя, сотвори еще раз чудо, спими с души тревогу, тупой гнет усталости, пробудившей угрюмость и отравляющую сладость одиночества. И воскреси, — слышишь? — воскреси во мне мальчика, дай успокоиться и очиститься возле него. Ну хочешь, я, безбожник, именем Господним заклинать тебя стану, как однажды, оглушенный и ослепленный войною, молил поднять меня со дна мертвых пучин и хоть что-нибудь найти в темном и омертвелом нутре? И вспомнил, вспомнил то, что хотели во мне убить, а вспомнив, оживил мальчика — и пустота снова наполнилась звуками, красками, запахами.

Мне говорили: этакая надсада не пройдет даром! Буду я болеть и от нервного перенапряжения не доживу сколько-то лет, мне положенных. А зачем они мне, эти сколько-то лет, без моего мальчика? И кто их считал, годы, нам положенные?

Озари же, память, мальчика до каждой веснушки, до каждой царапинки, до белого шрама на верхней губе — учился когда-то ходить, упал и рассек губу о ребро половицы.

Первый в жизни шрам.

Сколько потом их будет на теле и в душе?

...Далеко-далеко возникло легкое движение, колыхнулась серебряная нить, колыхнулась и поутихла, слилась с небесным маревом. Но все во мне встрепетулось, отозвалось на едва ощутимый проблеск памяти. Там, в неторопливо приближающемся прошлом, по паутине, вот-вот готовой оборваться, под куполом небес, притушив дыхание, идет ко мне озаренный солнцем деревенский мальчик.

Я тороплюсь навстречу ему, бегу с одышкой, переваливаюсь неуклюже, будто липялый гусь по тундре, бухаю обнажившимися костями по замшелой мерзлоте. Спешу, спешу, минуя кроволития и войны; цехи с клокочущим металлом; умников, сотворивших ад на земле; мимо затаенных врагов и мнимых друзей; мимо удушливых вокзалов; мимо житейских дрязи; мимо газовых факелов и мазутных рек; мимо вольт и топц; мимо экспрессов и спутников; мимо волн эфира и киноужасов...

Сквозь все это, сквози! Туда, где на истинной земле жили воистину родные люди, умевшие любить тебя просто так, за то, что ты есть, и знающие одну-единственную плату — ответную любовь.

Много ходившие больные ноги дрогнули, кожей ощутив не тундровую стынь, а живое тепло огородной борозды, коснувшись мягкой плоти трудовой земли, почували ее токи, вот уже чистая роса врачует ссадины.

Много-много лет спустя узнает мой мальчик, что такой же, как он, малый человек в другой совсем стороне, пережив волнующие минуты полного слияния с родной землей, прошепчет со вздохом: «Я слышу печальные звуки, которых не слышит никто...»

...Беру в свою большую ладонь руку мальчика и мучительно долго всматриваюсь в него, стриженного, конопатого, — неужто он был мною, а я им?!

* * *

Дом мальчика стоял лицом к реке, зависая окнами и завалинкой над подмытым крутоярьем, заросшим шептунтравой, чернобыльником, всюду пролезающей жалицей. К правой скуле дома примыкал городьбою огород, косо и шатко идущей вдоль лога, в вешневодье залитого до увалов дикой водою, оставлявшей после отката пластушины льда и свежие водомоины — земельные рапы, которые тут же начинало затягивать зеленой кожей плесени. По чуть приметной ложбине вода иными веснами проникала под жерди заднего прясла, разливалась под самой уж горой, заполняла яму, из которой когда-то брали землю на хозяйственную надобность. В яме-бочажине, если год бывал пезасушливый, вода кисла до заморозков, лед на ней получался комковатый, провалью-черпый, на него боязно было ступать. В бочажине застревали щурята, по-

хожие на складной пожик, и гальяны, проспавшие отходную водотечь. Щурята быстро управлялись с гальянами, самих щурят ребятишки выдергивали волосяной петлей, либо коршушье и вороны хватали, когда они опрокидывались от удушья кверху брюхом — в яму сваливали всякий хлам.

Летом бочажина покрывалась кашей ряски, прорастала вдоль и поперек зеленой чумой, и только лягухи, серые трясогузки да толстозадые водяные жуки обитали здесь. Иной раз прилетал с реки чистоплотный куличок. «Как вы тут живете? — возмущался. — Тина, вонь, запущенность». Трясогузки сидят, сидят да как взвоятся, да боем на гостя, загрепыхаются, заперевертываются, что скомканнные бумажки, и раз! — опять на коряжину либо на камень синичкой опадут, хвостиком покачивают, комара караулят, повезет, так и муху цапнут.

С гор напоздали, цепляясь за колья огорода, лезли на жердь нити повилики, дедушкиных кудрей и хмеля. Возле бочажины незабудки случались, розовые каменные лютики и, конечно, осока-резун. Как без нее обойдешься?! Среди лета огородную кулижку окропляло солнечно-сверкающим курослепом, сурепкой, голоухими ромашками, сиреневым букашником, а под них, под откровенно сияющие цветы и пахучие травки лез, прятался вшивый лук, золотушная трава, несъедобная колочка. Кулижку не косили, привязывали на ней коня, и он лениво пощипывал на верхосьгтку зеленую мелочь, но чаще стоял просто так, задумчиво глаза в заречные дали, или спал стоя.

Ни кулижку, ни огородные межи плутом не теснили — хватало пространства всем, хотя и прижали горы бечевой вытянувшуюся дереvушку к самой реке.

Левого прясла у огорода не было — семья мальчика придерживалась правила: «Не живи с сусеками, а живи с соседями», — и от дома и усадьбы, рядом стоящих, городьбой себя не отделяла. Впрочем, межа тут была так широка, так заросла она лопухами, коноплей, свербигой и всякой прочей дурниной, что никакого заграждения и не требовалось. В глухомани межи, вспененной середь лета малиново кипящим кипреем и мясистыми бодяками, доступно пролезать собакам, курам, мышам да змейкам. Случалось, мальчик искал в меже закатившийся мячик или блудную цыпушку — так после хоть облизывай его — весь в кипрейном меду. Густо гудели шершни в межах,

вислозадые осы и невзрачные дикие пчелы; титьками висели там гнезда, словно бы из обгорелых пленок слепленные. В них копошилось что-то, издавая шорохи и зудящий звон. Непобедимое мальчишеское любопытство заставило как-то ткнуть удилицем в это загадочное дырчатое сооружение. Что из того получилось — лучше и не вспоминать...

Баня шатнулась в лог, выпадывая из жердей, точно старая лошадепка из худой упряжки, и только заросли плотного бурьяна, подпершие баню со всех сторон, казалось, не давали ей укатиться под уклон. Зато воду на мытье и поливку таскать было близко, зато лес рядом, земляника, клубника, костяника, боярка зрели сразу за городьбой.

На хорошем, пусть и диковатом приволье располагалось родное подворье мальчика, и небогато, но уверенно жилось в нем большой, разнокалиберной семье. Народ в семье был песенный, озороватый, размашистый, на дело и потеху гораздый.

Из бани, чтобы попасть во двор, надо пересечь весь огород по широкой борозде, которую чем дальше в лето, тем плотнее замыкало разросшейся овощью. С листьев брюквы, со щекочущих кистей морковки, с твердо тыкающихся бобов — отовсюду сыпалась роса, колола и щекотала отмытую кожу, а мелколистая жалища-летупья зудливо стрекалась.

Но какая это боль и горе после того, что перенес мальчик в бане?!

Из ноздрей, из горла выдыхивалась угарная ядовитость, звон в ушах угихал, не резал их пронзительной пилой, просветляясь, отчетливей видели глаза, и весь мир являлся ему повосотворенным. Мальчику все еще казалось, что за изгородью, скрепленной кольями, нет никакого населения, никакой земли — все сущее вместилося в темный квадрат огорода. Леса, горы по-за логом и задним прясом, примыкающим к увалу, там все равно, что в телефоне, висящем в сплавной конторе, — все скрыто: говорит телефон, а никого нету! Вот и постигни!

Нет, за огородом еще огороды, дворы с утихшей скотиной, дома, роняющие тусклый свет в реку, лоды, негоропливые, умиротворенные субботней баней. И в то же время ничего нету. Совсем бы потерялся мальчик в ноч-

ном подзвездном мире и забыл бы себя и все на свете, да вопи в молочном от пара банном окне мутнеет огонек, выхватывая горсть пырея на завалинке. Громко разговаривает в бане, стегая себя веником, повизгивает истомно женский род. Там, в бане, две родные тетки, замужние, еще три девки соседские затесались туда же. У соседей есть своя баня, но девки-хитрованки под видом — ближе, мол, воду таскать, сбиваются в крайнюю баню. «Молодые халды! Кровя в их пышут!» — заключает бабка. Да уж пышут так пышут! И двойной, если не тройной, умысел у девок, набившихся в баню вместе с замужними бабами: выведать секретности про семейную жизнь, надуреться властью и еще каких-никаких развлечений дожидаться.

Клуб им тут, окаанным!

Пять человек в бане было, да еще он, мальчик, шестой путался под ногами и стеснял чем-то девок. Ну они его быстренько сбыли, чтобы остаться в банной тайности одним, ждаты, не заглянут ли парни в банное оконце — таким манером парни намечают предмет будущего знакомства в натуральном виде.

Стекло от пара мутное. Надо его рукавом вытереть либо подолом рубахи. Навалются парни друг на дружку, чего увидят — не увидят, но дыхание в груди сопреет, затмение в глазах, гул в голове колокольный, от азарта, от слепости выдавят стекло! Грех и беда! Парни окно нарушат, девкам же быть родителями срамленными, в которой семье построже, так и за волосья трепанными. Но сторожки и чутливы девки, ох чутливы! Улавливают алчно горящий взор еще до приближения к окошку и, обмерев поначалу от зноблящей, запретной волнительности, разом взвизгивают, давя друг дружку, валятся с полка, задувают лампу, во тьме, одурев окончательно, плещут из ковша в окно и никак не могут попасть кипятком в оконный проруб — как бы, упаси Боже, и в самом деле не ожечь глаз, что подсекает девичье сердце на лету.

Голова и размягчившееся тело мальчика остывают, укрепляются. Увидшее от жары сознание начинает править на свою дорогу; шея, спина и руки, сделавшиеся упругими, снова чувствуют жесткие рубцы холщовой рубахи, плотно облепившей тело, чисто и ненасытно дышащее всеми порами. Сердечко, птичкой бившееся в клетке груди, складывает крылья, опадает в нутро, будто в гнездышко, мягко выстеленное пером и соломками.

Банная возня, вопли, буйство и страх начинают ка-

заться мальчику простой и привычной забавой. Он даже рассмеялся и освобожденно выдохнул из себя разом все обиды и неудовольствия.

Губы меж тем сосали воздух, будто сладкий леденец, и мальчик чувствовал, как нутро его наполнялось душистою прохладой, настоящей на всех запахах, кружащих над огородом, будто над глубокой воронкой: растущей овощи, цветочной пыли, влажной земли, окрапленной семенами трав и острой струйкой сквозящего из бурьянов медового аромата.

Где-то во тьме чужого огорода раздался сырой коровий рев — дерануло из бани чадо, которому отскабливали поштями цыпки, драли спину волосяной вехоткой. Хрястнула затрещина, бухнула банная дверь — и горестный голос беглеца одиноко и безответно затерялся в глухотеми. Суббота! Вопят и стоют по деревенским баням терзаемые деги. Добудут они, сердечные, сегодня столько колотушек, сколько за всю неделю не сойдется.

Мальчик обрадованно поддернул штаны — у него-то уж все позади! Ковырнул из гряды лакомую овощь: «Девуца в темнице — коса на улице». Мала еще «девушка-то», и рвать ее не велено, да никто не видит. Потер морковку о штаны, схрумкал, размотал огрызок за косу и метнул его во тьму.

Такое наслаждение!

А ведь совсем педавно, какие-нибудь минуты назад, подходил конец свету. Взят он был в такой оборот, ну ни дыхнуть тебе, ни охнуть. Одна тетка на каменку сдает, другая шайку водой наполняет, девки-халды толстоляхие одежонку с него срывают, в шайку макают и долбят окаменелым обмылком куда попало. Еще и штаны до конца не спяты, еще и с духом человек не собрался, но уж началось, успевай поворачивайся и главное дело — крепко-накрепко зажмуривай глаза. Да как он ни зажмуривался, мыло все-таки попало под веки, и глаза полезли на лоб, потому что мыло варят из вонючей требухи, белого порошка и еще чего-то, вовсе уж непотребного — сказывали, в мыловарный котел купорос кладут, собак бросают и даже будто бы ребенков мертвых...

Вырываясь из крепких сердитых рук, ослепший, оглохший, орал мальчик на всю баню, на весь огород и даже дальше; пробовал бежать, но запнулся за шайку, упал, ушибся. Ругаясь, чиркая черствыми сосцами груди по носу, по щекам, по губам, тетки вертели, бросали друг

дружке мальчика и скребли, скребли, так больно скребли! Отплевываясь от грудей еще брезгливей, чем от мыла, стороясь и везде патыкаясь все же на них — от женщины в бане куда теснее, чем от мужчины! — уже сломленно и покинуто завывал мальчик, ожидая конца казни. В заключение его на приступок полка завалили и давай охаживать тем, про что бабка загадку складную сказывала: «В поле, в покате, в каменной палате сидит молодец, играет в щелкупец. Всех перебил и царю не спустил!» Царю! А он что? Хлещите...

В какой-то момент стало легче дышать. Далеко-далеко вечерней мерцающей звездой возник огонек лампешки. Старшая тетка обдала падоедного племяша с головы до ног дряблой водой, пахнувшей березовым листом, приговаривая как положено: «С гуся вода, с лебедя вода, с малого сиротки худоба...» И от присказки у самой обмякла душа, и она, черпая ладонью из старой, сожженной по краям кадки, еще и холодяночкой освежила лицо малому, промыла глаза, примирительно воркуя: «Вот и все! Вот и все! Будет реветь-то, будет! А то услышат сороки-вороны и упесут тебя в лес, такого чистого да пригожего». Мальчик успел лизнуть мокрую ладонь тетки, смочил спекшийся рот.

Нутро бани смутно обозначалось. Литые тела девок на ослизлом полке, бывшие как бы в куче, разделились, и не только груди, но и косматые головы у них обпаружились под закоптелым потолком. Мальчик погрозил им кулаком: «У-у, блядишшы!»

Девки взвизгнули, ноги к потолку задрав, и принялись громко лупцевать друг дружку венниками, бороться схватились, упали с полка, чуть лампу не погасили. На деревце поговаривали, что девки любят прятаться в теплых банях с парнями, а соперницы подпирают бапи колыями, учиняют посрамленье, на крик сбегаются матери и принародно таскают девок за волосы, те зарезанно вопят: «Мамонька родимая, бес попутал! Разуменья мое слабое затмил...»

Ввергнутый в пучину обид, ослабевший от банного угара, с болью в коленях и в голове, уже оставленный и забытый всеми, хлопая носом, мальчик отыскивал в глухом углу возле камешки свою одежку. Свет все еще дробился в его глазах, и девки на полке то подскакивали, то снова водворялись на место, а мальчику так было жалко себя, так жалко, что он махнул рукой на девок.

не злился уж на них, сил не было не только на зло, но и рубаху натянуть.

Соседская девка, к которой в открытую ходил жених, отведавшая сладкого греха, но еще не познавшая бабьих забот и печалей, главная потешница в бане была, она-то и вытащила из угла мальчика, тренькнула пальцем по гороховым стручком торчащему его пегушку и удивленно спросила: «А чтой-то, девки, у него туго-ка? Какой такой запятный предмет?» Мгновенно переключаясь с горя на веселье, заранее радуясь потехе, мальчик поспешил сообщить все еще рвущимся от всхлипов голосом: «Та-ба-чо-ок!»

«Табачо-о-ок?! — продолжала представление соседская девка. — А мы его, полоротыя, и не заметили! Дал бы пошохать табачку-то?»

Окончательно забыв про нанесенные ему обиды, изо всех сил сдерживая напололам его раскалывающий смех, прикрыв ладошками глаза, мальчик послушно выпятил животишко.

Девки щекотно тыкались мокрыми носами в пиз его живота и раздражались таким чихом, что уж невозможно стало дальше терпеть, и, уронив в бессилии руки, мальчик заливался, стонал от щекотки и смеха, а девки все чихали, чихали и сраженно трясли головами: «Вот так табачок, ястри его! Крепче дедова!» Однако и про дело не забывали, под хохот и шуточки девки незаметно всунули мальчика в штаны, в рубаху и последним, как бы завершающим все дела хлопком по заду вышибли его в предбанник.

Такая тишина, такая благодать вокруг, что не может мальчик уйти из огорода сразу же и, пьянея от густого воздуха и со всех сторон обступившей его огородной жизни, стоит он, размягченно впитывая и эту беспредельную тишь, и тайно свершающуюся жизнь природы.

Пройдет много вечеров, много лет, поблекнут детские обиды, смешными сделаются в сравнении с обидами и бедами настоящими, и банные субботние вечера сольются и останутся в памяти дивными видениями.

...На твердых, круто согнутых коленях деда сидит человечек. Дед обломком ножа скоблит располовиненную брюкву и коричневым от табака пальцем спихивает с поцарапанного брусом лезвия истекающую соком мякоть в жадно распахнутый зев. Пошевелит языком малый, делает вдох — и лакомство живым током прошибает его

вздрагивающее чрево, растекается прохладно по жилам. «Вот дак варнак! Вот дак варначина! Не жевавши, мякает!» — сокрушается дед и, кося на малого ореховым глазом, убыстряет работу, чтобы и самому полакомиться брюквенной скоблянкой. Но внук никакого роздыху не дает ему и без устали держит разинутым ловкий рот. Если дед все же вознамерится понести к своим усам ножик с лакомством, малый, клонув ртом, схватывает с ножа крошево и по-кошачьи облизывается. «Обрежешься!» — стучает его по лбу черенком ножа дед и с удивлением обнаруживает: одна лишь видимость от овощи осталась, обе половинки брюквы превратились в черепушки. Дед пахлобучивает на голову внука половинку брюквы, спихивает его с колен и отправляется в огород, что-то ворча под нос и сокрушенно качая головой.

Посидев на нагретых за день плахах крыльца, мальчик сбрасывает с головы брюквенную камилавку, и куры со всех сторон кидаются доклевывать черепушку. Мальчик опрокидывает водопойное корыто, взбирается на него и, вытянув шею, глядит со двора через частокол в густо заросшее пространство огорода.

Раздвигая развесистые седые листья, дед ходит согнувшись между гряд, отыскивает брюкву покруглей, без трещин и зеленой залысины. «Де-е-е-еда-а-а!» — кричит мальчик, давая понять, что он его видит и ждет. Дед, погрозив внуку перстом, уцеливает наконец брюкву, вытаскивает ее за хрушувшие космы из рыхлой земли и, ударив ею об ногу, поднимает вверх и осматривает белорылую, с грязной бородой овощ: нет ли червоточины и других каких изъянов. Мальчик нетерпеливо перебирает ногами: «Скорее, деда, скорее!»

Дед ровно бы его и не слышит, бредет по сомкнувшейся борозде, будто по зеленой речке, за ним шуршат волны, остается вспененный след, словно за кораблем, медленно растворяющийся вдали, — листья, ботва, метелки трав с недовольным шорохом выпрямляются, встают, занимая свое постоянное место на земле.

И снова дед садит внука на твердые, заплатами прикрытые колени, скоблит брюкву, ворчит, стучает малого черенком по лбу, пока насытившийся, убаженный пузан не зашевелит ртом заторможенно, лениво, и глаза его не начнут склеиваться, и маленькое тельце, что слабая былка, отягощенная росой, припикнет к выпуклой груди деда

и в теплом ее заветрии распустился доверчиво и защищенно.

И тогда совсем осторожно, совсем почти неслышно дед скоблит ножиком брюкву — он сладкоежка, дед-то, и шевелит беззубым ртом, двигает круглыми челюстями, озираясь — не видит ли кто, как он впал в детство, и для маскировки ворчит в бороду: «Ат ведь варначина! Ат ведь песлух! Умаялся!» — и пыгается есть и пегь одновременно, покачивая на коленях внука: «Трынды-брынды в огороде, при честном при всем народе...» Но тут же стопорит с песней — дальше в ней слова не для внука. Вот уж подрастет, ума накопит внучек, глядишь, до чего самоуком дойдет, чего от старших нахватается, а пока шабаш, пока мри, дед, не дай Бог, сама услышит!

Мальчик не может понять, спит он или еще не спит. Ему хорошо, уютно на коленях, под щекочущей бородой деда, за которую, в знак благодарности, надо бы беребнуть старого, но разморило так, что даже руку поднять нет сил, да и видеться начал очень знакомый голозадый человек — вот он перебирает руками по частоколу, пытит, продвигается к жердяным воротцам. Неровность какая-то под розовую ступню или меж пальцев подвернулась, закачался малыш, упал голым местом в крапиву. Рев. Слезы. Бабка, выдернув вицу из веника, сечет крапиву, приговаривая: «Вот тебе! Вот тебе, змея жалочая!..» — И всовывает вицу в руку мальчика. Он со всего плеча лупцует крапиву, аж листья летят, и тем утешается, по щеке катится остатная слеза, и, слизнув ее, солоноватую, языком, малый делает еще одну попытку встать на цоги и двинуться вдоль частокола на кривых, подрагивающих цогах.

А сзади хвалят, поощряют, тормозят: «Эдак! Эдак! Эдак, дитягко!»

И вот наконец наступило жуткое, ослепляющее счастье первого самостоятельного шага! Мальчик отпустился от городьбы и на неверных, жидких еще цогах ковыльнул по двору. Все в нем остановилось, замерло: глаза, сердце, дух занялся, и только ноги, одни ноги шли и сделали два огромных, может быть, самых огромных, самых счастливых шага в жизни!

Чьи-то руки подхватили его, уже падающего наземь, подхватили и с ликующим возгласом: «Поше-ел! Поше-о-о-ол!» — подбросили вверх, в небо, и он летал там, кувыр-кался, а солнце то закатывалось во двор, приближалось

вплотную к глазам, то мячиком отскакивало за огород, к лесу, на хребтины гор. Пронзенный восторгом победы, захлебнувшийся высью, мальчик ахал, смеялся, взвизгивал и, не сознавая еще того, первый раз ощутил отраву жизни, которая вся состоит из такого вот опасного полета, и только сознание, только вечная надежда: под тобой, впризу, есть крепкие руки, готовые подхватить тебя, не дать упасть и разбиться о твердую землю, — рождает уверенность в жизни, и сердце, закатившееся в какой-то дальний угол обмершего плуга, разожметсЯ, встанет на место, и сам ты не улетишь к «едрене-фене» — по выражению дедушки, неисправимого, как заверяет бабка, ругателя и богохульника.

Примыкающий к задкам дворовых построек клочок жирной земли, забрашпый жердями, удобренный золой и костями, был прост и деловит с виду. Лишь широкие межи буйным разпоростом да маковый цвет недолговечным полыханием освещали огород к середине лета, да и мак-то пезатейный рос, серенького либо бордового, лампадного цвета с темным крестиком в серединке. В крестике бриллиангом торчала маковка, пушисто убаюпанная, и в пухе том вечно пугались толстые шмели. «Кину порохом, встанет городом», — сеючи мак, вещала бабка. Была и еще одна роскошь — непроходимым островом темнел среди огорода опятнанный беленькими цветами горох, который без рук, без ног полз на бадог. Иным летом в картошке заводился десяток-другой желтоухих солноворотов, часто до твердого семечка не вызревавших, но беды и слез все-таки немало ребятам от них было. Широкомордые, рябые подсолнухи притягивали к себе не только пчел и шмелей, вечно в них шарящихся и роняющих яичную пыльцу, они разуживали удаль юных «огородников». Продравшись в огород, поймав солноворот за шершавый, «под солдата» стриженный затылок, налетчики клонили его, доверчиво развесившего желтые уши долу, перекручивали гусиную шею, совали под рубаху и задавали тёку в лес, пластая штаны о сучья городьбы. Везде и всюду репу и горох, как известно, сеют для воров, а в селе мальчика — подсолнухи. И вот что целостижимо: изловив в огороде младого палетчика, тетеньки и особенно дяденьки, сами когда-то промышлявшие огородным разбоем, с каким-то веселым,

лютым сладострастием полосовали жалицей по незащитному заду лиходеев.

Сожжение на костре — забава по сравнению с сибирской жалицей. На костре, если дрова хорошие, — пых и сторел! А вот после жалицы недели две свету белого не видно, ни сесть, ни лечь. Выгь, только выгь, слезами обливаться и каяться перед бабкой, умоляя ее помазать сметаной место, подвергнутое истязанию.

Что еще красивого было на грядках? Нюготки! Невесть откуда залезевшие, взойдут они, бывало, и до самых холодов прожигают углями гущу зелени. Табак еще украдчиво цвел на бросовых грядках. Добрые гряды под табак ни одна крестьяника не отдаст, считая растение это зряшным и делая потачку мужикам только потому, что без них, без мужиков, в хозяйстве не обойдешься и никого не родишь, и, стало быть, продолжение рода человеческого остановится.

На межах, там разнообразней и свободней все. Там кто кого задавит, тот и растет, дуряя от собственного нахальства. Конечно же, конопля, полынь, жалица, репейники да аржапец-пырей любую живность заглушат. Однако ж пег-пег да и взнимутся над тучей клубящимся бурьяном стрелы сишохи, розетки пижмы, либо татарник заявит о себе. Властно оттеснив мускулистым телом тощую мелкоту, оцегинясь всеми колючками, обвесится татарник круглыми сиреневыми шишками и живет долго, цветет уверенно; или взметнется над межой нарядный коровяк, сияет дураковатым женихом, радуется самому себе.

От ранней весны и до самой зимы, изгнанный отовсюду, клятый-переклятый, лопатами рубленый, свирьями губленый, у заплотов, в устье борозд, на межевых окраинах шорохтел длинными ушами непобедимый хрен.

Ну вот и вся, пожалуй, краса, весь наряд и все прелести русского огорода. По весне природа на родине мальчика чуть веселей, да вся она по-за огородом, вся по хребтам, поймам речек, лугам, елкам. Зато весной раздолье в огороде какое!

Поставив в церкви свечку, помолившись святым отцам, охранителям копей, в первый день мая по старому стилю выводил лошадей дед в огород, к плугу, а бабка тем временем поясню клапалась с крыльца ему — пахарю, молилась земле, огороду, лесу. Лемех легко, забористо входил в огородную пуховую прель, играючи или с плугом копишки, пренебрежительно махали хвостами, отфыр-

киваясь: «Разве это работа?! Вот целик коренить — то работа!»

Серая фигура деда, темная на спине от пота, горбится над плугом, и бежит по запяткам его вилючей змейкой ремешный бич. Нестерпимо манит приступить ногою бич. Дед сердито подбирает рукой черенок, чтобы жогнуть внука, и жогнет, коли не поспеешь в рыхлую борозду упасть. «Ну погоди, бесенок! Опояшу я те, опояшу!»

В конце борозды дед выворачивает плуг из земли и располагается возле бочажины — подымить. Бабка, подрубив ладонью свет, стоит на крыльце и обсуждает сама с собою поведение деда: «Как борозда, так и папирёска! Как борозда, так и папирёска! Ты к Петровкам-то управишься ли?!» — «Не-е, к Ильину дню, если Бог пособит!..» — ухмыляется дед и свойски подмигивает малому, каково, дескать, мы ее!..

Хватив дверью избы так, что скворцы и галки в бороздах подпрыгивали, будто от выстрела, бабка исчезала, а мальчик с дедом смотрели в огород, половина которого как бы вывернута черной овчиной наружу, другая же в серой пленке, оставшейся от снега.

На пахоте происходило обжорство: скворцы, галки, вороны хватали и хватали студенистых червей, обнаженных и порезанных плугом. Боязливые серые плишки, и те промышляли на пахоте, вихляясь над бороздами; даже малая мухоловка сидела на жерди и, дождавшись своего момента, спархивала вниз и, чего-то ухватив с земли, несла на городьбу и торопливо склевывала. Лесные птички спускались с гор к огороду и терпеливо ждали, когда налопаются и задремлют важно хозяйски вышагивающие по бороздам парядные и сытые скворцы, напоминающие сельских купчиков. Не выдержав искушения, птахи, мелькнув над городьбой, уносили с борозды козявку, жука, личинку какую, а скворец уже непременно в погоню — этакая загребущая скотина! Да где ему настичь стремительную дикую птаху, та юрк — и в кустах!

Пахать черноземные огороды легко, боронить и вовсе удовольствие. Наперебой лезли парнишки на спину коня, таскающего бороцу по огороду, затем к плугу приспособлялись, и, когда их возраст подходил годам к десяти, опи и на пашне, и на сенокосе уже умели управляться с кошем, и в застоле уж лишними не числились, сидели твердо среди работников, ели хлеб и огородину, своим трудом добытую.

Тяпки в тех местах никто от веку не знал. Картошку не окучивали — огребали руками. Назем в землю не клали, его вывозили за поскотину. Лишь малую часть его использовали на огуречные, «теплые» гряды. Ворочали их почти в пояс высотой. Лунки выгребали такие, что чернозема в них входила телега.

В ночное время (от сглазу) бабка с наговорами закапывала в грядку пестик, похожий на гантель, для развития мускулатуры употребляемую. Пестик утаивался в грядку для того, чтобы огурец рос как можно крупнее.

В согретой грядке напревали серенькие грибки и тут же мерли, ровно ледышки, истаявали бесследно. Выступали реснички травы в борозде, кралась на грядку повилика, и в душу сеяницы начинали закрадываться сомнения: всхожее ли семя было? Но вот в одном-другом черном глазу лунки узким кошачьим зрачком просекалось что-то. Примериваясь к климату, промаргиваясь на свету, зрачок расширялся и не сразу, не вдруг обнаруживал два пробных, бледных листика. Настороженные, готовые запахнуться от испуга, они берегли в теплой глубине мягкую почку огуречной плоти, робкий зародыш будущего растения. Пообвыкнув, укрепясь, собравшись с духом, два листочка выпускали на волю бойкий шершавенький листок, а сами, исполнив службу, отдав всю свою силу и соки свои, никли к земле, желтели и постепенно отмирали, никому уже не интересные и никем не замечаемые. Огуречный листок, воспрянув на свету, тоже робел от одиночества, простора земли и изобилия всякой зелени, принохивался недоверчиво к лету, зябко ежась и цепенея от ночной изморози.

Нет, не закоченел до смерти огуречный листок, удержался и потянул по зеленой бечевке из мрака навозных недр лист за листом, лист за листом, там и усики принялись браво завинчиваться на концах бечевки, пополз листной ворох в борозды, так и прет друг на дружку. И, как всегда неожиданно, засветится в одной из лунок, в зеленом хороводе, желтенький цветочек, словно огонек баке на средь зеленой реки.

Живая искорка — первовестник лета! Первый цветок этот всегда почти являлся пустоцветом, потому что солнца, тепла и сил его хватало лишь на то, чтоб цвести. Но, как бы указав дорогу цветам, более стойким, способным и плодоносить, пустоцвет быстро угасал, свертывался, и его растеребляли и съедали земляные муравьи.

Под жилистыми листьями, под зелеными усатыми бечевками светлело от желтых огоньков, гряды, что именинный пирог, пламенела цветами, и хоровод пчел, шмелей, шершней, ос вел на них шумную и хлопотливую работу. Глядь-поглядь, в зеленом притихшем укрытии уже и огурчишко ловко затаился, пушистый, ребристый, и в носу у него шушулиной сохлый цветочек торчит. Скоро выпала шушулина, и под ней скромно и чисто заблестело белое рыльце огурца, лучиками простреленного до круглой жупки. Зябкие прыщи, морщины выровнялись, огурец налился соком, заблестел, округлился с боков, и ему тесно стало под листьями, воли захотелось. Вывалился он, молодой, упругий, на обочину гряды, блестит маслянисто, сияет, наливается и укатиться куда-нибудь норовит.

Лежит огурец-удалец, дразнится; семейство ревниво следит друг за дружкой, особенно за мальчиком, чтобы не снял он огурец-то, не схрумкал в одиночку. Съесть огурец хочется любому и каждому, и как ни сдерживайся, как ни юли, проходя по огороду, обязательно раздвинешь руками резные, цепкие листья, подивуешься, как он, бродяга, нежится в зеленом укрытии, да и поспешишь от искушения подальше.

Но, слава тебе Господи, никто не обзарился, не учинил коварства. Уцелел огурец, белопупый молодец! Выстоял! Бабка сорвала его и бережно принесла в руках, словно цыпушку. Всем внучатам отрезала бабка по пластику — нюхнуть и разговеться, да еще и в крошку для запаха половина огурчика осталась.

Окрошка с огурцом! Знаете ли вы, добрые люди, что такое окрошка с первым огурцом! Нет, не стану, не буду об этом! Не поймут-с! Фыркнут еще: «Эка невидаль — огурец! Пойду на рынок и куплю во какую огуречину — до-о-олгую, тепличную!..»

* * *

Огуречная гряда располагалась ближе к воротам, чуть в стороне от остальных гряд и почему-то поперек всего порядка. Ровными рядами, вроде ступеней на городской пристани, катились овощные гряды до середины огорода. На одной из них, самой доступной, чтоб ногами попусту другую овощь не мяли, пышно зеленело ребячье лакомство — морковка. Две-три гряды острились стрелами репчатого лука. Следом, опустив серые ребристые стебли, вкрад-

чиво шелестел лютый фрукт — чеснок. В стороне от тенистых мест, чтобы солнце кругло ходило, и от огурцов подалее — огурец и помидор не сопутники в роду-племени огородном — к лучинкам привязаны тощие-претощие дудочки с квелыми, аптечно пахнущими листьями. После прелой избяной полутеми, где росли они в ящиках и горшках, помидорные серенькие саженцы словно бы решали, что им делать — сопротивляться или помирать в этой простудной стороне? Но вокруг так все перло из земли, так ластилось к солнцу, что и помидорные дудки несмело наряжались в кружево листьев, пробно зажигали одну-другую бледную звездочку цветка, а, вкусив радости цветения, помидорные дудки смелели, лохматились, зеленые бородавочки из себя вымучивали, после уж, под огородный шумок да под земельный шепоток, обвешивались щекастыми кругляками плодов, и пу дуреть, пу расти — аж пасынковать их приходилось, обламывать лишние побеги и подпирать кусты палками, иначе обломятся, рухнут ветви от тяжести.

«Под дубком, дубком свилась репа клубком», вечно у нее лист издырявлен, обсосан — все на нее тля какая-то нападает, лохмотья иной раз одни останутся да стерженьки, но она все равно растет, выгуливает плотное тело, понимая, что радость от нее ребятишкам. Как-то отчужденно, напористо растет свекла, до поры до времени никем не замечаемая, багровеет, кровью полнится; пока еще шебаршит растрепанно, но тужится завязаться тугим узлом капуста. «Не будь голепаста, будь пузаста!» — наказывала бабка, высаживая квелую, блеклую рассаду непременно в четверг, чтобы черви не съели. Широко развесила скрипучие, упругие листья брюква, уже колобочком из земли начиная выпирать. Обочь гряд светят накипью цветов бобы, и сбоку же, не обижаясь на пренебрежительное к себе отношение, крупно, нагло и совершенно беззаботно растут дородные редьки. Шеломенчихой их обзывает бабка. Шеломенчихой — вырви глаз! Миром оттерли шелопутную бабку Шеломенчиху на край села, почти в урём. А она и там в землянухе своей без горя живет, торгуя самогонкой, твердо выполняя бабье назначение. «У тебя ведь и зубов-то уж нету почти што, а ты все брюхатеешь!» — возмущались бабы. Шеломенчиха в ответ: «Ешли пошариться, корешок еще найдется!..»

За бапей, возле старой черемухи есть узенькая расчудесная гряда, засеянная всякой всячиной. То бабкин кап-

риз — всякое оставшееся семя она вольным взмахом развенчала по «бросовой» грядке, громко возмещая: «Для просящих и ворующих!»

У леса, спустившегося с гор и любопытно пляшущегося через заднее прысло, темнела и кудрявилась плетями труженица картошка. Она тоже цвела, хорошо цвела, сиренево и бело, в бутонах цветков, похожих на герани, ярели рыженькие пестики, и огород был в пене цветов две целые недели. Но никто почему-то не заметил, как цвела картошка, лишь бабка собрала решето картовного цветку для пастоя от грыжи. Люди ждут не чем она подивит, а чего она уродит. Так в жизни заведено — от труженика не праздничного наряда и увеселений требуют, а дел и добра. Его не славословят, не возносят, но когда обрушивается беда — на него уповают, ему кланяются и молят о спасении.

Ах, картошка, картошка! Ну разве можно пройти мимо, не остановиться, не повспоминать?

Моему мальчику не довелось умирать от истощения в Ленинграде, даже голодать подолгу не приходилось, но об огородах осажденного города, размещенных на улицах, в парках, возле трамвайных линий и даже на балконах, слышал он и читал. Да и в своих краях повидал огороды военной поры, вскопанные наспех часто неумелыми, к земляной работе не способными руками. Не одни ленинградцы летом сорок второго года молитвенно кланялись кусту картошки, дышали остатным грудным теплом на каждый восходящий из земли стебелек.

* * *

Первой военной весной мой мальчик, ставший подростком, учился в городе и вместе с фэзэошной ордою бродил с саками по стуженой горной речке, выбрасывая на берег склизких усачей, пескаришек, случалось, и хариус либо лепок попадался. Рыбаки делали свое дело, грабители свое. Они лазили по вскрытым лопатами косогорам и из лупок выковыривали картошку на уху, чаще всего половинки картофелин либо четвертушки. Летом, когда всюду, даже в дачном сосновом бору, меж деревьев взошла картошка, приконченно рыдали и рвали на себе волосы поседевшие от войны эвакуированные женщины, не обнаружив на своих участках всходов. Многие из них на семенной картофели променяли последние манатки, даже

детские обувочки и платица... И не становилась ведь поперек горла та, омытая слезами, картошка!

Забывать бы про то черное дело, спячь с души пакостный груз! Да разве возможно наедине-то с собой лгать?

Если уж по уму да по совести и чести — спаситель наш — огород! Тут и голову ломать незачем. В огороде же том самоглавнейший спаситель — скромное, многотерпливое существо, участыю-долей схожее с русской женщиной, — картошка!

В честь картошки надо бы поставить памятник в России. Поставлены же памятники гусям, спасшим Рим. В Австралии будто бы есть памятник овце. Последнему волку Европы скульптуру изваяли! Ну если уж картошке монумент неловко, поэтично воздвигать — плод все же, овощ, тогда тому, кто нашел этот плод в заморских землях, выделил его среди прочих диких растений, в Россию завез и, рискуя головой, внедрял на русской земле. Был ведь в старые, темные времена и картофельный бунт!

В горах и под горами, в болотах и песчаниках, на глине и камешнике, меж деревьев и в новине, на вспольях, на отвалах, на вырубках, на гарях, на всякой бросовой почве само собой вылезает на свет и живет растение, почти не требующее ухода и забот — прополи, окучь, и все дело. Есть места, где, задушенная дымом и сажей, никакая тварь не выживает, ничто не растет, даже крапива и всякая жалючая травка сдалась, картошка, набравши цвет, тут же его, почерпелый, тряпичный, роняет, и все равно плод в земле паливается и кормит людей! Что есть, скажите, лучше этого растения? Хлеб? Да! Однако хлебу сколь воздано! Сколько о нем спето! Так отчего же, почему же мы, российские люди, не раз, не два спасенные картошкой от глады и мора, забыли про нее? К слову сказать, воин наш русский многим обязан ей, родимой картошке! Где угодно готов это утверждать!

Фронтные дороги длинные, расхлупанные. Пушка идет или тащат ее; тапк идет, машина идет, конь ковыляет; солдат бредет вперед на запад, поминая к разу кого надо и не надо. А кухня отстала! Все-то она отстает, проклятая, во все времена и войны отстает. Но есть солдату надо хоть раз в сутки! Если три раза, так оно тоже ничего, хорошо три-то раза, как положено. Один же раз просто позарез необходимо.

Глянул солдат палево — картошка растет! Глянул направо — картошка растет! Лопата при себе. Взял за пыль-

ные космы матушку-кормилицу, лопатой ковырнул, потянул с натугой — и вот полюбуйся: розоватые либо бледно-синие, желтые иль белые, что невестино тело, картохи из земли возникли, рассыпались, лежат, готовые на поддержку тела и души.

Дров нету, соломы даже нету?! Не беда! Бурьян везде и всюду на русской земле сыщется. Круши, ломай через колено, пали его!

И вот забурлила, забормотала картоха в котелке. Про родное ведь и бормочет, клятая! Про дом, про пашню, про огород, про застолье семейное. Как ребятишки с ладошки на ладошку треснутую картоху бросают, дуя на нее, а потом в соль ее, в соль и — в рот, задохнувшись горячим, сытным паром.

И нет уж никакой безнадежности в душе солдата, никакого нытья. Замокрело только малость в глазу, но глаз не эта самая, ну как ее? Вот уж и название забывать начал, не говоря про запах. Словом, глаз, как известно, проморгается!

Поел картошки солдат, без хлеба поел, иной раз и без соли, но все равно готов и может вперед двигаться, врагу урон наносить.

Случалось, воды нет. В костер тогда картошку, в золу, под уголья. Да затяжное это дело, и бдить все время надо, чтоб не обуглилась овощь. А когда бдить-то? В брюхе ноет, глаза на свет белый не глядят от усталости. Значит, находчивость проявляй — в ведро картошек навали, засыпь песочком либо землею, чтоб не просвистывал воздух, и через минуты какие-нибудь кушайте на здоровье продукт первой важности, в собственном пару! А то еще проще простого способ есть: насыпь полную артиллерийскую гильзу картох, опрокидывай ее рылом в землю, пистоном вверх, разводи на гильзе огонь, а сам дрыхни без опаски. Сколько бы ты ни спал, сколько бы ни прохлаждался — картофель в гильзе изготовится так, что и шкурку скоблить ножом не надо — сама отлупится!..

Нет, я снова о памятнике речь завожу! Картошке, из которой люди паловчились по всему белу свету готовить с лишком две тысячи блюд, опоре нашей жизни — никакого внимания. По гривеннику всем людям труда — главным картофелеедам — собрать, и пусть самые талаптливые художники, самые даровитые скульпторы придумают памятник! Тот, кто умеет сочинять гимны, должен найти самые торжественные слова, и самые голосистые певцы

споют картошке гимн на самой широкой площади при всем скоплении народа.

Не знаю, кто как, я плакал бы, слушая тот гимн!

* * *

Мальчик идет по заросшей тропинке из бани. Жилки травы-муравы, стебли подорожников попадают меж пальцев; тряпично-мягкие цветки гусятника, головки дикого клевера и ворожбы щекочут промытые, чуткие ступни ног. На меже сверкает конопля, сыплют семя лебеда и полынь, шеборша по листьям лопухов и застарелого морковника. Жалица, пучка, жабрей, чернобыльник чуть слышно шелестят, а вот белена и лопушистый хрен будто в мокрой шубе. Бочком меж них хотел проскользнуть мальчик — не вышло, штапы намокли, тяжелеют и сползают с живота.

Вот и борозда, что широкая дорога, тоже вся поросла пастушьей сумкой и ползучей липкой мокрицей. Удалившись на такое расстояние, где не слышен плеск воды, шум пара на каменке, ахапье веников, шальные взвизги девок, мальчик озирается осторожно и приседает на корточки у межи, отделяющей огород соседей. Затаив дыхание высматривает сквозь чашу бурьяна и топкого аржанца, будто сквозь густой отвесный дождь, одному ему известное таинство.

Конечно же, как у всякого делового человека, тайн у него дополна, и он их может поведать другу или дедушке. Вот за баней черемуха. Старый ствол ее умер и засох, вершина обломилась, упала, изорвав сплетения хмеля, опутавшего ее, и прееет теперь черемуха в межевой гущине, от пня наперегонки рванулись коричневые гибкие побеги. Черную кору упавшего дерева сорвало ветром, комель подолбили дятлы, источили короеды и муравьи.

В сухой выбоине старого пня, под навесом рыжего гриба-туговика, устроилась на жительство птичка-невеличка, тихая мухоловка с алой грудкой. Возле нее хахалем вертелся мухолов, которому хотелось петь и веселиться, но хозяйственная, смиренная мухоловка успокаивала его, грустно и терпеливо объясняла, что живут они в соседстве с людьми и следует вести себя скромно. Мухолову семейный прижим надоел, он подался в другое, видать, более разгульное место.

Оставшись покорной вдовицей, мухоловка накрыла

маленьким телом гнездышко, и скоро под нею оказались яички чуть больше горошин. Из горошин тех выклюнулись гадкие, на маму совсем непохожие птенцы, но они быстро начали выправляться, и то на голове, то на заде перо у них высовывалось, рахитные пузца усохли, башка вытянулась в клюв, птенцы как птенцы сдлались. Пустое гнездышко лежит в черемушном пеньке, мухоловка с ненасытным, писклявым семейством переселилась в межевые заросли — смекайте, дескать, деточки, сами пропитанье, я уж совсем измоталась без мужа. Она и сейчас вои подает голосок из бурьяна: «Ти-ти! Ти-ти! Ти-ти...» — «Спите, спите!» — птенцов увещевает, а у мальчика тоже рот потянуло зевотой — пора отправляться на боковую.

Да, напомнила ему мухоловка другую птичку — белобрюхую ласточку, что каждое лето лепила себе гнездо под застрехой артельного амбара.

Ласточка с ликованием носилась над рекой, взмывала вверх, к облакам, падала на воду, кружилась над домами, над лесом, над горами, впархивала во дворы, сделав вид, что совсем она сюда случайно угодила, стремглав неслась по улице над самой дорогой, щебеча, чурлюкая, всех извещая, что прилетела она из дальних стран и так стремилась к родной сибирской деревушке, прошла сквозь такие расстояния, беды и бури, что совершенно теперь счастлива и, отпраздновав возвращение, порезвившись в радости, сразу же возьмется за дело, отремонтирует гнездышко под застрехой, высидит детей и станет ловить комаров и мошек, и пусть люди не беспокоятся, что она все будет играть, играть и совершенно потеряет голову.

Не потеряла ласточка голову и помнила о своем значении, думала о будущих птенцах. И все же... все же счастье возвращения ослепило ее, она охмелела и забылась. А маленьким и беззащитным существам никогда не следует забываться.

Прищурив меткий глаз, мальчик метнул камень и сшиб белогрудую ласточку над огородом. Дрожая от охотничьего азарта, он схватил птичку с гряды, услышал ладонями, как часто, срывисто бьется крохотное сердце в перьях. Клюв открывался беззвучно, круглые глаза глядели на мальчика с ужасом, недоумением и укором...

В руку перестало тыкать, глаза птички подернулись туманцем вечного сна, головка опала. Раскрывая ногтями

скорбно сжатый клюв, мальчик пускал в него теплую слюну, пальцами поднимал голову, крылья птички, подбрасывал ее, надеясь, что пичужка снова полетит, но птичка скомканно опала на землю и не шевелилась.

Мальчик выкопал стеклом могилку в тени черемухи, устелил ее палыми листьями, завернул ласточку в тряпицу и закопал. «Шило-мотовило под небеса уходило, побурлацки певало, по-солдатски причитало...» — вспомнилось ему бабушкино присловье. Вспомнилось, как стояла она на крыльце, глядя из-под ладони на ликующую ласточку, крестилась: «Вот еще одно лето нам ласточка на крылышках припесла...» И, не переставая умильно улыбаться, тыкала концом платка в уголки глаз.

Долго и недвижно сидел мальчик под черемухой над маленькой могилкой птички, не мог понять смерть, но первая четкая мысль все же вызрела в нем: «Я никогда никого не буду больше убивать».

Наивный мальчик! Если бы все в мире делалось по желанию и разуму детей, не ведающих зла!

За весну на птичьей могилке выросла трава, другим летом поднялась и кудряво зацвела пестрая саранка. «Это ласточкина душа вылетела из темной земли», — подумал мальчик.

Много секретного в огороде! В межах, за постройками, за баней, за городьбой — везде секреты, там вон, у глухой, сопрелой стены сарая, секрет особенный — второй год там растет маленькая, но уже кудрявая бузина-пищалка, и никто-никто не знает, что она там растет, и только когда пищалка делается выше мальчика и появляются на ней мелкие, алого цвета ягоды, он покажет ее деду. На дальней гряде, что против бани, после каждой пахоты мальчик находит костяные бабки. Ровно бы кто их рождает в земле, и весной они солдатиками выпрыгивают наверх. Еще из секретного сусликовая нора возле горы была, по веснами сверху катился снеговой кипун. Пьяно дуря, он летел в лог с гамом и лязгом, казалось, до того разойдется, что в конце концов не только мальчишково подворье, но и все село смочит в реку. Каждую весну кипуном вымывало сусликов из норы, и не выдержали терпеливые зверюшки мучений, умерли от простуды или подались с худого места в горы, на пашню.

Весенними потоками в огород патаскивало всякой всячины: камешник, семена трав, диковинные выворотни,

старые маральи рога, скелеты погибнувших птиц, луковки цветов.

Как-то уронило жерди и забросило в огород-куст смородины. Мокрый был и живой куст, поймался корнем за бок бочажины, растет, жирея с каждым годом и раздаваясь, и черные ягоды начал рожать, не поспеешь их ощипать — ворохье или дрозды склюют, поздней осенью по воде бочажины гоняет листья смородины. Но вот беда — лягушата под смородиной летуют, а на лягушат черная змеюга охотится. И прежде чем подступиться к смородине, мальчик швыряет камни в куст, топаёт ногами, кричит, сатапая от пагопяемого на себя гнева.

Целый мир живет, растит потомство, шевелится, поет, плачет, прячется в плотно сомкнувшейся зелени огорода. Кузнецы вопи взялись за дело, секут по всей округе траву под корень.

Один кузнец проспал, видать, пазпаченное время и разогревает в себе машинку. Сердитый звук: «З-з-зык! З-зык!» — раздаётся в капусте. Сказывают, будто козявка эта прыгучая издает звуки крылами, но мальчик твердо верит — в брюхе у нее есть игрушечного размера сенокосилка.

* * *

Не все огороды на селе строги, деловиты, незыблемы. Наезжий народ со всячинкой селился в этих местах, и всяк распоряжался землей как хотел и умел.

Если крестьянская изба напоминала ликом хозяина, то огород всегда по хозяйке, по характеру ее и споровке. Вроде бы вот они рядом, огороды, земля одинаковая, солнце одно и то же греет, дожди одни и те же на гряды с неба брызжут, воду на поливку из той же реки на коромыслах посят — аи фасон и урожай огородов разный, значит, и ход жизни в двух семьях песхожий.

У одной хозяйки огород что светилица: грядки к грядкам ровненькими рядными половиками расстелены, морковные гряды, присыпанные опилками, чтобы тля всякая не портила, поднимаются сдобными пирогами, борозды меж гряд глубокие, все посажено к месту, все рядом да ладком; которая овощь водолюбива — поближе к воротцам; которая и от дождя вырастет, та подальше, чтоб не мять ее лищку, не топтать зазя землю и борозды не спускать ногами.

У другой бабенки на огород глянь и сразу определишь: растяпа, межедомка, может, и пятачок. Гряды так и сляк у нее в огороде, одна узкая, другая широкая, борозды не прокопаны, криво, кой-как пятачки; овощь где густо пята, где ветром дупута; воду льет без разбора и смысла, то два раза на дно, то по неделе ни росинки. Понятно: в таком огороде сорняк из низких борозд на гряды прет, давит всякое полезное растение, обескровливает его. Ребяшки, свои и чужие, партизанят в таком огороде, зеленцом еще овощь таскают, оголят огород, и живи как хочешь, ешь хлеб с кырлыком, с сорняком, стало быть, а на одном хлебе немного наработаешь, да и не хватит хлеба до нового урожая без хорошего приварка.

Везде и во всем любовь нужна, раденье, в огородном же деле особенно. Красота, удобство, разумность в огороде полезностью и во всем хозяйстве оборачиваются. Есть хлеб, есть овощи, сыты работники и дети, обихожена скотина, значит, и в семье порядок, ни ругани, ни раздоров, все довольны собой и жизнью, уважительны к соседям, независимы, гости посадят не за полый стол, и самим не стыдно на люди показаться. А чем одежда, обувь и уважение людей добыто? Раденьем! Трудом! Уверенность, солидность в жизни дает человеку земельный упорядоченный труд!

Надо сказать, что землей баловались и вели хозяйство как попало все больше поселенцы — перекасти-поле. Они и городьбу-то порой не ладили, вместо огурцов и помидор, требующих труда, каждодневной поливки и прополки, сажали цветы. Один бывший каторжник, веселый человек, ягоду посадил. Отроду ягоды в той местности носили из лесу, и вот тебе на: огородную землю ягодой заняли! И называлась та ягода не черницей, не земляницей и не брусницей — вик-то-ри-ей!

Викторию ту лихие деревенские «огородники» еще зеленую выдрали с корнями и съели, ничего ягода, хрушкая, однако с лесной не сравнишь — воды в ней много и духом слаба.

Больше в селе викторию садить никто не решался, и постепенно о ней все забыли. И не случилось бы огородных причуд, если бы бабка мальчика не была выдумщицей и не приплавляла бы из города чудные какие-то семечки: одно плоское, сердечком, на огуречное похожее, но гораздо больших размеров. Посадила бабака то семечко на самом конце гряды, возле бани, и поскольку не ве-

рила в его полезные свойства, забыла про него. Другое семя — хлеще того! — смахивало на дедушкин зуб, коричневым от табаку, костяной твердости. Бабка размочила семя в чашке вместе с бобами и небрежно воткнула меж луковиц.

Долго ничего не появлялось из земли. Сорная трава мушиной гущиной по всему огороду расплзлась. Людское и ребячье наказание — трава. Поли ее, проклятую, ломай все леги поясницу, отсидивай ноги, истязай до трещин руки, жалься о крапиву до пузырей..

Крестьянское дитя как-то само собой и в огороде оказывалось — не на кого оставить в избе, на дворе грязно, скот, собаки, вот бабка или тетки и прихватят мальчика с собой. Лазит малый словно в непроходимых дебрях, того и гляди потеряется насовсем. А девкам развлечение: «Девки, а где же у нас парнишко-то? Не видать чё-то? Уж не заблудился ли? Курицы его не заклевали бы! А-у-у-у!» — приподняв лицо от гряд и глядя на загородный лес, кричали тетки.

Малый — не промах, западет в борозде под листья, и ни гугу. А тетки его ищут, тетки его ищут! Бабка клянет их, ругательски ругает: «Вам бы, халдам, токо беситься! Токо бы зубоскалить! Робить кто будет, нечистый ваш дух?!»

Жутко в борозде под листьями лежать, рядом с глазом мохнатая гусеница лист дырявит, лап у нее сколько, глазу ни одного. Тут же острыми клыками усатый черный жук перекусывает муху пополам. Носорог брюкву точит, аж головой в кругляк влез! Серые слепни мальчика тычут, до крови кусают, мошка тоже не дремлет, в нос, в уши, в глаза набивается, разъедает их — долго не выдержать, выскакивать надо из укрытия, не раздвигаются прохладные кущи, солнце в глаза бьет, крик над головою: «Во-он он где, варначина! Имай его!»

С хохотом и звоном ударится малый бежать по огороду, тетки следом за ним, кричат, ловят и до самой реки его, совсем уж ошалелого, допруг, а там ну брызгаться, ну дуреть, поровяг малого в воду плюхнуться. Он уцепится за тетку, с мясом не оторвешь, орет, призывая бабку на помощь. Бабка тут как тут: катится с яру, машет хворостинкой. «Й-и-я-а-а-а вот вам, кобылищи экие! И я вот отхожу которую! Гли-ко, почернел весь парень — перепужали!» Девки врассыпную, на ходу кофтенки, юбки сбрасывают — и бултых с визгом в воду, машут руками, ногами

быют, брызги до неба! Бабка по берегу бегаёт, хворостинной машет, никого достать не может.

Утихомиренные, освеженные водой, снова плетутся работники в огород, под палящее солнце, и малый ковыляет следом. Мошка жрет, пауты пулями быют, комар тоже своего не упустит, к вечернему мороку явится.

Помаленьку да полегоньку от игр и забав переводили малого человека к работе, незаметно, вроде играючи, проделывали «профориентацию» — учили сорную траву отличать от огородины: «Вот свеколка взошла, а вот вместе с нею лебеда, полынь и гречка дикая. Они и цветом, и фигурой под свеклу обрядились, но все одно не обмануть им глазу человеческого, с исподу глянь — в пыльце они седой и цвет багряный пожиге у них; мокрица, дрема и манжетки под редиску и репу рядятся да скоренько расти норовят и тем себя выдают. Ну а за морковь чуть ли не весь травяной мусор ладит сойти — и мышехвостик, и куриное просо, и клоповник, и всякая дрянь этакими невинными ресничками на свет белый является — ан распахнулись реснички и негу меж них лапочки морковной, кружевца зелененького!..»

У всякой-то овощи, у всякого злака, оказывается, есть двойник, иной раз много двойников-кровопийцев, и все-то они хитры, коварны, напористы. Пока изваженное да избалованное человеком огородное растение укоренится, пока с духом соберется, закаленные в вечной борьбе сорняки не дремлют, идут вглубь, захватывают пространство, цепляются в землю и на земле за что придется, душат, соки из овощи сосут, обескровливают огород...

Сколько игр не доиграл из-за копотной работы мальчик?! Сколько ребячьих радостей недополучил, потому что следом за «профориентацией» начиналось и «трудовое воспитание». Было оно просто и, как выразились бы нынешние высокоумные педагоги, — «эффективно-действенно». Мальчика, отлынивающего от утомительного труда, брали за ухо и тыкали носом в землю: «Хочешь есть — работай!»

Однажды полон мальчик луковую грядку (морковные и другие гряды с мелкоростом ему еще не доверяли, лук можно, лук хорошо различается), полон, ноя под нос тягучую песню, отмахиваясь грязными руками от мошкары, звенящей рыжей осы, и внезапно пальцы его ухватили непривычное для рук, крепкое растение, упругой щепотью проповровшее землю. Приглядевшись, мальчик сообразил —

ОНО! Взошло! Вот тебе и на! Не верилось, что есть в костяной середке семя живина, способная воспрянуть и прорасти, а оно вот проросло, изобразилось!

Как мальчик ухаживал за тем растением! А *ОНО*, радуясь заботе, поливке и черной земле, высвобожденной от сорняков, перло без усталости вверх, опуская одно за другим ременные шероховатые листья. «Ух ты, матушки мои!» — захлебывался восторгом создателя мальчик и мерился с загадочным созданием природы, норотившим обогнать его в росте.

Благоговеино притих мальчик, когда обнаружилась в пазухе длинных скрипучих листьев куколка, завернутая в зелень пеленок. За ней другая, третья. Детенышам холодно было северными ночами, они изморозью покрывались, но все же пересилили природные невзгоды, и чубчик белый-белый у каждой куколки из-под одежек выпрыснулся. «Ух ты, батюшки мои!» — прошептал мальчик, совершенно потрясенный, и, не поборов искушения, расковырял пеленку на одном детеныше и обнаружил ряды белых, одно к другому притиснувшихся зерен. Зажмурившись, мальчик куснул зерна, и рот его наполнился сладким, терпким молоком. Об этом диве невозможно было не поведать людям. И люди эти — соседские парнишки, без лишних разговоров слопали то диво вместе с белыми чубчиками, с хрусткой палочкой, заключенной в середку сладкой штуковины.

Доживет мой мальчик и до той поры, когда захлестнет всех кукурузная стихия, с недоумением узнает однажды, что и в его родной деревне, где иным летом картофель в цвету быт заморозки, лучшую землю пустят под «царицу полей» — ту самую забавную штуковину, которая как-то ненароком выросла в огороде один раз, да и то до сметанно-жидкого зерна лишь дошла.

* * *

Военные пути-дороги приведут моего мальчима к спаленной крестьянской усадьбе, и вид пожарища, уже облитого дождями, сгоревший огород потрясут его своей космически-запредельной остылостью и немотой.

Черная картофель с вылупившимися балоболками, скрюченная сверху и чуть живая снизу; редьки и брюквы в черных трещинах; одряблые, простоквашно-кислые дыни; унылые морды подсолнухов с космами свернувшихся

листьев — все-все в огороде оглушено серым гнем, ночной тишиною. Черные вилки капусты блазились головами вкопанных в землю людей; гнойно сочащиеся помидоры — недожаренным мясом с подпаленной мускульной краснотой; белые сваренные огнем сплетения лука — клубками поганых глистов.

Поперек гряды на рыжих огурцах лежала женщина в разорванной полотняной сорочке. Яростными бельмами сверкали ее остановившиеся глаза, в зубах закушены стон и мука. К груди женщины, будто бабочка-капустница, приколот ножевым штыком мальчик-сосунок. Когда наши солдаты вынули штык из жиденькой его спины и отняли от материнской груди, всех сразило умудренно-старческое личико ребенка. В довершение ко всему откуда-то взялась хромая цыпушка. Осипло клохча, припадая на тонкий сучок перебитой лапки, она рванулась к людям, ровно бы ведая — наши, русские вернулись, и она, единственная на убитом подворье живая душа, приветствовала их и жалилась им.

Доведется моему мальчику хоронить ленинградских детей, сложенных поленницами в вагоне, умерших от истощения в пути из осажденного города. Побывает он в лагере смерти и не сможет постичь содеянного там, потому что, если постичь такое до конца, — сойдешь с ума. Перевидаает он тысячи убитых солдат, стариков, детей, женщин, сожженные села и города, загубленных невинных животных. Но вот огород, с черными вилками капусты на серой земле, гряду с червиво свитым белым луком, ребеночка, распятого на груди матери, оскаленное лицо молодой женщины, до конца сопротивлявшейся надругательству, цыпушку, инвалидно припадающую на остренькую лапку, он будет помнить отшибленно ото всей остальной войны — намертво врубилось в него то первое потрясение.

В пышных украинских огородах помидоры вызоривались не как дома, не в старых валенках и корзинах на полатях, а просто среди гряд на кустах; не из садовки, из сеянца здесь вырастали луковицы в кулак величиной. Темнокорые гладкие баклажаны одавливали кусты, и, не зная названия овощи, солдаты называли их соответственно форме — хреновинами. Кукуруза росла полями, початки созревали на ней до желтизны, и молотили их тут на зер-

но, белые чубчики и стержни не ели, ими топили печи, потому что тайги здесь пет и с дровами туго. Подсолнухи росли тоже полями — и желтые тучи поднимались над пашней, когда дул ветер, и воровать солновороты здесь не надо было, бери, ломай сколь хочешь, шелуши семя. Арбузы валялись беспризорно на земле, и, коль смотреть издаля, вроде ни к чему они и не приклеены, вроде их как попало с самолета по полю разбросали.

Без зависти, с притаенной веселостью вспоминал мальчик, как греблись по-собачьи деревенские его корешки и он вместе с ними к плотам, проплывающим мимо села из теплых краев с торгом. Родная его река пересекала всю страну поперек, и если в устье ее еще стояли вечные льды, то в истоках уже созревали арбузы. Вытаращив глаза от насады и жуткой глубины под животом, парнишки выстукивали зубами: «З-зу-зу-зу!..»

Выбрав из пестрой пирамиды что-нибудь загнившее, бросовое, плотогоны швыряли кругляш в реку, и, обалдевшие от фарты и холода, отталкивая друг дружку, парнишки пихали по воде носами, лбами, рылами арбуз к берегу, а он вертелся мячом на быстрине, усмыгивал от них, и то-то переживаний было, то-то восторгу, когда наконец изнемогающие пловцы достигали берега и принимались с аптечной точностью делить рожденный в теплых краях расчудесный плод. Да редко, очень редко бросали с плотов арбузы. Чаще огрызенные корки. Но и коркам были рады ребягишки, съедали их вместе с красивыми полосами, считая, что такой драгоценный плод употребляется в пищу весь без остатка.

Фрукты, арбузы и всякие другие сахарные плоды и сам сахар на родине мальчика надежно заменяли паренки из брюквы, свеклы, моркови. Да еще ягоды, которых тут столько рождалось, что иными летами не корзинами, коробами из тайги ягоду возили, отправляясь за нею семьями. Бабушка сказывала, когда он осиротел и не на кого было его оставить, вместе с зыбкой прихватывали малого в тайгу, привязывали зыбку за сук кедра — и на приволье, таежным духом утишенный, посапывал он. Оберут ягодники одну елань, зыбку перенесут дальше, на другое дерево перевесят, а он, глупый, даже не почувствует «вакуации». Проснется же когда, заорет — ягодок в тряпочку намнут, засунут в рот — он и довольнехонек, чмокает пользительную сладь. «Учучкаешься, бывало, в чернице до того, что пуп сорвешь, хохотавши».

Побывал с войском и за границей мой мальчик, повидал ухоженные огородики, где каждый вершок земли к делу, к месту, и порой ограду заменяют полезные кустарники: горькие дикие мандарины, гранаты, зерном похожие на российскую костянику, крепкий самшит, седовато-черный виноград. В поднебесье, на уступах скал, встречалось что-то похожее на огород, землю туда носили мешками и корзинами. Случалось, темные люди темной ночью уносили такой огород целиком и полностью, вместе с жалким урожаем и землею, обрекая на голодную смерть семьи горцев.

Дивился в далеких краях и землях маковицам величиной с мячик, брюквам в пуд весом, картошки капывал по ведру из гнезда, помидорами «дамские пальчики» боевые сто грамм закусывал, розовым луком, от которого окричь можно, картофельную драчону приправлял, озоруя, в необхватные кавуны из автомата стрелял, любовался цветущими садами, даже черную розу зрел и царственную магнолию; и было, было, что уж теперь греха таить, в бессарабские виноградники по-пластунски лазил и как-то всю ночь давил там с одной смуглянкой-молдаванкой очень дурманное и сладкое вино.

Однако не напрасно говорится: «Хорошо на Дону, да не как на дому», — и перед глазами мальчика всегда был тот, жердями и бурьяном окруженный огород, где трудно росла овощь, вечно боящаяся не вызреть из-за ранних холодов, украдчиво ползущих по распадку. В том огороде мальчик видел радугу. Одним концом она начиналась в зеленых грядках, а другой ее конец защемило в скалистом распадке. Радуга вся была из цветной пыли: маково-алой, подсолнушно-желтой, морковно-зеленой, и еще там был цвет совершенно неуловимый и недоступный глазу, такой цвет мальчик видел, когда нырял в воду с открытыми глазами, цвет немого царства, цвет голубовато-нежный, прозрачный. Вот в таком замороженном царстве обитали бесплотные тихие русалки и ангелочки с крылышками, какие нарисованы на бабушкиных иконах.

Мальчик, не сознавая своего порыва, двинулся на ему лишь слышный зов радуги, но радуга, околдовавшая его, отодвинулась к меже, опустилась в бурьян, и, когда мальчик, жаясь о крапиву и не замечая того, вошел в межу — радуга уже за оградой, в логу оказалась. И, опечаленный,

он остановился — радугу ему не догнать, не прикоснуться к ней. Радуга — это красивый несбыточный сон.

В сельском огороде случилось еще чудо: из семечка-сердечка, привезенного бабкой, вылупилось растение с громадными оранжево-орущими цветами и зеленой змеей изогнулось в жалице, из жалицы взнялось на городьбу, с городьбы по углу бани взобралось на крышу, уж к трубе подползало и куда б долезло — одному Богу известно, да тут лето кончилось, ударил первый звонкий утренник. Унялась, обвяла пронырливая диковина, цветы ее могильно смялись, веревка мохнатого стебля сделалась студенистой, шершавые листья обратились в бросовое тряпье. Но какое удивление, какой восторг охватил малый да и взрослый народ, когда под листьями, в глубокой борозде объявился желтопузый, в банный котел величиною, ребристый кругляк. Нечаянно мальчик нашел затаившиеся в жалице еще два плода, продолговатых и тоже ребристых, что стиральная доска. Сгреб мальчик под мышки бледнопузых этих поросят, домой доставил, будто счастливый золотоискатель самородки. Самой уж поздней осенью, когда проредилась и упала на меже дурнина, за огородом, почти в самом логу отыскалась еще одна тыкваина, но все нутро ее выклевали пронырливые курицы.

С того лета по сию пору буйствуют в огородах далекого села тыквы, которые бабка за пузатость тоже называла шеломенчихами и нарадоваться не могла веселым, солнцелюбким круглякам, молиться, говорила, надобно на неведомого базарного человека, который такое ей редкостное семя продал. «Пусть растет! Пусть фулюганит!» — кричала бабка, одаривая односельчан семенами буйного плода.

В войну тыквенная каша шибко выручала селян. Детям, своим и эвакуированным, ее как лакомство давали; больных на ноги тыквенная каша поднимала. Да и по сей час еще в трудовой семье мальчика нет-нет да и купят тыкву на базаре и заварганят — для разнообразия стола. Кашу с молоком и пшенкой едят да бабку за трапезой вспоминают: «Легкая рука у человека на овощ была!» Недаром ее сеяницей в селе нарекли, наперебой тащили садить и сеять особо капризную овощь — никто на селе лучше бабки не ведал, кого с кем мирить в огороде.

Если бы огород был памятен только тем, что вскормил и вспоил мальчика, дал ему силу и радость жизни, первые навыки в труде, он бы и тогда помнил его свято, и так же трепетно билось бы его сердце, как бьется ныне, когда по

всей Великой Руси обнажаются из-под снега, вытаивают вспоротые квадраты земли на задах дворов, по-за селом, в опольях, на загородных пустырях, на склонах гор и подле железнодорожных путей, в болотинах и песках, возле озер и рек — повсюду, где обитают живые люди.

Не служат нынче молебнов при начале страды, не окропляют землю водою, освященной с иконы богородицы плодородия — Деметры, не приколдовывают хрушкой огурец с помощью зарытого в гряды пестика, да и сам огород сделался утомительным придатком жизни, особенно для горожан. С лопатами, с граблями, с мешками, на переполненных электричках, в автобусах и пешком приходится им тащиться за город на отведенный «участок».

Но не могут люди бросить землю, велика привычка и тяга к ней, вера в нее: а вдруг беда какая? Неурожай? Засуха? Война, не дай Бог, снова? На кого и на что надеяться тогда? На землю. Она никогда не предавала и не подводила, она — кормилица наша, всепрошающая, незабываемая.

Копает мальчик участок за городом, ловит носом дух прелой ботвы, печеной картохи, нарождающейся травы, и видится ему качнувшаяся под берег изба, огород за нею с бурьяном, переломанным, измочаленным зимней стужей и ветрами. Снег за банею и под яром еще сереет, а в бурьяне уже кукишами торчит трава, которую и слепой знает, — жалица. По огороду в белых кофтах и платках старухи, ребятишки, девки рассыпались, сгребают прошлогоднюю ботву, зимний прах и хлам сметают в залитую до краев бочажину, песню заводят и тут же бросают ее, громко смеются, говорят про что-то, а голая вешняя земля чадит синеватым дымком, утарно бредит теплом и зеленью.

В избе еще с февраля по всем окнам садовки в ящиках стоят, семя в старых посудилах мокнет, картошка на полу рассыпана — прорастает; бабка чесноковины членит на посадку, лук сортирует — ослепла бабка, и ноги у нее отнялись — на ощупь действует, не может жить без разоделья.

На осиновых жердях, мокро сочащихся на срубках, привезенных из лесу затыкать проломленную городьбу, менять одряхлевшие прясла, сидит дед, закрутив обсекшиеся, но все еще франтоватые усы, табак курит — очень он любит это занятие, курит и на коня глядит. Может, и не на коня, может, смотрит он в далекую задонс-

кую землю, откуда еще молодым лихим казаком прискакал он в Сибирь с отрядом кого-то покорять, но сам был покорен и взят в полон разбитной веселой сибирячкой, да и застрял на веки вечные в северной стороне.

С гор вразнохлест катятся мутные потоки, проскабливают лед, и он, прососанный донной грязью, дырвится, кипит, будто перестоялое тесто. Вдоль лога и по увалам от ветрениц бело, хохлатки мохнатятся, баранчики желтыми ноздрями к весне припохиваются, кандык и саранки копай сколько хочешь, лакомясь жирными луковками. Подле деда свои и чужие ребятишки толкуются. Выбирают таловые прутья, на вязанье резанные, пикульки из прутьев мастерят, дуют, свистят. Птицы от ребятишек не отстают, заливаются всякая на свой лад.

Чинят городьбу мужики, гребут хлам в кучу ребятишки и женщины. По всей российской земле, из края в край горят весенние костры, как и во все времена, идет уборка земли, словно горницы перед большим праздником. Ухают, блажат истосковавшиеся по лугу коровы, кружит коршун над проталинами, трясет колокольцем жаворонок, утки плюхнулись в лог.

Нет уже деда и бабки, и огорода того, наверное, нету, да и дома тоже. Смело его вешноводьем под яр, ударился он морщинистым лицом в обмытые рекой камни, и рассыпались его старые кости. Не блажат коровы, не блаженствуют в лужах чушки, не култыхает конь по старой меже — нету коней на селе, заменили их машины.

Но отчего, почему все видится и слышится так явственно? И сердце летит-летит в те незабвенные дали... Всю жизнь летит, в особенности веснами, и никак не приземлится, вечно бредятся какие-то перемены в жизни, хотя ведь знает же — все на земле идет кругом, все в этом круге устроено разумной чередой: следом за весенними огнями и приборкой земляной труд пачинается: пахать люди будут, боронить, сеять, в огородах овощь садить. Потом всходы пойдут. И снова, и снова, удивляя мир чудом сотворения, еще недавно бывшая в прыску земля задышит глубоко, успокоенно, рожая плоды и хлеб.

Цыпушки зачиликают во дворе и тайными ходами, с младенчества известными их маме, проникнут в огород. Любо ругаясь, бабы привычно станут выгонять их, поднимая на крыло; кого-нибудь из девок во время сева иль прополки чикнет забравшаяся под подол оса, и забегает девка по огороду, без разбору топча овощь. Парни-зубос-

калы станут домогаться вытащить из укушенного места жальце. Девка — существо притчеватое, за насмешку над ней Бог наказывает особо: на сенокосе нашлет из гнезда попавшего под косу свирепого шершня, и оставшийся по вине косца бобылем шершень своротит просмешнику морду набок. Девки по очереди целовать укушенного примутся, исцеляя страдальца таким испытанным методом, а все другие парни станут завидовать и мечтать, чтоб их тоже укусила какая-никакая козявка.

Да, если бы судьба одарила мальчика только этими радостями — и на том ей поклон земной! Но она щедрой у него оказалась и отвалила ему в детстве еще такое, что не каждому и во взрослой-то жизни выпадает...

Опустившись на корточки, мальчик высматривает сквозь межевые заросли свою главную тайну. В частом, отвесно падающем травяном дожде находит он просвет — то тропка, ведущая к соседям. В просеке бурьяна, сомкнувшегося вверху, слабо мерцает, множится отблеск света.

Там, за окном, в соседской избе, при свете лампы расчесывает волосы девочка, белые, мягкие, словно пух одуванчика. Девочку не видно, и окно не видно, однако мальчик знает: девочку помыли в бане, и она расчесывает волосы, глядясь в старое, большое зеркало, занимающее почти весь простенок меж окон. В недвижной глубине зеркала плавают звезды, клешнястые жуки, паутина по углам клубится, похожая на траву, прихваченную инеем.

Оттуда, из бездонных глубин зеркала, из растений, белых и недвижных, надвигается и смотрит на девочку другая девочка, лобастая, худющая, с широким ярким ртом, расширенными, слегка выпученными глазами. Такие глаза бывают у детей, когда им оспу на руке железкой процарапывают. Девочка водит гребнем по волосам, рассыпавшимся на костлявые плечи, на дугами выступившие ключицы, и в волосах просверкивают искры — аж дух захватывает от такой дьявольщины.

Девочка появилась в жизни мальчика ошеломляющим наваждением, как и должны появляться роковые женщины-присухи. Он чем-то занимался на задах огорода, возле бочажины, может, саранки копал, может, пикульку мастерил, может, медуницу рвал, может, ершей собирался

рыбачить и сучил леску из кудели, привязав ее к жердям, и внезапно что-то услышал, почувствовал.

Он оторвался от дела, поднял голову и увидел ЕЕ.

На старой, изжитой траве, под которой пробудилась бойкая зелень, по другую сторону лога, заполненного до краев мутной водою, стояла и плакала девочка в синеньком платьишке. Сердце мальчика сжалось от насквозь его пронзившей жалости — очень уж крупные слезы катились по лицу девочки и скапливались в некрасиво сморщенных алых губах. Да и худа, шибко худа была девочка, хворая, видать. А хворых мальчик жалел, потому что сам всю зиму «на ладан дышал». В руке девочка держала такие же, как ее платье, синие цветы в белом крапе. Присмотревшись, он различил: девочкино платье тоже в крапе и с белой оборкой, но полиняло от стирки, и белое на нем осинилось.

Девочка стояла меж толстых льдин, и перед нею из воды остро торчали вершинки краснотала, верба сорила пух, по березнику, ободранному отводинами саней — зимой через лог пролегла дорога, — порснули зеленые брызги, мохнато цвела боярка по разложью. Над головой девочки сияло солнце. Суслик стоял столбиком и чикал на девочку, не то ругая ее, не то стараясь напутать. На кучах назьма, вывезенного в лог и подмытого водой, дрались воробьи, свившись в клубок, так клубком и скатились они в холодную воду, тут же рассыпались по кустам и как ни в чем не бывало принялись сушить себя клювами. По логу брели парень и мужик, волоча за собой сеть-одноперстку. Мужик был пьяный, спотыкался, валился боком в воду и обожженно завывал. Бордовая рубаха кровавым пузырем всплывала за спиной мужика. Парень обрывисто вылаивал: «Жми! Дави водило! Ко дну, ко дну! Не путай сеть! Пьяная зараза! А-апу-у-усти-им!»

В самом углу лога, тонко залитого водой, где пену и сор кружило шалым горным потоком, свежее мелкотравье кипело от икряной сороги, и мужик с парнем затеяли черпануть рыбу сеткой, а девочка не понимала их намерений, плакала и заклинала: «Папочка, не утони! Миленький папочка! Не утони! Ой, папочка! Ой, папочка!..»

Зарыбачили сорогу мужик с парнем или нет? Дошли до вершины лога или запутали и порвали сеть о коряги — мальчик не запомнил. Но девочка в синем платье, с букетом диких ирисов, растущих за логом, возле муравейни-

ка, залитая слезами, повторяющая неведомое в селе, такое смешное, непривычное, но чем-то к добру и ласке располагающее слово: «папочка», — заняла в сердце мальчика свое вечное место и всю жизнь являлась ему вместе с теми подробностями, которые задели его глаз, слух и укатились в глубину памяти: грязная сверху льдина, истекающая капелью и стеклянно роняющая звонкие карандашки на землю; вода, ревущая в устье лога и смывающая рыхлый яр; корова, переставшая жевать и тупо уставившаяся на рыбаков; пастух, козырьком приложивший руку ко лбу и тоже наблюдавший за рыбаками; боярка, мохнато цветущая над головой девочки; шмель, спугавший голову девочки с белым цветком и шарившийся хоботом в пушистых ее волосах, и застрявший в горле мальчика крик: «Акусит!»

Девочка приехала в село с родителями, отец ее брал подряды на выжиг известки. Поселилась семья по соседству с подворьем мальчика. Само собой, девочка стала набиваться в ребячью компанию, да не было у нее ни кукол, ни игрушек, только синее застиранное платье было и розовая липялая ленточка в пушистой растрепанной голове. Девочка собирала камешки на берегу, дышала на них, облизывала и показывала всем, какие они красивые! Деревенские ребята не умели понимать красоту, их окружающую, тем паче красоту камней, которые они топтали, прогоняли девочку, называя «шкилетиной». Опустив голову с бантом, девочка уходила за лог, собирала разные цветы и, сплетая венки, прилаживала их на голову. А всем известно: ребенок, примеряющий на голову венец, — недолгий житель. И все время девочка пела нездешние, очень красивые и жалостные песни. Песнями своими жалостными, непротивлением злу и роковыми, ангельски-небесными этими венками проняла девочка деревенские стойкие сердца. «Злосчастливая, видать», — вздохнули сочувственно, по-бабьи, деревенские девчужки и приняли пришлоу играть в «тятти-маммы».

Мальчик сразу, конечно, сообразил: быть ему «тяттей» приезжей девочки — такой же он тощий, хворый, «злосчастный» такой же — и оказал сопротивление, отверг «шкилетины» паотрез. Оставшись бобылкой, девочка не знала, как ей дальше жить, потому как без «тятти» никакой женщине существовать на земле невозможно. Мальчик был хоть и поперешный, но жалостливый, тиранить человека долго не мог. Крякнув для солидности, он нака-

зал хозяйке, чтоб она все по дому спроворила и блюла себя, не то... а сам взял литовку — обломок бутылочного стекла — и отправился «на сенокос», и паметал стог «сена».

Девочки хозяйничали в заброшенном срубе, который в каждой российской деревне оставлен бывал кем-то, ровно бы парочко для прятков и разных детских игр и забав. Дожидаясь с работы «самово», хозяйки стряпали олады и шаньги из глины, гоношили постели из травы. Мальчи́кова «мама», ошалелая от счастья, выявила такое проворство в делах, что все девчушки ахали и подсмеивались, мол, хозяин не под стать хозяйке, хил, невзгляден и «ни шерсти от него, ни молока». «Ну и что? Ну и что? — заступалась за своего «тятю» хозяйка. — Зато смиренный, воды не замутит!.. И не пьющий по болести».

Треснуть бы «самое за такие слова, но, обретая власть, девочка проявила неслыханный напор и в такой оборот взяла мальчика, что ни дыхнуть, ни охнуть, и покрепче «мужик» спасовал бы. Она не давала «мужу» делать тяжелую работу, заставляла отдыхать и набираться сил, а сама, костлявая, легкая, стремительно носилась по земле, управлялась со скотом, доглядывала ребятишек, кышкала коршунье — и все с песнями, с песнями, со смехом, с шутками. Зато как торжествовала подруга жизни мальчика, когда возвращались домой «тяти» других «мам». Не в силах переступить порог, шатаясь и падая, они ревели чего попало, требовали еще выпить, домогались, чтоб обнимали и утешали их в этой распроклятой жизни.

Всплескивая руками: «Я-а-ави-и-ился-а-а, красавец пенаглядный! — девчушки набрасывались на своих «красавцев». — Ковды ты, кровопивец, выжрешь всю эту заразу?! Ковды околеешь? Ковды ослобонишь меня, несчастну-у-у! Да чтоб тебе огрва попалась заместо вина! Гвозди ржавые заместо закуски!» При этом «мамы» целились накласть по загривку «мужьям», а те ярились: «Игде мое ружье? Игде моя бердана семизарядна? Перрыстр-реляю всех, в господа бога!..»

«А мой не пьет и не курит! Я за им, как за каменной стеной!» — подперев рукой щеку, сочувствуя подружкам, хвасталась мальчи́кова «мама». Угнетенный ее добротою, униженный инвалидным положением, опекой, всего его опутавшей, сковавшей, не желая смиряться со своей участью, мальчик крикнул однажды: «Навязалась на мою голову!» — и сиганул с отчаяния в лог.

Коренная вода еще не укатилась из лога, земля тоже не «отошла» от донной мерзлоты — мальчик простудился и снова заболел.

* * *

Ему виделась мулька с пузырьком. Пузырек был когда-то икринкой, даже оболочкой икринки, и помог мулке, выткнувшейся из икришки, подняться с давящей глубины к воздуху, к свету, к теплой прибрежной воде. Но пузырек отчего-то не отделялся от мульки, похожей на личинку комарика, а не на рыбу, и она мучилась, стирая его об воду, судорожно дыша крошечными щелками жабер.

Объединившиеся в стаю мульки уже не слепо, с осознанным страхом металась от опасности, учились кормиться. Движимые братством, тягой ли к мучительству, мульки стрелочками подлетали вверх и теребили рыбку за пузырек. Обессиленная мулька легла боком на дно, и ее покатило течением, словно серебрушку, — и уразумел тогда мальчик: жизнь начинается с муки и заканчивается мукой. Но между двумя муками должно же быть что-то такое, что заставляет и неразумную рыбку так истово сопротивляться обрывающему все страдания успокоению.

Затянутый пузырьком, повисший в небесах над бездонной глубиной, в одном шаге от мягко обволакивающего покоя, мальчик сопротивлялся смерти, пытался прорватьдушный пузырек, отлепиться от него и скорее свалиться под крышу беспокойного, часто невыносимого, жестокого, гулевого, скандального дома, в котором ютится и множится необузданно-дикая и все-таки заманчивая жизнь. Пузырек был топок, непрочен, но сил у мальчика осталось так мало, что он не мог прорвать его. Пузырек вбирал мальчика в удушливую слизь, всасывая в себя все самое нужное, самое интересное из жизни мальчика, окружая его водянистой пустотой, немой, непроглядной и бесцветной. Лишь редко-редко что-то проскальзывало в мутной жиже. И начала кружиться над мальчиком ласточка. «По-бурлацки напевая, по-солдатски причитая...» — та самая... Глухие, однопотонные звуки проникали через пленку пузырька, достигали слуха мальчика, и он догадывался — это его стон, которым просил он, чтоб в плавающей жаркой мути появилось что-нибудь такое, что вызвало бы его из удушливого пузырька, проник бы хоть один глоток чистого, прохладного воздуха, появилось бы хоть чье-то лицо.

И он дозволялся-таки!

Ему явилась «жинка» с бантом в пушистых волосах, приветствуя его покаянной улыбкой, зовущей за пределы томительного одиночества и покорности, занимающейся в изможденном теле.

«Возьми! Возьми за ручку!» — послышалось издалека. Девочка тряхнула головой — и в глазах мальчика запорхали лохмы одуванчиков. Уверенно, как фельдшерица, девочка сжала слабые пальцы мальчика и очень уж как-то пронзительно, требовательно и нежно глядела на него. И уразумел тогда мальчик: женщина есть всего сильнее на свете, сильнее даже всех докторов и фельдшеров. Те учатся по книжкам несколько зим, а она тысячи лет создает жизнь и исцеляет людей своею добротой. На что мала, невзрачна эта вот девочка, но уже умеет управляться с больным и помогать ему. Она прижала руку мальчика к своему прохладному выпуклому лбу и, дрожа от коробящей жалости, прошептала: «Ну, назови меня шкилетиной, назови!»

Никто, кроме матери, не мог предложить такое неслыханное бескорыстие, никто! Но матери у мальчика не стало давно, он ее даже не помнил. И вот явилась женщина, способная на самопожертвование, доступное только матери. И хотя был он слаб, испечен болезнью, все-таки почувствовал себя мужчиной и не воспользовался минутной женской слабостью, этим рвущим душу благородством. Вознесенный подвигом женщины на такую высоту, где творятся только святые дела, он с мучением отверг ее жертву. И тоже поднятая мужским рыцарством до небес, задохнувшаяся от ошеломляющих чувств, способных спалить женскую душу дотла, она самозабвенно, больно принялась стучать себя в узенькую грудь его костлявой рукой, поспешно, чтоб не перебили, захлебисто выстанывая: «Шкилетица! Шкилетица! Шкилетица!»

Слезы хлынули из глаз мальчика и прорвали пузырек. Он прижал ладони к глазам, чтоб девочка не видела его слабости. А она ничего и «не видела». Остановив прожигающие насквозь ее нутро бабьи слезы, обыденно и в то же время с умело скрытым, взрослым состраданием она деловито и покровительственно уговаривала: «Ну уж... Чё уж. Ладно уж... Бог даст, поправисси!»

Тетки, бабушка, соседки уверяли потом — выздоровление произошло от святой воды, от молитвы, которую

бабка творила денно и ночью, от пастоя борца и каменного масла, но мальчик-то доподлинно знал, отчего перебог болезнь, а вот, поправившись, стал дичиться девочки. Она чувствовала тайну, меж ними зародившуюся, лишившую их свободы, и терпеливо ждала, когда мальчик первым, как и полагается мужчине, подойдет и предложит: «Давай снова играть вместе!» Ждала, ждала и сделалась выше его ростом, избегать парнишек стала, не играла уж в «тяги и мамы» в заброшенном срубе, в лес ходила только с подружками, нагишом при всех не купалась.

Известкарь меж тем выкопал печь в берегу, выжег и загасил в яме известку, после гулял широко, раздольно, взбудоражил все село. Пропив получку, погрузил семью в лодку да и отбыл тихо-мирно в неизвестном направлении.

С рождения укоренившаяся в мальчике вера: все, что есть вокруг, — незыблемо, постоянно, никто никогда и никуда не денется из этого круга жизни — рухнула! Он был так потрясен, что несколько дней не уходил с берега и, глядя на пустынную реку, причитал: «Уплыла девочка!.. Уплыла девочка!..»

Много лет он носил в себе беспокойство и тоску и так ждал девочку, что она взяла и пришла к нему однажды. В другом платье, в другом облике, но все равно пришла, и он, истомленный долгой разлукой, мучительным ожиданием, счастливо выдохнул, припадая к ней: «Девочка моя!»

Но та, что исцелила его в детстве, осталась в нем таким ярким озарением, что и до сих пор стоит перед ним все в том же синем платьишке, все с теми же цветками в руке — дикими ирисами.

Все так же, все то же, только высветленной, ярче, солнечней сделалось там, в далекой дали: грязная льдина рассыпалась алмазами; взбулгаченный лог поглубел, берега его обметало золотом калужника; воробьи, обратившись в радужных зимородков, расселись по гибким прутьям краснотала; боярка душистая, мохнатая, уж не боярка, а какое-то заморское растение; канули в небытие пьяный мужик и парень, завывающие от холода; корова, пустившая жвачную слону до земли, пастух в драных бахилах, навозные кучи в логу. И девочка была не «шкилетиной» корзубой, с диковато-шалыми, навывкат, глазами ребенка, она стала стройной, голубоглазой, и ленточка в ее волосах, что цвет шиповника, розовая-розовая, и платье на ней беленькое, новое — подол до самой травы. И тогда, за логом, при их первой встрече девочка не плакала, девочка

смеялась, колокольцем названивая, и солнце сияло над ее головой, и небо было высокое-высокое, чистое-чистое, голубое-голубое, как ее глаза, — это он помнит точно!

Померк свет на тропе — унесли соседи лампу из горницы в кут, чаевничать будут долго, с чувством, штук пяток самоваров опорожнят, прежде чем сморятся и отойдут ко сну.

Затемнел, стеной сомкнулся межевой бурьян: пырей, что дождь, долговяз, в земле увяз. Мальчик распрямился. Хрустнуло в коленях, иголки посыпались под штанами по ногам, плавающую по лицу улыбку свергло зевотой. Над мальчиком пролетел, вертухнулся и упал тенью за межу козодой, настигший жука-хруща. За городьбой, в лугах, гулко билось коровье ботало, и в тои ему, размеренно и заупокойно кричала ночная птица в горах, которую мальчику видеть не доводилось, но все равно он обмирал от ее голоса, она снилась ему в виде огромного коршуна с чертячьей головой и коровьими рогами. Над огородом, словно пад озером, воронкой кружило чистые пары. Выше меж, выше белеющих в темноте подсолнухов, выше горохового острова катилась из распадка прохлада. По логу она спускалась к реке, устаивалась под ярами, издырявленными береговушками. Но меж гряд, в полигой на ночь овощи устоялось скопившееся за день тепло. На самом утре, когда перестанет качать било ночная птица в горах и угомонится мухоловка, студеные токи просочатся по логу с гор, из лесов, и все тогда на грядках засеет осыпью росы, и огород сошно утихнет, распустится листом, склонится к земле в дрепном умиротворении, наполненном влагой, ожидая тепла, солнца.

Мальчик не слышал, и никто никогда не слышал и не видел, как идет в рост всякое растение. «И не надо этого видеть». Ведь вот же он, мальчик, не заметил, как сам-то рос, поднимался, значит, есть таинство не только в сотворении жизни, но и в движении ее, в росте.

Мальчик умом, и не умом даже, а природой данным наитием постигает замкнутый, бесконечный круг жизни и, хотя ничего еще понять не может и объяснить не умеет, все же чувствует: все на земле рождается не зря и достойно всякого почитания, а может, и поклонения. Даже махонькие мушки с чуть заметными искорками крылышек на вытянутом сереньком тельце занимают свое место на земле и свою имеют тайность.

Когда мальчик шел в баню и тетки, сердитые оттого,

что навязали им малого, торопили его, дергая за руку, он заметил клубящихся над грядами мошек. Распадок струил закатный свет в огород, и в этом остатном проблеске, будто на вытянутом половике, столбились, как говорят в народе, «толкли мак», серенькие мушки. Мальчик утянул голову, опасаясь, что его облепят, искусают мушки, но они лишь колыхнулись, отодвинулись в сторону и снова влились в полосу света, искрами засверкали в нем.

Не было им дела ни до кого. Захваченные благоговым танцем любви, который казался бестолковой толчеей, мушки, изнемогающие в короткой губительной страсти, правили свой праздник, переживали природой подаренное им мгновенье. Танец на угасающем луче, миг жизни, истраченный на любовь, маковым зерном уроненная в траву личинка — и все. Но они познали свое счастье. И другого им не надо. При ярком свете, при жарком солнце мушки ослепли и сгорели, и крохотные их сердца не выдержали бы другого, большего счастья, разорвались бы в крохотных телах...

Сероватая темь стоит в распадке. По отдельности выступает каждая жердь огорода, вылуженно блестит от сырости. На полянку легла четкая тень городьбы и деревьев, стоящих по горам. Мерно шумит, даже не шумит, глубоко, слышно дышит стиснутая горами река, и от нее идет переменчивый, зеркально отраженный свет к небу, где мерцают бледные, на помидорный цвет смахивающие, незрелые еще летние звездочки.

А мушки упали наземь, в капусту. Вялые, ко всему уже безразличные, две или три из них коснулись шеи мальчика, заползли под холщовую жесткую рубашу, приклеились к потному телу. На капусте сыщется, склюет мушек зоркая птичка — мухоловка и целым пучком снесет их в клюве своим зеворотым детишкам, а те, питаясь, будут быстро расти и оперяться, капуста же, избавленная от гни, ядреть примется и, как поп, который хоть и низок, обрядится во сто ризок. В реку упавших мушек будут хватать мулявки и от пищи становиться рыбами — мушки и мертвые продолжают служение более сильной, продолжительной и устойчивой жизни. Стало быть, все эти букашки, божьи коровки, бабочки, жуки и кузнецы, едва ползающие от сырости по брюкве, — все-все они есть не зря, все они выполняют назначенную им работу, все что-то делают на земле, а главное, живут и радуются жизни.

Ну а сорняк на грядках, жалица эта проклятая, сороки, жрущие мухоловкины яйца, кусучие слепни и пауты, которым ребята учиняют фокус — вставляют в задницу соломинку и отпускают с таким трофеем на волю? А гадюка шипучая в смородине, а комары, а мошки, а клещи в лесу?! Этим кровососам, сволоте этой, теснящей и жрущей все разумное и полезное, тоже, значит, торжествовать и радоваться?! Ах ты, батюшки мои! Сложно-то как! И спросить не у кого... Бабка дома, дед в баню собирается, тетки моются, дядья коней в луга угнали, земля молчит. Не у кого спросить.

Сам думай, сам ищи ответ, раз задачу сам же себе задал, а тут сморило всего, спать тянет, думать ни о чем не хочется...

Да ну их, все эти вопросы и задачи! Потом, потом, когда вырастет, само собой все и ответится, и решится, а пока, обмякший от накатывающего сна, мальчик идет к калитке, неся в сердце умиротворение, сопротивляясь дремоте и невнятно повторяя себе под нос: «Сон да дремота — поди на болото!»

Нашарив волглую веревку, мальчик снимает ее с деревянного штыря и еще раз оборачивается к огороду, наполненному живыми существами. По-за огородом, в лугах, идет истовая, дружная косьба. Стрекотом кузнечиков так все переполнено, что уж слит тот многомоторный звук воедино с ночью, с земной утишенностью, даже плотнее он делает ночную тишину. Тот кузнец, что продрыхал в капусте, разогрелся, распалил себя, искупая свое упущение, звончее всех строчит из огорода в небесную высь, сдается, пучеглазый этот стрекотун даже зажмурился в упоении.

Дух плодов и цвета, вобравший в себя ведомые мальчику запахи, уверенно стоит в чаще огорода, отесняя запахи леса, и трав, и бурьянов. Но и в этом запахе, как бы паря над плотным дымчатым слоем, буйно звучит лютый дурман табака, угарно-горького мака, лопухо прикрывшегося серой шапочкой на ночь. Маленькую маковку с белым еще семенем в середине берегут от холода метляками слипшиеся лепестки. Запахи моркови и укропа точат нос, но глушит его ясно зацветающая маслянистая конопля, которую кидает ветер блошкой, а она натрясет полное лукошко. Однако ж и ладаном воняющую коноплю, и лежалой хвоей отдающий укроп, весь огородный,

трудоу дух забьет поутру, после восхода солнца, навально катящимися с гор, упругими волнами разогретой серыживицы со стволов сосняка, кедров, лиственниц и елей.

* * *

Из пухлой, залитой зеленой гущиной пластушины наносной земли, возделанной человеческими руками, над которой если и ветер гулял, то пухлым казался, невозможным, навеки канувшим представлялось то время, когда пустой, ровно бы военное нашествие переживавший, истыканный, искорябанный, лунками израненный, будет стариковски уныло прозябать огород.

...Кучи картофельной ботвы как попало разбросаны по огороду. На сквозном ветру колючий осот бородой трясет, сопливая паутина обвисла на исхудалой, растрепанной межевой дурнине; ястребинка сорит грязным, дрянным семенем; розетки дикого аниса, жабрей, лебеда, чернобыльник осыпаются, цепляются за все, а уж репейник, что дедушка, осердился, в бабушку вцепился, ну везде-везде он: в хвостах собак и коров, в гривах коней, в рубахах, в штанах и даже в башке, в волосьях царапается и уцепится — выдернешь с горстью волос. От кого и радость, так это от хрена — зеленеет бродяга, бодрится молодое, из бурьянной глухомани он, словно из кутузки, на свет Божий вывалился, радехонек воле.

Сбежались тучки в одну кучку, березы в лесу понизу ожелтелились, коровы, кони и собаки спиной к северу ложатся, перелетные пгицы в отлет дружно пошли — верные ворожеи: быть скорому ненастью, быть ранней осени.

Остающиеся в зиму пташки грустны, нахохленны. Сытые вороны угрюмо сидят на коньке бани, по веткам черемух обвисли, на пошатнувшихся кольях окаменели, могильно-скорбные, задумались они о жизни, впали в тягучую тоску иль дрему. Паутина перестала плавать в осиянном поднебесье, плесенью опугала она прокислые листья бурьяна. Обнажились в межах мышинные и кротовые норы. За баней в предсмертно и оттого яростно ошетилившейся крапиве обнаружилась цыпушка, которую искали все лето, мертвая, пустоглазая, почему-то ни мышами, ни собакой не тронутая. Татарник шишки раскрыл, сорит из них волокнистый пух. Носит пух по-над огородом и пустой землею, бросает в чащу, гоняет по реке. Хариусы, скатившиеся на зиму из мелких речек, принимают пушинки за

муху или метляка, выпрыгивают наверх, хватают их, после сердито головой трясут, выплевывая липкую нечисть изо рта.

Светла вода, светел и прозрачен воздух, но и река уже берется со дна дремотой, в воздухе день ото дня все меньше сини, туманы по утрам плотнее, и лампы в избах зажевывают рано. Перезрелая, но все еще темнолистая конопля, качнет ее, чуть тронет ветром, засорит свинцовой дробью. Ребятишки заворачивают коноплю в половики, бухают палками. Провеяв семя на ветру, горстями сыплют его в рот, хрустят так, что беззубые старики завистливо сердятся, гонят ребятишек заниматься молотью по-за глазами.

Щеглы, овсянки, чижи, синицы из лесу на огороды слетелись, шелушат репейники и коноплю. Воробьи, поздешнему чивили, объединились в стаи и такие побоища поднимали, что по всему селу гомон разносился, над межами пух и перья летели. Мягые, растрепанные, летошние чивили жаловались: «Что мы, что мы нехорошего сделали? Учили воровать? Воруем! Учили чирикать? Чирикаем! Чем мы, чем мы не угодили папе с мамой?!» Старый воробей, со спины коричневый, по груди и пузцу седой от жизненных невзгод, глядел из-под лопушьего листа на эту серую мелкоту, исполненный беспредельной горести: «И это мои дети?!»

Деловито чирикнув, он спархивал в сухой бурьян. Опасливо, один по одному, следом за ним в межевую глушь ныряли и молоденькие чивили. Из кормных зарослей начинали раздаваться такие восторженные возгласы, такое восхищение папой, что он снизошел — выслушал похвалы в свой адрес. Оказывается, возня, побоище были всего лишь маневром, с помощью которого вырабатывалась не только храбрость, увертливость, но и смекалка — семя с кустов конопли вытряхивалось на землю — и клюйте его, набирайтесь сил, дети! «Ну папа! Вот это папа! Где вы, где вы можете иметь такого папу!» — заливались жирующие чивили.

В печальные, закатные дни осени какое-то неприка-
янное, виноватое объявится ненадолго солнце, и на затужалой земле охнет, воспрянет какая-никакая поросль — вяло, бледно зазеленеет день-деньской мокрая огава; один-другой цветок куль-бабы засветится; бабочка над огородом запорхает; сочный шмель загудит, слепо тыкаясь во что попало; из старой черемухи ящерица на теп-

лые бревна бани выбегут; кузнецы попробуют литовки точить; на огуречной гряде, вроде бы уж насмерть убитой, среди желтой слизи вздымется одна-другая плеть. Болезненные цветочки, похожие на окурки, родят тоже болезненные, «не божецкие» плоды с худым, пупыристым задком иль с рахитно вздутым пузцом, головастика выдадут иль в загогулину плод изогнут, а то уродливыми близнецами они слепятся...

Огурчики, травка, блеклый цветок, вялая бабочка над огородом, отрывистое чиканье кузнецов — последний вскрик золотой осени. Скоро, совсем скоро заскорбнет земля от ночной стыни, и как-нибудь, еще до рассвета, отбелится тесовая крыша бани, засверкает искристо ствол старой черемухи, захрустит под ногами топтун-травка, ломкими сделаются лопухи хрена, бочажину охватит морщинистым ледком. Падет пронзительная тишь на округу, и еще далекое, еще не слышное утро белым вздохом найдет печальное, едва уловимое предчувствие зимы. А перед самым мясоедом на небе кто-то примется теревить гусей, и устало присмирившую, успокоенную землю покрывает белым пухом.

Нет, не думает мальчик о холоде и зиме, не хочется ему об этом думать, как не умеет и не может еще он думать о старости и о каких-либо жизненных невзгодах — виденье осени лишь вскользь коснулось его души, согретой мягким, благодетным теплом, и исчезло без следа.

* * *

Мальчик закрывает калитку, по-хозяйски старательно заматывает веревку. Все в нем напиталось огородными духмяностями, аж ноздри точит и на чих позывает. Во рту шершаво, словно от недоспелой черемухи, хочется парного молока, а оно, знает мальчик, стоит в белой фарфоровой кружке на кухонном столе, прикрытой ржаным ломтем хлеба.

Возле дощатой калитки оставлены опорки. Во дворе земля истолчена скотом. Мальчик, нащупывая опорки ногами, замечает свет в кухонном окошке, и совсем хорошо на сердце делается: увидеть «нечаянно» свет в родном доме — к счастью! Под навесом, звякнув цепью, отряхнулся Пират, знаменитый тем, что у новопоселенки-фельдшерицы, квартирующей вместо известняка, выследил он похожую на тушканчика японскую собачонку и съел ее,

приняв за лесную зверушку. С тех пор Пират пожизненно посажен на цепь, безутешно же рыдавшая по собачке постоялица обзывает его смешным, нерусским словом «каннибал» и боязливо, боком скользит по двору, когда приходит за молоком, хотя пес не только кусаться, но и лаять перестал от конфуза и лупцовки, полученной за погубление заморской собачки, стоившей дороже подсвинка и питавшейся исключительно пряниками.

Сунув ноги в холодное нутро опорок, мальчик зашел под навес, потрепал по пыльному загровку мученика-пса, сделавшего одну-единственную промашку в жизни, но не прощенную людьми. Сами-то себе они ой сколько прощают! Пират признательно облизал лицо мальчику и, старчески вздохнув, полез обратно в конуру.

В проскоженной добротой и теплом груди мальчика шевельнулась и обмерла нежность папополам с жалостью, захотелось ему кого-нибудь обнять, стиснуть, сказать что-нибудь хорошее. И еще — вот ведь оказия какая! — заплакать приспело. Обхватить руками Пирата, нет, все обнять, что шевелится, светится, поет, свистит, растет, цветет, стрекочет, шумит, звенит, плещется, пляшет, бушует, смеется, — прижаться ко всему этому лицом и заплакать, заплакать!..

Истлевает паутинка, уплывает, рвется, оставляя серебряный отсвет. Я пытаюсь удержать в себе хотя бы отблеск дивного видения и какое-то время оголенным сердцем чувствую едва осязаемое касание дальнего света, вижу дымчатую даль, и во мне живут звуки, запахи, краски, принесенные памятью.

Спит моя родная земля, глубоко спит, натруженно дышит, и витают над нею беды и радости, любовь и ненависть — и все горит, все не гаснет моя серебряная паутинка, но свет ее отдаленней, слабей, утихают во мне звуки прошлого, блекнут краски, чтоб снова озариться, засиять, когда сделается мне невыносимо жить и захочется успокоения. Хоть какого-нибудь..

Глубоко вздохнув, мальчик кладет теплую ладошку под теплую щеку. Пусть смотрит: он свои легкие, радужные сны.

Грозные сны досмотрю за него я.

ПАРУНЯ

Очерк

•

За речкой Быковкой в пошатнувшейся загороди, состоящей частью из выветренных до белизны осиновых жердей, частью из ломаного частокола, женщина копает землю. Движения ее неторопливы, как бы раздумчивы, одежда на ней того же цвета, что и земля, — серовато-черная, с разводами выступившей на спине соли. Нехитрое дело — копать землю: подошвой на отгиб лопаты, острие или, по-солдатски, штык в землю, поворот лопаты, заученный удар по вывернутому изнанкой кому, и снова наклон — подъем, наклон — подъем. Сколько это там «мальчики играют в тихой мгле — десять тысяч лет уже играют...»?

А сколько же эта женщина копает землю? Весь свой век. Нет, все века земного человеческого существования — сначала камешком, потом обожженным сучком, потом железкой, не сразу и не вдруг сделавшейся лопатой. Удивительная судьба этого вроде бы примитивного инструмента, из тьмы безграмотных веков дошедшего до наших времен и не сдающего своих позиций. Я уверен, и в Байконуре, и в Звездном городке, где люди живут вроде бы в запредельном, космическом времени и масштабе, не могут обойтись без нее, без старушки лопаты. Более того, все с нее и началось. Ведь прежде чем что-либо построить, вырастить, добыть, надо копать землю — мы дети земли, мы живем ею и на ней, оттого и зовем ее матерью. Слово это люди не устают повторять, и никогда оно не надоест: мать и хлеб — слова всевечны.

Женщина копает землю, не себе копает, а немощной бабушке Даше — так уж заведено, так уж пошло издавна в этой деревушке: прежде чем сделать что-либо себе, подсобляют другим.

...Деревня Быковка стоит на берегу уральской речки Быковки, журчаливой, студеновой, веснами облитой цветами черемухи. Глянешь с утора, и кажется, что бушевавшая всю весну речка взбила по всем своим загогулинам и водоплескам белую пену. В пене, омытые, задохнувшиеся вешним дурманом, дни и ночи трещат соловьи, уркают голуби-вяхири, по травянистым косогорам верещит, свистит и заливаётся всякая иная пернатая мелочь, которой и всегда тут было много, а за последние годы сделалось гуще, — видно, в середине России и в теплых краях до того допрыскивали поля и леса, до того их допыляли, что всех козявок, блошек, мошек и муравьишек там уморили, нечего стало есть птичкам и жить страшно сделалось, вот они и ищут кормные места и тихие уголки на земле.

Широко разлившаяся от подпора Камской гидростанции река Чусовая и Сылва, соединившись вместе, образуют малонаселенный угол. Подумать только: сорок минут на электричке за плотину от огромного индустриального центра — Перми, в которой толчея, дышать от копоти и газа нечем, двадцать минут на «Ракете» от пристани Левшино — и вот она, первозданная тишина и вселенское успокоение.

Породнился я с деревушкой Быковкой и ее обитателями, и, находясь вдали от Урала, нет-нет да и получим мы с женой весточку оттуда: живем помаленьку, тот-то помер, тот-то уехал или собирается уезжать...

Когда-то вызвал я неудовольствие одного пермского деятеля тем, что поселился в этакой глухомани. Не понимая такого моего шага, деятель полемизировал со мною по этому поводу, полемику же он понимал как футбольную игру в одни ворота, чтоб он «бил», а все остальные «ловили», — и, получив непривычный отпор, воспламенился, орал, есть, дескать, в Пермской области колхоз-миллионер, там бы избу мне дали бесплатно, мешки с продуктами не надо на себе таскать, там и магазин, там и Дворец культуры, в лесах клещей нет и никакой другой заразы — живи в свое удовольствие, отражай все новое, передовое. Так нет ведь, забрался писака в энцефалит-

ную деревушку, чуть жену не погубил, пишет про бабушку с дедушкой да про Сибирь, а картошку уральскую ест!..

Я знаю еще по работе в газете, когда начальник просит или требуют «отражать достижения», то он ясно подразумевает, что в этих «достижениях» уж непременно отразится сам, и сказал, что выбираю все в жизни согласно своей душе: жену, работу, жилье, мысли, даже еду, если капиталы позволяют.

Важный деятель сей же момент обвинил меня в «искривлении души», в ущербности видения действительности. Может быть, может быть, ибо еще в войну я уяснил: слова песни «Мы будем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда» есть все-таки слова, и не больше, к тому же написанные на «русского языка». Пермский же начальник, и кабы только он, считает пение и смех «среди упорной борьбы и труда» нормальным состоянием нашего общества. Разница еще и в том, что гораздо больше я видел слез после войны, чем слышал песен, и нет тут моей вины, а есть наша общая беда и боль, которую самой природой и мучительной профессией назначено мне постоянно чувствовать и переживать во сто крат больше других людей, иначе и за перо не стоило браться.

Когда-то жизнь вокруг Быковки была ключом: был леспромхоз, колхозы, мастерские, линия электропередачи, но как разлилось Камское водохранилище, потопившее необозримую вольность уральских лесов, пойменные луга, пашни, — жизнь на мысу начала сворачиваться, правление колхоза, нынче — совхоза, перекинулось на другую сторону, в поселок Старые Ляды, и домишки один по одному начали сниматься с мест, оставляя после себя груды пережженных кирпичей, ямы подполий с мышинными норками, битыми горшками и старыми самоварами да сгнившие нижние венцы, два из которых допревают перед моими окнами по другую сторону дороги. Бурьян, лопухи, жалица поспешно и стыдливо маскируют захлащенное, будто в военной панике брошенное жилое место.

Красивые берега Сылвы и Чусовой ныне захвачены дачной публикой. Лишь деревушку Быковку минует дачная стихия: в глущи лесов деревушка — к ней идти «своим ногами», тащить на себе продукты. Дачник же, большей частью пенсионер, не хочет ходить и таскать ничего не любит — он на то и дачник, чтобы отдышаться от газа и дыма, отдохнуть от города, от сумок, авосек, от очередей, от гама-содома и скоротать на лоне природы остаток лет,

созерцая ее, а главным образом, потихоньку пощипывая, где мережкой опутывая, где острой притыкая, где топориком потюкивая, где костерком припекая, где ружьишком ушибая, — очень замкнутый, но деловито-ловкий смекалистый пенсионер-дачник обретается по здешним задичавшим берегам...

Странная и зловещая арифметика постигла Быковку: в шестнадцать ее домов не вернулись с войны шестнадцать мужиков; и, сколько я знаю, она всегда бабья, отсюда уклад ее жизни. Во время лесозаготовок и пока мельница стояла, шумней было в деревушке, народу заводней. В соседнем поселке, названном тромко — Новостройкой, кино показывали, танцы бывали, праздники и драки случались; нет-нет да какой-нито кавалеришко из вербованных или трудармейцев привертывал на огонек в Быковку, два или три павовсе со вдовушками сошлись. Но когда леспромхоз, прикончив лесную страду, свернул свои дела, прихватив с собою вдовушек, дома и худобу их, новоявленные хозяева исчезли из деревни.

Однако не ощущались еще так остро в Быковке малоллюдство и заброшенность, пока шумела на речке мельница, но погубила мельницу злая привычка мельника к вину: загулял он в майские праздники и не отдолбил ворота плотины. Вода наперла, стала перехлестывать через насыпь, потом нашла слабину, просочилась за стенку давно срубленного ряжа, размыва яр и, обвалив каменистый его бок, хлынула из заперти, лязгая каменными плитами, переворачивая сутунки, кружа упряганные меж ними сухие птичьи гнездышки, взбивая пеной мучной бус, мякину и отруби, валом опрокидывая захлебнувшихся крыс и мышей, всегда и на всех мельницах густо обретающихся.

Весело бегали быковские ребятишки с корзинами и кошелками по оголившейся впадине пруда, из борозд, лыв и бочажин выбирая рыбу, — много рыбы обсохло, особенно хариуса.

И посейчас видно то место, где была мельница. Трагично и одиноко наклонился над речкой старый тополь, когда-то плескавший листвой над кровлей колхозной мельницы, дававшей приют множеству птах и тень помольщикам, ждущим очереди на засыпку зерна.

Яр все моет и моет веснами, скоро тополь упадет, колеса, шестерни, жернова, настил мельницы почти уж затащило тиной и курумом — супесью, речка норовит спрямить русло, размывать насыпь. Ох уж эта норовистая реч-

ка! Чем-то она похожа на нас — все-то мы спрямляем пути, размываем насыпи, но пока спрямляем, глядишь, еще большая загогулина в жизни вышла...

Но вот пришла огородная пора, и ожила деревушка Быковка. Из угарных, скособочившихся изб вышли на свет хозяйки; принялись чинить городьбу, жечь огородный хлам и прошлогоднюю картофельную ботву; кислым дымом из огородов потянуло; за соседней баней проорал руководящим голосом петух, взмыкнула корова, а вон и давно привычной крик слышен: «Парушка! Ты завтра приходи на помочь!..» В Быковке издавна все делается артельно. Поодиночке женщинам было бы с жизнью не совладать. Первой в работе, любой, особенно которая потяжелее, всюду была и есть Паруня, попросту Парушка — это она вот копала землю за речкой, помогала бабушке Даше.

В грузно шагающей женщине, как бы остановившейся в одном возрасте, уже трудно угадать ту голенастую, румянощековую девку, которая, таясь от зорких бабьих глаз, не переставая править крестьянскую работу, выносила ребенка и однажды потихоньку родила его, спрятавшись на сеновале. Ослабевшую, перед всеми виноватую, но просветленную во взгляде, нашли ее бабы. «Дура ты, дура! — сказали ей. — Да нешто с этим делом прячутся?!» И увели молодую мать в тепло, в избу.

Да не сулил, как говорится, Бог долгого веку дитю Паруни. Одна она скоро осталась, ходила молчаливая, смотрела в землю. И по сию пору придавившая ее в молодости сутуловатость осталась, горбистой спина сделалась да ровно бы вытянулись большие руки с кривыми пальцами, навсегда уже сведенными в горсть пашенной работой и простудой.

От кого было дите, куда девался тот ухорез, что искусил молодую девку, — бабы никогда не узнали, хотя пытались, ох как пытались это сделать, — первая и последняя любовь Паруни была и осталась для всех тайной. Я иной раз глядел на нее и в чем-то, где-то угадывал — она не забыла о голеньком дите и о летучей любви, дорожит этим воспоминанием и оттого никому его не доверяет.

Больше ничего выдающегося в жизни Паруши не случилось. Наведывались, конечно, в гости мимоходные мужики; старый пасечник одно время наладился угощать Парушу медом, да и сам я слышал и видел, как заливалась она громким смехом и вертелась возле таганка, на котором клокотало варево, когда было брошено в заречные

места на копку картошек одно бравое саперное войско, и носатый сержант в начищенных ваксой сапогах, со множеством значков на гимнастёрке, все норовил ущипнуть Паруню, а она взягивала, отбиваясь от наседающего воина: «Да подь ты к чёмару, лешой!»

Родилась и выросла Паруня в Быковке. Трудиться стала с четырнадцати лет, потому что рано осиротела. Войну она встретила уже взрослой девахой, работала, как все колхозники, дни и ночи, не разгибаясь, в старой телогрейке, в лаптях, которые зимою часто примерзали к ногам. «Паруша, война идет. Надо фронту мясо», — говорили ей. Надо так надо. Силой Бог не обидел, раденье от природы, а тут еще бабы свои, родные все, как им не подсобить? «Паруша, подежурь за меня, ребенок заболел...», «Паруша, съезди в лес по сено, корова падает...», «Паруша, помоги напилить дров...», «Паруша, погрузи мешки — у меня поясница отнялась...», «Паруша, вывези на-зем...», «Паруша...», «Паруша...», «Паруша...».

Не было у нее мужа на фронте, и сына не было на фронте, перед всеми она в долгу, перед нею — никто. Ей как бы самой жизнью было заказано прибегать к бабьему средству — слезам, и вообще всякое облегчение, жалость, сочувствие вроде бы на нее не распространялись, они ровно бы и отпущены ей судьбою не были. И один раз, один только раз разревелась она в войну: пришла к Даше, тогда еще не бабушке, а ладной, крепкой, доброй женщине, та печь затопила, велела Паруше раздеться, лопоть и обутки посушить — ростепель, слякоть как раз была. Сняла Паруня свои в прах разбитые латки, портянки размотала и приморилась возле печи. Старший Дашин сын в избу ввалился, в печь дрова подкладывать взялся, видит — старье, хлам какой-то мочальный к печке прислонен — он и его в огонь.

Проснулась Паруня, за голову схватилась: «Ой, в чем же я на работу-то пойду?! Поначалу все оторопели — Паруша ревет. Пошли женщины к колхозному начальству походом и за грудки его. Помогло. Обули Паруню, и она, поблагодарив товарок за хлопоты, снова впряглась в работу, пуще прежнего старалась всем помочь. Когда, где спала она в ту пору и спала ли вообще — никто не знал.

Выдавали Паруне за работу мясо, муку, деньги. Брат родной жил с семьею в Быковке же. Паруня весь свой паек тасила в дом брата — с войны он вернулся израненный, большой туберкулезом. Золовка не пускала Паруню

в дом — вонькая-де, свиньею пропахла. Голодная, замерзшая, придет под окно Паруня, стоит, смотрит, тихонько завывая. Как собачонке, выбросят ей каравай хлеба, из ее же муки испеченный, и дверь захлопнут.

Ах, как любят у нас, особенно по темным углам, обижать безответных людей! Но когда их не станет, когда они уйдут навечно и обнаружится после них пустота и вроде бы потухнет свет в деревенском окне, оплакивают их люди горько, винятся перед ними.

А как умеют и любят у нас, увы, не только по деревням, воротить рыло от тех, кто выполняет грязную работу, забывая, что все на свете идет от земли, растет на земле, а она, между прочим, грязная, и на поля, между прочим, кладут душной навоз, чтоб хлеб родился, картошка, овощи, чтоб есть было чего.

В одном российском городке видел я на воскреснике выразительную картину: современное, стеклобетонное здание института, перед ним в модных штанах, в красивых плащиках, с навойлоченными прическами, разукрашенные, распомаженные девицы мели землю. Как они ее, бедную, мели! Каждая девица старалась держать метлу как можно брезгливей, манерней, то под мышкой, то в одной ручке, обтянутой замшевой перчаткою, то уж и вовсе как-то неприлично — студентки изображали отстраненность от труда и от земли, им казалось постыдным, если подумают, что родители их и они сами только что вот покинули село...

В превосходной книге Михаила Домогацких «Джамбо, Африка!» я вычитал страницы о том, как в многочисленном африканском народе масаев происходит то, что книжно именуется урбанизацией. Побывав в городе, поотиравшись там на должности боя, рассыльного, паче того — на службе, иные масаи начинают пренебрежительно относиться к своему народу, не хотят с ним общаться и узнавать родных. Так ведь масаи-то лишь недавно из колониализма вышли, ведут племенной, полудикий образ жизни. Зачем же будущим-то учителям, выросшим в трудовых семьях, учившимся в трудовых школах, на трудовые копейки народа, не чурящегося ни земляного, ни тягостного ратного дела, уподобляться полудикому племени?..

Впрочем, что корить девушек с филфака — они молоды, и им еще доведется устыдиться своей жеманности. Но вот в Быковке гостил у меня довольно известный писатель, что в книгах своих и в застолье не устает распинать-

ся «за народ». Так вот этот самый «народник» не стал пить из одного стакана с Паруней, погребовал, а я, хорошо его знающий, точно ведаю: Паруня чище его и душой, и телом, и помыслами — и оттого запретил ему бывать в моей избушке.

Со временем Паруня перешла со свинофермы на колхозный телятник, где работать ей было легче, есть у нее и своя изба — крайняя в деревеньке, есть коза, курицы, кошка и кривой на один глаз кобелишка Тузик, который таскался за хозяйкой по пятам и нещадно трепал за уши моего дураковатого пса Спирьку, — только он и был под силу Тузику. По интеллигентской воспитанности Спирька не вступал в драку, лишь грозно рычал.

Стоимость всего хозяйства Паруни где-то в пределах трехсот или пятисот рублей. В диалектике я не силен, политэкономии постичь до глубин так и не сумел. Когда учился на Высших литературных курсах, Ишутину Михаилу Ивановичу — преподавателю политэкономии — говорил на экзамене одно и то же: «Политэкономии знаю на двойку, а надо тройку, чтоб получать стипендию — семья у меня». И преподаватель, добрая душа, за честное признание ставил мне четверку. Но даже при таком слабом знании политэкономии я вот что маракую: Паруня с детства трудится, производит материальные ценности: мясо, молоко, дрова, сено, древесину, и мне хочется знать — куда это все девается?

Однажды я пережил самое настоящее социальное потрясение. Еще утром был в Быковке, а вечером по срочному вызову — в Москве, в гостинице «Украина», устроился жить и пошел в ресторан поужинать. «Мальчики» лет этак тридцать, из тех, что кончили Литературный или другой институт, в красивых пальто, в меховых шарфах, в меховых шапках шляются по столице, попивая коктейли или чего покрепче, вельможно рассуждая при этом «за народ», и не спешат жениться, чтобы не уходить от родителей и не кормить свою семью, да разукрашенные девки бесились в ресторане, справляли шабаш по поводу того, что один из них протолкнул-таки «сценарий про рабочий класс». Парни-мужики и курящие девицы выкрикивали что-то хриплое, дикое, по-африкански «выразительно» вертели задами, закатывали глаза в экстазе танца, загнаные официанты разносили по столам еду, какой быковские женщины и в глаза не видывали, вина, какие они сроду не пивали. Сиял свет, гремела музыка, было дымно,

чадно, взвинченно-весело. Перед моими же глазами немолимое и трагичное стояло видение: войной надсаженная, полуразвалившаяся деревушка с темными окнами.

Паруни ломит всю жизнь работу, производит продукцию, у нее огород есть, коза, куры и собака Тузик. Хорошо, коли продукт, ею произведенный, потребляют металлурги, шахтеры, рабочие и служащие, учителя, ученики и малые дети в детсадыке, — это все так и должно быть. Однако же часть труда и продукции, произведенной Парушей, попала и попадает этим вот «сливкам общества», этим краснобаям и пьяницам. А почему она, собственно, им попадает? Почему они не работают и жрут?! И что самое обидное, жрут слаще тех, кто работает...

* * *

С годами еще тяжелей сделалась походка Паруши. Часто она стала падать — подводят простуженные ноги, но тело и вся она крепко, по-мужицки сбиты. И летом, разломавши суставы и потрескивающие кости, выходила она вместе со всеми быковскими жителями на закладку силоса — заросли холмы в округе бурьяном, дурнотравьем, а по пойме реки — пыреем, коси, сколь угодно, сколь душа просит. По девяти — двенадцати ям силоса закладывали. И любо-дорого смотреть, как, рассыпавшись по косякам, в цветастых кофтах, в широких, складками обхваченных юбках женщины неторопливо да податливо вели прокосы, исполняли мужицкую работу — отбивали, точили литовки, прочищали сточные трубы из ям, лошадьми утрамбовывали сырую зеленую массу. Требовалось — и к горну в кузнице становились. Глядишь, и бригадир-«руководитель» прибудет из соседней деревушки Катаева. «Руководить» в его понимании — значит пушить всех грязнущими словами и, главное, вызнать, не косит ли какая-нибудь хозяйка на лесной притаенной кулиге «для себя», не таскает ли в вязанках сено ночами на поветь. Как вызнает, тут же понятого, такого же пьяницу, за бок — и с «описью» в дом. Всех и все знал бригадир. Он здешний, «находить колхозное добро» умел хоть под землей — сам ворюга. Точно шел, собачьим нюхом отыскивал сено. Заваленную старым тесом или жердями, откроет копешку и насупится: «Эт-то что такое?! Нарушаешь?!»

Упрятанная на полатях в старой лагухе кисла, парилась брага на предмет помочи на покосе или починки бани. «Да захлебнися ты ею!» — застонет, бывало, хозяйка-вдо-

ва, обольется слезами, угощая брагой начальство, чтоб только не описали.

Не выдержал я как-то, сказал бригадиру: «Что ж ты лаешься так? Зачем утесняешь женщин-то? Им поклониться надо за труд и жизнь ихнюю...»

Не понял меня бригадир, не одобрил: «Это Парушке-то кланяться?!»

Вот и самая «молодая» из быковских женщин — Паруня на пенсию собралась. Надела она новое платье, сапоги резиновые, жакетку плюшевую, заперла избушку на круглый висячий замок, наказала подружкам доглядеть скотину и подалась на другую сторону водохранилища, в контору совхоза, праздничная, с легкой душой человека, до конца исполнившего свой трудовой долг.

Как же горько плакала, вернувшись домой: в конторе каким-то образом, на каких-то хитроумных счетах прикинули ее трудовой стаж, и выпало: не хватает Паруне года до пенсии. «Болят у меня ноги, шибко болят, — жаловалась Паруня молчаливо окружившим ее товаркам, роняя одну за другой крупные слезы на жакетку и вытирая их концом клетчатого полусапка. — Если бы оне знали, как у меня болят ноги, оне бы вырешили мне пенсию...»

Некому, совсем некому было работать в ту пору на телятнике. Надо было поговорить с Паруней, упросить ее, она бы согласилась, не устояла бы перед добрым словом. А ей какой-то туфтовый год недосчитали, почему-то начали стаж исчислять от совершеннолетия, толковали, что в архивах колхоза недостает каких-то бумаг... Куда они могли деться, те бумаги? Да и зачем они? Паруня всю жизнь работала в одном колхозе, в одной и той же деревне.

Утром, подпоясанная ремнем по тужурке, в мужицких брюках под юбкой, поковыляла Паруня на телятник, снова спокойная, но какая-то до щемливости от всего отрешенная. Такой вот непривычной я и запомнил тогда ее — бредет зимою по снежным забоям к телятнику, освещая себе путь фонариком, и головой покачивает. Но к лету воспрянула женщина, вытаяла, как по селам говорят, обветренная, загорелая, неунывающая, снова всем готовая прийти на помощь и пригодиться, трусила по скотнику, кричала на непослушных телят, столуя их, а они ее несколько не боялись, тыкались в грудь парными мордами, руки облизывали, забыла горе Паруня, обиды забыла — не приучена их помнить, никто не приучал, да и в тягость самой себе такая привычка.

В следующем году пенсию Паруше все-таки вырешили, хорошую пенсию — сорок пять рублей. Новый начальник отделения совхоза даже слова какие-то приятные сказал, новый бригадир — тоже. Покрывало в подарок выдали — Паруня его в тряпицу обернула и к бабушке Даше унесла на сохранение. Достает она то премиальное голубенькое покрывало и заправляет им кровать лишь по большим праздникам.

Тем летом, как вышла Паруня на пенсию, поднялся я в угол, что полого взнимается от избытки бабушки Даши в осипшики, уже воспрянувшие на вырубках тридцатых и сороковых годов и в девичий рост вошедшие, — там часты и дивно ярки подосиновики. По склону горы, на опушках лесозаготовители оставили полосы большого леса — шуршат под ветром высокие пышно-зеленые лиственницы, сверкают на солнце златоствольные сосны, густо, одна к другой, жмутся ели, сочится ладаным запахом молитвенно-тихий пихтарник. Вот в этой гуще, на земляничной кулижке, и увидел я Паруню. Она косила мелкое разнотравье для козы, вся ушла в работу и не слышала меня.

Я замер на опушке.

Лицо Паруни было отстранено от мира и сует его, мягко, я бы сказал, даже благолепно было лицо ее. Зной солнца, стоявшего о полудни, смягчала густая хвоя и гущина листьев; душистое и легкое тепло реяло над полянкой, над женщиной, светло и даже празднично делающей «легкую» работу. Была она в ситцевом платье горошком, в белом, по-девчоночьи высоко завязанном платке — в том же крупном горохе — видать, выгадался при раскрое кусочек материи от платья. Лоб Паруни четко раздвоился — нижняя половина его и все лицо были под цвет обожженной глины, выше, до посекавшихся волос, — иссиня-бледная кожа, слегка окропленная капельками пота. На ногах Паруни какие-то легкомысленные носки и кожаные, скрипучие, еще ни разу до сего дня не надевавшиеся сандалеты. Проблеск давнего, девического угадывался в наряженной женщине, педурна и в чем-то даже видная и ладная могла быть она в девках, если бы сиротство, война да работа не заели ее девичий век.

Паруня плавко шла по поляне, роняя к ногам косою низкий валок лесной травы. В венчиках мажеток лесной красноватой герани, в разжилых низкого подорожника и высокой купены, в блеклых головках ползучего клевера, в листьях-сердечках майника, на черноголовках,

на дымяшке, на икотнике и путающемся меж трав и дудочек мышинном горошке — на всем, на всем, несмотря на полдень, еще лежала прохлада утра, а в теньке, в заувее, нет-нет да и вспыхивала остатним ярким светом капля росы и, перегорев, коротко, празднично гасла.

Валки травы, сплошь окропленные брызгами земляники, беловойтой пока костяники, пятна листвы, блики солнца делали лесную кулижку еще нарядней, красочней, оживляли горошины и на Парушином «выходном» платье и платке. С тихой улыбкой, тайно блуждающей по лицу, творила она сенокосную страду, баловалась радостным задельем. Разгоревшееся алое лицо ее было ровно бы высвечено еще и внутренним светом, на нем жило удовольствие от вольного труда, от природы, близкой и необходимой сердцу, в котором расплылось и царило ленивое, нежное лето, и наслаждение было от него во всем: и в тепле ласкового, чуть ощутимого ветерка, и в ярком свете, ненадоедном, игровитом, что неразумное дитя, и в вольном воздухе, какой бывает только в пору спелой травы, когда еще не отдает земля грибной прелью и горечью плесени, а вместо паутины невидимыми нитями сквозит и прошивает все земляничнй дух, но все это и даже стойкий аромат сроненной со стебельков земляники, подвяленной высоким солнцем, заслонит, подавит скошенной травой, которая покорно и быстро вянет, исходя последним и оттого густым и пряным до опьянения запахом.

Все вокруг и прежде всего сама Паруня были так редкостно неповторимы, что зазнобило мое сердце, горло сделалось шершавым. Захотелось отступить в пихтачи, чтоб навсегда унести в себе до боли знакомую с детства картину слияния, вот именно, полного слияния природы и человека, а главное, осязаемую уверенность в том, что так же вот счастливы трудом и благословенны природою бывали моя покойная мама, и тетки мои, и все русские женщины, которые вынесли все беды, не сломились под тяжестью войны, не пустили глубоко в себя обездоленности и подавленности, потому что природа — заступница и кормилица — была с ними и в них. Она, конечно, дарила им не одни только радости, она посылала им и напасти, и беды, но она была им и Богом, и заступницей, и судьей, как настоящая, строгая мать. Вот почему никогда не поймут и не разделят ахов и охов, порой и слез, что льет наш брат интеллигент над их судьбою, наши русские крестьяне, мало того, усмехнутся над нами, ибо надо еще погля-

дочь, чья жизнь, паша или ее вот, допустим, Парунина, из деревушки Быковки, полнее и вдохновеннее. Во всяком разе, в ту минуту на лесной земляничной кулижке я вдруг уразумел: счастье и понятие его — дело непостоянное, текучее, но бесспорно одно — общение с природой, родство с пею, труд во имя нее есть древняя, неизменная, самая, быть может, надежная радость в жизни человека.

Под погою треснул сучок. Паруна подняла голову и какое-то время смотрела сквозь меня, без испуга и досады, лишь улыбка медленно сходила с ее ярких от земляники губ.

— Ты што, собаку пришел проведать? — спросила меня Паруна. Наш пес, скончавшийся зимой от старости, похорошен на этой горе, но где именно, я не знал. — Вот туды ступай! — махнула Паруна рукой в глубь леса. — Под молоньей сломанной елью увидишь могилку... — И словно бы разом забыв про меня, обтерла травяным вехтем литовку, сняла с нее кровавое крошево и ловко заширкала бруском по лезвию косы, под гребешком которой и у основания белого литовища тоже темнела полоска запекшейся земляничной крови.

Я тихо ушел в леса.

Еще одна весна! Снова путь в привычную быковскую избушку. Снова знакомая пристань. Дебаркадера еще нет. Топаем тропинкой мимо изуродованной, ободранной, медленно умирающей красавицы березы. Надсаженная, мимоходом истюканная топорами, она и в эту весну из последних сил развесила сережки лимонного цвета, ствол ее светился неестественно белым, лунным светом — так у измученных чахоткой, догорающих людей вспыхивает последний яркий румянец на щеках. Тропинка строчит на холм, вдоль поля, утыканного головками пестиков, а их тут охотно собирают на пироги; беловатыми всходами осота и сизыми — сурепки, через ложок, освещенный желтым пламенем калужниц. Зброшенное поле с едва уже заметными темными стерженьками когда-то скошенных хлебов дымится пылью или прахом земли, истаявшей в корнях трав. Вот и мокрый ложок, как живой первовестник лесов и снега, тающего еще в нем. Взмыл из лужи, метнулся в лес полосатый бекасенок, запричитала на опушке пигалица. Переходим по жердям через ложок и дальше, меж перелесков, по покосу, к нашей милой Быковке.

Вот она, темная, молчаливая. В двух крайних избах нет света, прясла огорода уронены, третья изба от краю с

заколоченными окнами. Сжалось сердце: еще кого-то не стало в деревушке. Отчего-то и в Паруниной избе не теплится огонек, не дымит труба.

Жива ли Паруня? Нельзя ей умирать, никак нельзя. Невозможно представить деревню Быковку без нее.

Жива! Увидела дым над нашей избой, и уж тут как тут, тащит из ямы ведро волглых картошек и дородную пегую редьку с желтокудро проросшей во тьме ботвой.

«Здравсуйте!» — говорит Паруня. Чуждаясь приезжих на первых порах, присаживается у двери на лавку и выкладывает новости, постепенно привыкая к нам и выявляя сыпотиха, не переменились ли мы и наше к ней отношение? Не загордились ли в городской жизни?

Скоро на «дымок» повернут остальные бабенки, и Саня Белканов с молодой женой объявится — в соседнем доме остался хозяином он, Саня. После смерти матери — Марии Федоровны — распалась семья, рассыпалась. И Саню лишь работа пасечника удерживала здесь. Сухонькую, тихоголосую, усмешливую мать Сани все вспоминают тепло и ясно, как живую: никогда и никто не видел ее без дела и никогда и никто не слышал, чтобы пожаловалась она на свою долю, а ведь подняла без мужа своих пяттерых да еще сестриных пару. Те так к ней привязались, что мамой, чаще нянькой звали. Почти все белкановские парни стали уже работниками «широкого профиля»: едет который постарше на «Беларуси», глядишь, рядом головенка младшего белеет — старший натаскивает его, и, когда старший в армию отправится, младший спокойно занимает место брата за рулем, на сенокосилке, в кузнице, на комбайне.

Лежит Мария Федоровна под еловым крестом на маленьком, в хвойном лесу запавшем кладбище, опетая птицами. Отработала женщина за десятерых, оставила миру трудовых детей, успокоилась, отдыхает, но с тайным душевным трепетом думают ее товарки о последней, трогательной, всех изумившей воле, которая, если раздуматься, была для нее естественной, и все ее поведение перед смертью лишено было какой-либо позы и истерики, так ныне распространенных.

Она уже должна была умереть, но пришла телеграмма в больницу, что Витька — сын сестры, ну это все равно что ее сын, возвращается из армии. И Мария Федоровна собралась с силами, дождалась солдата, поговорила с ним спокойно, без слез и жалоб, перекрестила на прощание и

через час преставилась, давши перед этим наказ, чтобы обрядили ее в подвенечное платье — она лишь в последний час созналась, что там, в другом мире, надеется с Васей, своим мужем, на войне убитым, встретиться и хочет ей нарядной быть и молодой.

У Паруни усадьба сотворена на бабий манер — два огорода под одной строчкой городьбы. Но вот уехала подружка ее, Дуська Копытова, на другую сторону водохранилища, в совхоз, развалила городьбу — полым-поло во круг. В деревне три козых блудливых семьи и один мужичонок — Саня Белканов, но он с восхода до заката на пасеке. Пришлось и мне вспомнить, что был и я когда-то мужиком, топор, пилу в руки — и в лес, помогать Паруне.

Валим с пей дерева на столбики, кряжуем их. Напарница тарашится на меня примугненным усталостью взглядом: «Видать, в лесу-то раблывал?» — «С девяти лет, Паруня, на увале дрова ширикал. Дед Илья потянет пилу, я за ней впробеги...» — «И я тоже, и я тоже...» — квохчет Паруня и предлагает попить кваску. Садимся на сдобно желтеющие пеньки. Птичий грай вокруг, лист нарождается, по сырому логу, окропленному белыми брызгами доцветающих ветрениц и синих хохлаток, тянет прохладой, освежает спину и лицо, от речки Быковки, что рокочет внизу, доносит горьковатостью черемух, набравших цвет. Несмотря на полдень, все еще там и сям поют соловьи, не выдохлись, не устали петь за ночь. Густо, сварливо трещат дрозды, гопяясь друг за дружкой, кукушка вкрадчиво, пробно кукует в глуби лесов, и всякая тварь, всякое существо подает голос, заявляя о себе, и если не голосом, так вон вроде рыжей бабочки — нарядом своим удивляет либо жужжанием крыл, как стригун, кружащий над нами. Трава, остро поистыкавшая мокрый лог, угланый прошлогодним пегим листом, и удивлять никого не хочет, она просто лезет на свет, потому что весна, и надо ей поскорее занять свое место на земле, вырасти, отшуметь, отцвести и успокоиться луковкой обновленного корня.

Паруня распустила платок, молчит, уронив меж колен руки, побитые топором, с крупно выступающими костями. Как у многих пожилых женщин, добрый и усталый взгляд направлен мимо всего, что есть поблизости, — запредельное, уже нездешнее успокоение и умиротворенность запали в ее душу, завладели ею.

Вдруг, очнувшись, начинает Паруня рассказывать о том,

как в войну работала на лесозаготовках, от колхоза посылали. «Тяжело было?» — «Ничо-о-о, здоровая была. Это сейчас ноги не дёржат. Несла тут от соседки решето с яйцами, бух в сугроб — все яйца перебила, корова этакая!»

Идет работа. Я таскаю столбики — Паруня валится под столбиком. Перевожу ее в сучкорубы. Огромным острущим топором орудует Паруня, опасаясь, кабы сослепу по ноге не тюкнула. В очередной перекур отчего-то начинает она вспоминать, кто жил в нашей избушке прежде, и память ее выхватывает неожиданное: какой-то Колька из нашей избы прятался в лесу, землянка у него там была, ночами он тащил со дворов съестное. Однажды застукали его в белкановской бане, отстреливаться взялся, его ранили в голову. По Быковке вели кровью залитого. Все люди, от мала до велика, на улицы высыпали. Стрелки, увидившие дезертира, сказали Паруне: «Не смотри, деушка!»

Рассказала и рассказала случай из жизни, сама-то она никогда и ничего не скрывала от людей — ни крошки хлеба, ни мысли дурной ли, хорошей ли — все, что знала, делала, — ведали люди, и до сих пор не может она понять, почему прятался от людей этот Колька, почему утерял сам себя и жизнь свою?

Доцветает черемуха по Быковке; купава на солцепеках и широких полянах желтыми лепестками плачет; первоцвет соригт семенем на траву; давно облетела и незаметной сделалась сияя медуница; запекся алый цвет дикого горюшка; сарапки высунулись из кустов утиними клювами, готовыми вот-вот ярко открыться; по склонам марьяны коренья вспыхнули; земляника бородавкой ягодки из сухого цветка глядится; шиповник розово набух; папоротники в лесах пышно распрямляются; заливные луга сплошь высохли, густотравьем покрылись; в шишечках трав раньше всего у ромашек, змеевика и гвоздики накипал легкий петоропливый цвет.

Узепькое зеленое разложье разделило весну с летом.

В Быковке притихло. Управились жители с огородами. Только долго и тихо светится окошко в халупке бабушки Даши — глянешь на него, и сердце сдвинется на теплое место. Бабушка Даша — здешний лекарь, прокурор, просветитель, наставник — словом, тот многоликий, многоглазый и многорукий человек, без которого ни одно русское селение обойтись не может. С Паруней у бабушки

Даши давняя и беспокойная дружба: жить они одна без другой не могут, по «всю дорогу» конфликтуют.

Гляжу я на заречный огонек, в котором две старые женщины неторопливо сейчас попивают чаек и толкуют о своих певидных миру делах, и думаю о том, что мы много рассуждаем о назначении человека, о полезности его в жизни и, кажется, несколько усложнили и продолжаем усложнять простые, как хлеб и земля, истины, скорее, даже не мы, а те, кто высокими рассуждениями как бы выдает себе право на лень, безделье и пустопорожность, вот-де, если потеряется космонавт в лесу, я, не щадя жизни, рипусь его искать; или обгорит герой на пожаре — я хоть кожу, хоть кровь ему. А уж «если завтра война»...

Космонавты теряются в лесу редко, герои обгорают тоже не каждый день, а войны, даст Бог, не будет, и не надо ее. Для делания добра, для желания помочь людям совсем не требуется таких потрясений, как война. Не лучше ли, не проще ли все делать без лишних слов, без болтовни, приучаться с малолетства самим и приучать к тому же своих детей всегда помогать ближнему своему, на первый случай хотя бы соседу. Пусть площадкой для утверждения человека, правственной основой его жизни будет сама жизнь, но не убийство и кровопролитие. Уж если явится необходимость, тогда другой разговор, а пока такой необходимости нет, сама естественная жизнь дает постоянные возможности творить добро, быть там, где ты сейчас необходим, и с теми, кому пужен. К счастью для всех нас, добро пока еще не знает отдельных мест, комфортабельных высот и сфер, оно всюду одной масти, вкуса и смысла — оно доброе, добро, оно существует для того, чтобы легче было жить людям, оно очищает человека от зависти, скверны, гасит в нем стремление к насилию. Поэтому у добра и не должно быть никаких кулаков, добро с кулаками — это все равно что родник с расплавленным свинцом. Пользу же принести и прожить жизнь с пользой для людей можно везде, как видите, даже в тихой и малой деревешке Быковке.

В середине мая прилетела ласточка, которая давно живет на чердаке Парушиной избы, никого туда не допускающая. Этакая чистюля и хлопотунья, однако весьма строптивая характером; когда ни послушает Паруня — все вскри-

кивает ласточка недовольно на мужа и детей, а дети такие смиренные да послушные, сидят тесно в гнездышке, прилепленном к слеге, маму с кормом ждут, как завидят человека — зажмурятся, головки утянут, мертвыми прикинутся.

Отчего-то нынче ласточка явилась одна, пощебетала день на чердаке и на жердях городьбы да и подалась искать друга жизни. Трагедия ли в пути постигла супружескую пару, отбил ли кто у ласточки мужа, не выдержал ли он ее сварливости и пустился «налево» — ведь что в народе, то и в природе!

В скворечнике появились скворчата, мать с папой от темна до темна мечутся по окрестностям в поисках корма. В прошлом году скворец являлся холостой, трещал, свистел, хорохорился все лето, этакий хахаль в темном, угольно-сверкающем фраке. Много особ набивалось дружить с ним, и он на короткое время впускал приглянувшуюся скворчиху к себе, нырял следом за нею в скворечник. Минуту-другую скворечник лихорадочно вздрагивал, болтался, и тут же кавалер надменно вышвыривал в крутую дырку домика возмущенную, стрекочущую, взъерошенную сожительницу.

Что за напасть такая? В прошлое лето — одинокий скворец. Нынче — ласточка. Через неделю после прилета ласточки появились стрижи. Весь вечер они носились кругами низко над Быковкой, сплошь черные, лишь по животу ровно бы присыпанные золой. С таким текуче выстроенным, стремительным телом, что и сравнить-то их не с кем, разве что с соколом, он один, кстати, только и способен догонять стрижей в полете. Возле Быковки стрижи не живут, здесь нет высоких гор, нет строений под небо, но по прилете и перед отлетом какой-то непонятный людям ритуал справляют высокие и загадочные птицы, без визга, без суеты рея над холмами.

В чашечке лесного пня у дроздихи появились птенцы. Судя по тому, как тревожно взмывает с поля чибис, кричит, вихляется, пищит и, отозвав человека в сторону, удовлетворенно роняет: «По-куррр-рим!» — появилось потомство и у него. Пенья и щебета в окрестных лесах убавилось — наступило время рожать земле и всему живому на ней. Только соловьи все щелкали да заливались, когда и птенцов они высиживать успевают?!

В эту пору явилась на пасеку медведица с медвежонком, и собака Парушки, сторожившая пасеку ночами, всту-

пила в сраженье. Рев большой был в лесу, крик и вой. Медведица, едва отбив родное дитя, отступила. Не первый раз покушаются медведи на совхозную пасеку. Когда у Паруни еще не было Тузика, выломал медведь ограду, крышку с улья снял и орудует в нем. Вышла Паруня из избушки и видит: мужик на пасеку забрался! «Что это вы себе позволяете, молодой человек?» — вежливо спросила Паруня и хотела продолжить в том же укоризненном тоне, мол, такой здоровый, трудоспособный, а воруете!..

Медведь из улья морду вынул и оторопел. Паруня тоже обмирать было начала, да вспомнила, что на посту она и бояться ей не пристало — хлобысь из переломки по медведю пятым номером дрови. Взревел косолапый, рванул напролом, прясло ограды на себе нес с версту, орал лихомятом, катался, пащипало дробью-то! С тех пор на пасеку никто не совался, однако вокруг похаживали, поплясывали, прищохивались косолапые, и вот САМА явилась за медком! Но Паруне ничего не страшно, Тузик за нею по пятам ходит, она с ним разговаривает, поругивает иной раз, он в глаза ей глядит, хвостом повиливает. После схватки с медведицей Паруня вовсе журить Тузика перестала, сахарком его балует. Молодец! Герой! Заслужил лакомство!

Однажды Паруня пошла в соседнее село и купила там поросенка. Купила и, благословясь, отправилась домой. Поросенок Паруне попался егостистый, визгливый, все возился в мешке, долбил ногами в спину хозяйке и орал на весь лес. Паруня вела беседу с поросенком, призывала его к порядку, пробовала даже запеть: «Базар большой, купил поросенка, всю дорогу целовал, думал, что девчонка». Но поросенку не поглянулась песня: «Уй-уй-зю-у-у!» — возмущенно взвизгивал он. «Ну, не буду, не буду», — успокоила его Паруня. Поскольку пять верст — путь длинный и с поклажей нелегкий, Паруня имя поросенку от нечего делать придумала — Путик.

Долго ли, коротко ли шла Паруня, а уже за вечерело. Стала Паруня переходить через речку Быковку по двум жердям, перекинутым с берега на берег, и, взбодряя себя, завела беседу: «Вот через речку переберемся, Путик, и дома будем. Я тебе молочка дам, а себе похлебку разогрею. Поедим и спать уложимся: я на кровать, ты в подпечье...»

«И-и-и-зю-у-у!» — ответил поросенок и брыкнулся

в мешке. «Эво, эво! — шатнулась на жердях Паруния. — Я эть эдак упаду! Говорю тебе, Путик, дом скоро. Вон уж крышу видно, и ты смирно сиди, не роняй меня...» Закончить назидание не довелось — Путик так брыкнулся в мешке, что зашаталась Паруния и рухнула в холодные воды Быковки. Мешок она при этом выпустила и поначалу хватала руками вокруг, да уж больно холодна вода-то. И, сказав: «А, подь ты к чёмару!» — побрела на берег.

Выбравшись на сухое, Паруния прислушалась — нигде никакого голоса. «Путик! Где-ка ты? — несмело позвала она. — Путик! А, Путик! — повторила тревожной. — Пу-у-ти-ик!» — заорала Паруния и ринулась обратно в речку. На коряге она нашла мокрый мешок и хотела уж завывать в голос по утопшему, как почудилось ей, что в прибрежном ольховнике, смородиннике ли кто-то хрюкнул. Паруния замерла. Хрюк повторился, и тогда, крадучись, полезла она в кусты, но Путик не подпускал хозяйку, отступал в глушь. Паруния ринулась за ним напролом, чтобы упасть на поросенка, придавить его собою да и заграбастать. И ринулась, и упала, но только ушиблась об пенек.

Меж тем вовсе смерклось, хрюк поросенка отдалился в чащобу, и Паруния не выдержала, плюнула: «Вот на тебя, на окаянного!» — и подалась к бабушке Даше сушиться.

Залезла на печь Паруния, слезами уливается. «Чего ревешь-то?» — спросила бабушка Даша. «Путика жалко». — «А пошто оставила?» — «Сбежал он, сбежал-ал, как дезертир какой. Где вот он сейчас, горюшко? Ночь на дворе, темь...»

Чуть свет поднялись старые женщины и отправились на поиски Путика к переходу через речку. А там содом на всю округу. Собака пасечника с цепи сорвалась, на кого-то лает и рычит. Ринулись женщины к речке и зрят: на берегу мечется взъерошенный, до слюны уже озверевший кобелина; в речку загнанный, весь в грязи извоженный, с прокушенным ушком стоит на мели Путик, дрожит от страха и холода да голода и уж хрюкать не может. «Пу-утик! Родимо-ой! — заблажила Паруша и в чем была опрокинулась с крутого берега в воду, схватила поросенка и давай его целовать в пяточок: — Экой ты лешой!»

Травма ли психическая подействовала, порода ли такая выдалась, но Путик вырос у Паруни, по определению быковских баб, совершенно чокнутым. Стоило подсвинку вырваться на свет Божий, как ронял Парунию наземь и, лихо взвизгнув, брыкая ядреным задом с хулиганисто за-

винченным хвостиком, мчался напраповаю, все на пути сокрушая. Если попадались огороды — он смахивал или проламывал частокол, носился по грядам, ворвавшись во двор, хватал на ходу что попало и жевал: овощь так овощь, обутки так обутки, с грохотом ронял возле колодца ведра, сшибал мотоциклы у ворот и ударялся вдале.

«О-о-ой, царица небесная! Все разгромил! — хватались за головы быковские женщины. — Платить будешь, Парушка, за огород!» И всем населением бросались за Путиком в погоню. Да куда там! Разве такого рысака догонишь! Саня-пасечник додумался пастигать бродягу на мотоцикле. Большой спец Саня ездить без путей и дорог, по горам и колдобиям. Насядет Саня на Путика мотоциклом, загопяет его до усталы, после уж как пленного ведет к дому да еще и пинков под зад Путику отвешивает. Орет на всю округу Путик, но следует куда надо, а хозяйка Паруня ему еще и добавит вицей по заду-то, по толстому да по розовому: «Вот тебе! А вот тебе! Не бродяжь!..»

Скоро Путик, однако, освоился с техникой, дошел башкой своей удалой: по лесу мотоцикл ходить не может! — и принялся сбегать в леса. Сутками пропадал в суземье. Паруня ищет его, зовет, в панику иной раз впадет, скотина же непутняя, как вовсе проголодается, заявится к дому, развалится в водомоине, зароется в прохладной грязной луже и делает вид, будто пикуда не убегал. «Эко! Эко! — ругается Паруня. — Эко, лешой, развалился! Как директор какой!» — «Хурк-хурк», — в ответ. «Все ты огороды разорил. Людям нету от тебя житья... Я вон заколоть тебя велю, тогда узнаешь!» — «Хурк-хурк». — «А подь ты к лешому!» — хлопает Паруня по ядреному заду Путика и отправляется налаживать ему еду.

Скоро картофель взойдет, огородина всякая. Наступит пора гряды полоть, овощь окучивать. Паруню уж тогда в покое не оставят, нет-нет да кто-то из телятниц прибежит: «Подмени меня, ребенок заболел...», «Подежурь за меня — в город надо...», «Помоги картошку окучить, дровь напилить, за сеном съездить, телку отходить...»

А пока идет Паруня из-за речки от бабушки Даши по старым лугам, сплошь затянутым свербигой, сурепкой, дикой редькой да пыреем, идет деревушкой, в которой улиц уже нет, дома вразброс, по отдельности, гнезда дворов заросли травой, саморостной черемухой. Хрустят под ногами Паруны лопухи, чемерица, дудки, обувь вся в желтой пыли от цветков и в белой черемуховой чешуе. Спо-

койная, в себе притихшая женщина, будто гребется веслами в тумане, широко размахивая руками. Приостановилась, подняла лицо к небу. Что она там увидела? Что-то хорошее. Улыбнулась и погреблась дальше в гору догораживать кому-то огород, может, дрова пилить, может, козу и кур своих кормить либо баню топить, любит она попариться, кости простуженные согреть. За Паруней сонно тянется Тузик.

Идет трудовая женщина — Прасковья Александровна Воронова, русская крестьянка, и ждут ее дела, миру невидные, земные.

Продолжение к «Паруне», дописанное самой жизнью

Умерла Паруня глухой порой восьмидесятого года. И сколько лежала на холодной печи — никто не знает. Городской мужик, обретающийся в моей избушке, приехал навестить деревенских, попроведать избу — не увидел следа к Паруниной избушке.

Мыши отъели у Паруни нос и уши, попортили лицо, продырявили глазницы. Кое-как снарядили вечную труженицу и увезли на кладбище, в соседнюю деревню, где под пихтами и осинами давно уже покоились и отдыхали все ее быковские подружки.

Вместе им лучше. Вместе им не тесно и спокойно.

Жена моя, бывшая фронтовичка, Марья Семеновна, узнав о смерти Паруни, давясь слезами, сказала:

— Бедная, бедная Паруша! Может, болела, пить просила, а некому и воды подать было...

Наверное, это был единственный человек на свете, который уронил слезу по Паруне, пусть и кратко, на ходу оплакал ее.

Мир праху твоему, русская женщина! Вечная и светлая память тебе! Душа моя сочтется слезами, когда я думаю о тебе, вспоминаю тебя. Мир праху твоему! Прости нас, живых, вечным прощением — мы не от зла и не от дурости такие равнодушные и жестокие, мы от жизни такие. И еще неизвестно, какая кончина постигнет нас и какая память за нами будет. Может, никакой не будет — и это возможно в наши дни.

ЗРЯЧИЙ ПОСОХ



Повесть



...Непамятливых памятью не мучай,
А помнящим хоть час забвенья дай.

Алексей Прасолов

Мокро, снежно было, когда я провожал в последний путь своего старшего друга, и все повторялась и повторялась в моей голове поговорка кафров, которые, прощаясь, говорят: «Отныне у каждого из нас будет одним другом меньше».

Я давно заметил, когда хоронят славного, доброго человека — испортится погода: метет, крутит — не то скорбит природа, не то она хочет, чтобы похороны были трудными, надолго запомнились бы и помаяли душу остающихся жить.

Мокро, снежно и сейчас, когда я в деревеньке Быковке начинаю писать о покойном друге, не решаясь поставить слово «воспоминания». Никогда и никаких воспоминаний я не писал, точнее, таких вот скорбных воспоминаний, когда надо ставить: «был», «жил», «говорил», потому как ни память, ни сердце не мирятся с утратой и кажется, что может произойти чудо — на заснеженной дороге появится моя маленькая жена с огромным рюкзаком на спине, принесет хлеба, почту, и, быстро перебрав письма, я найду конверт, на котором ученической ручкой будет написан полностью — обязательно полностью — обратный московский адрес, и в уголке конверта как-то застенчиво и скромно будет стоять знакомая фамилия. И я прочту письмо, обязательно большое, обязательно с юмором, обязательно теплое и умное, написанное бегучим и в то же время аккуратным, будто бы ученическим почерком...

Но дует ветер, хлещет мокрый снег — пришел циклон

откуда-то с востока. Вчера и позавчера он дул с севера — никакие циклоны не минуют Урал, они, как беды, все вокруг него кружат, все по нему дуют и шарят, и весна никак не может наступить, а уже начало апреля.

Сижу я в деревушке Быковке, на Урале, посредине России, в избушке, занесенной до застрехи, смотрю на дома с дымом. Безлюдье-то какое! Об этой деревушке, побывавши здесь, один знакомый поэт написал пронзительные строки:

Деревня Быковка, Россия,
Двадцатого века печаль...

Сижу я в этой деревне, где бывал накоротке мой друг, и так ему тут все поглянулось, что мечтал он приехать сюда еще раз и на больший срок, подышать тишиной, побродить по окрестным лесам, насладиться безлюдьем и поработать в уединении.

Не довелось ему еще раз побывать в моей сирой, забытой Богом и людьми деревушке. Не досмотрел, не доработал, не дожил, не отдохнул, отправился туда, где «нет ни снов, ни стонов, ни болезней, ни скорби, а жизнь бесконечна».

Как все-таки несправедливо устроена эта самая наша «небесконечная» жизнь. Сколько бесполезных, никому не нужных людей живет на свете, недоумков, хамов, убийц, воров, дармоедов, рвачей, а хорошего человека вот наша смерть, измучила болезнью, иссушила в нем соки, истерзала страданием и убила. Неужто это по-божески? — святой должен страдать за грешных, и грешные, видя муки святого, должны терзаться и обретать его облик? Но что-то много страдают мученики и мало действуют их страдания на человеческий мусор. Он чем был, тем и остался...

С чего же и как все-таки начать?

Пожалуй, обычно — со знакомства. И не стану я бояться обыкновенных, простых слов. Ведь он был (был! — как все-таки нелепо это!) — обыкновенным и необыкновенно простым человеком. С этого и знакомство наше началось. Этим он и покорила меня, это и сдружило нас.

Я учился на Высших литературных курсах в Москве и однажды, выйдя на перерыв покурить, увидел среди оживленно и даже возбужденно беседующих курсантов с поэтического семинара очень смуглого, мягкогубого человека с пронзительными и живыми глазами. Он торопливо курил папироску и говорил одному из курсантов:

— Ну зачем это тебе? Зачем? Ты же не прокламацию пишешь, а стихи!

Поэт хмуро и упрямо что-то возражал. Смуглый человек дотянул папироску, поискал глазами урну, швырнул в нее окурок и, как-то разом опечалившись, сказал как бы уже сам себе, а не поэту, курившему табак с ним вместе:

— И вообще, крики в литературе, битие себя в грудь и заверения в том, что ты вот любишь родину, но другие вроде бы уж и не любят ее и не умеют любить, свойственны больше нашим литвождям. Отвратительная черта! Ее не было ни в какой литературе, в прежней, в русской тем более. И вам не надо бы вовсе лезть в московскую кашу, время только и нервы потратите. Вам надобно учиться, во многом разобраться... Ну, пойдемте в аудиторию, там продолжим. Звонок был. — Он как-то тепло и чуть виновато улыбнулся, дескать, вообще-то все это слова, слова...

— Кто это? — спросил я у одного из наших сокурсников.

— Макаров. Семинар поэтический ведет. Мировой мужик. Я с ним на одном совещании познакомился.

Не знаю, свела ли бы нас судьба с Александром Николаевичем Макаровым, не услышь я этого коридорного разговора. Я уже заканчивал курсы, успел осмотреться в Москве и обколотить с себя немножко периферийную штукатурку. Среди всего прочего успел я заметить и эту самую «отвратительную черту» в характере иных, как правило, бездарных московских писателей. Поглядишь, послушаешь иного деятеля — парнишка как парнишка, стишата пишет так себе, книжки его шумны, броски, но нет в них еще никакого основания провозглашать себя витией. Ан нет, все повадки, вся осанка, весь напор в нем вождистские. А еще, узнавши, что перед ним провинциал, он и вовсе начинает не говорить — вещать, провозглашая: «Вы там сидите, а мы тут боремся...»

Я мог бы назвать десятки «провинциалов», на которых «борцы» сии подействовали и действуют самым наихудшим образом. Наслушается такой вот периферийщик «борцов» и тоже начинает рубаху на себе драть и пуп царапать, выдавая схваченные в столице верхушки за откровение и единственную истину, утрачивая при этом свой дар, попускаясь убеждениями своими, думая, что они пустяковые и сам он дерьмо, а вот там, в столице...

Очень и очень умеют и любят столичные крикуны

внушить, что ты сир, отстал и вообще с суконным рылом забрался в калашный ряд.

Повторяю, я уже заканчивал курсы, за два года наслушался всякой всячины и заметил: уж если «борец» орет слова «Россия!», «Родина!» и т. д. и т. п., значит, поблизости есть кто-то из тех, кому это услышать надлежит, кто может за эти патриотические крики заплатить рублишко, напечатать подборку стихов, увеличить тираж книги и даже ввести в какую ни на есть редколлегию.

Нет выпячивающих себя и свое слово бескорыстных витий в нашей литературе. Бескорыстные, как правило, талантливы, им кричать не надо, за них говорят стихи, книги, перо — словом, их уединенный, тяжкий труд, в тяжком же труде не до суеты.

«Была в нем (Макарове) еще одна несовременность, — писал в статье к семидесятилетию Александра Николаевича Макарова критик Аннинский, о котором еще будет разговор впереди, в письмах критика ко мне, — он был вне групп. Как критик, он не размежевывал, не расчленил, не делил и не считался силами — он силы собирал... Он воистину был настроен на ритм всей нашей литературы: от поэзии до очерка и от Москвы, как говорится, до самых до окраин».

Это очень важное и своевременное высказывание я не случайно цитирую в самом начале книги о критике А. Макарове. Высказывание это избавляет меня от многословных объяснений и растолковываний, хотя сами читатели убедятся в том, о чем говорил сейчас критик Аннинский, по письмам Александра Николаевича и уяснят, что делению он все же подвергал нашу литературу, но делению открытому, естественному, без уловок и заячьих скидок. Он делил литературу на плохую и хорошую, писателей — на талантливых и бездарных, коих подвизалось и подвизается в нашей литературе и по сию пору предостаточно.

Несколько раз я еще видел на курсах Александра Николаевича и всегда старался быть ближе к поэтам, с которыми он разговаривал. Держался он с ними по-товарищески просто и сам был предельно прост, а я уже знал, что был он и редактором журнала, и зам. редактора «Лит. газеты», что член он многих органов, что и критик он не последнего десятка.

Мне хотелось познакомиться с ним, поговорить, но...

Но в детдоме, где я жил в детстве, работал одно время

заведующим Василий Иванович Соколов — старый, образованный человек, и среди немногого, что вколотил он в меня, закрепились во мне две морали: навязчивость — одна из самых отвратительных черт в характере человека, обязательность — одна из самых хороших.

Словом, не решался я подойти к Александру Николаевичу и поговорить с ним, но забыть его почему-то не мог и, порядочное время спустя после курсов, взял и отправил ему только что вышедшую в «Молодой гвардии» книгу повестей и рассказов «Звездопад» — первую свою «толстую» столичную книжку.

Не знал я тогда, как загружен критик и как много посылают ему книг с надеждою, что он прочтет и напишет отклик. Я не думал ни о каком отклике и подпись на книге сделал ни к чему не обязывающую, и это-то как раз и послужило, как со смехом рассказывал потом Александр Николаевич, тому, что захотелось ему прочесть книгу, неизвестно откуда и кем посланную.

А когда он прочитывал книгу и она ему нравилась, Александр Николаевич обязательно находил время сказать добрые слова автору. На плохие книги он редко откликался, махал на них рукою, — много их, плохих-то, говорил, все «не охватишь!»

Вот что писал он мне в своем первом письме.

Уважаемый Виктор Петрович!

Большое спасибо Вам за книжку и, право же, незаслуженную подпись. Вы простите, что отвечаю Вам чуть не через полгода. Но писать просто благодарственное письмо не хотелось, пока не прочел книжки. А тут подошло лето, уехал в деревню и в сборах да впопыхах книжку оставил на столе. Книгу-то я нашел и в нашей районной библиотеке, да адрес-то оставил дома.

Так велик поток книг, что прочесть все не успеваешь и за этим «всем» часто пропускаешь и самое необходимое. Прочесть Вас еще в апреле, до получения книжки, мне советовал И. Л. Гринберг и очень Вас нахваливал, но как-то несколько общо. А Вы ведь поразительно «свойский», круто посоленный. Читал я Вас с наслаждением, вдыхая запахи пряные и смолистые, любясь людскими узловатыми характерами, экзотической силой жизни, так и бьющей русскими, обжигающими родниками. Многое мне напомнило мое детство и своих мужиков; знакомый

быт, хотя у нас, не в Сибири, все это не столь густо, опрессено, более акварельно, что ли.

Аннотация к Вашей книге ужасна. А вот, кстати, и пример под руки подвернулся — аннотация Даниеля Дефо, сделанная самим автором к роману «Молль Флендерс», и редактора книги, изданной в самом крупном нашем издательстве «Художественная литература»: «Радости и горести знаменитой Молль Флендерс, которая родилась в Ньюгетской тюрьме и в течение шести десятков лет своей разнообразной жизни (не считая детского возраста) была двенадцать раз содержанкой, пять раз замужем (из них один раз за своим братом), двенадцать лет воровкой, восемь лет ссыльной в Виргинии, но под конец разбогатела, стала жить честно и умерла в раскаянии. Написано по ее собственным заметкам»; и: «Роман английского писателя Даниеля Дефо (1660—1731) «Молль Флендерс» повествует о бедной девушке, которую социальные условия толкнули на путь проституции и воровства». Я вспомнил сердитые слова Сергея Антонова, который однажды, обозлившись, сказал, что удивляется способности критиков вышелушивать из произведений идею. Вот и тут, вышелушили, вернее, даже вшелушили, и эка чему обрадовались: «Село не нынче-завтра будет снесено». А вот как снести в душах то, что так безжалостно обнажается в Ваших Амосах, Исусиках, как их возвысить до Култышей и Летяг? Хотя, признаюсь, Култыш — герой не моего романа. Летяга — вот это да! Может быть, потому, что Култышей мне встречать в жизни как-то не приходилось. Он уже слишком судьбою индивидуален и немного благостен. Я же всю жизнь питал расположение и даже любовь к натурам озороватым, умеющим настоять на своем. И почему-то Вы мне кажетесь таким, особенно по «Звездопаду», где Вы меня так настроили на благополучный или хотя бы театральный (вдруг его убили) конец, что от Вашей правды мне выругаться захотелось. Ну что Вам, право, стоило поженить их или разлучить так с музыкой. А Вы вдруг взяли и написали как в жизни. И потому и хочется ругаться, и грустно, и, наверное, уже никогда не забудешь этого Вашего юношу. Все мы, наверное, носим в душе нечто несовершенное, что и есть самое-то дорогое.

Хороший в Вас растет писатель, характеры у Ваших героев свиловатые, столкновения и ошибки между ними по-мужицки крепкие, и ни в чем: ни в репликах, ни в передаче состояния — ни разу не ощутил я неловкости,

фальши, неверной ноты. Уж па что «Солдат и мать» сложно, а веришь в мать безоговорочно. Слаба, впрочем, не то это слово, анемичнее других у Вас Лида в «Звездопаде». Здесь даже в одной реплике, мне думается, Вы сфальшивили. На стр. 237 внизу, и реплика меня покорибила, и слова, и интонация какие-то старушечьи. Случай такой, что она могла не пайти слов и верной интонации, но все же это не те слова, не были бы этими. Впрочем, это пустяк, пожалуй, единственное, что мне показалось огрехом в Вами вспаханном поле.

Очень мне почему-то захотелось в Ваш Чусовой. Я вот бывал когда-то в Ваших краях, где-то поблизости, тогда еще на Березникхимстрое. Впрочем, настроил не много.

Желаю Вам счастья и новых книг. Черкните, если не поленитесь, что, когда и где у Вас будет? А то ведь за всем не уследишь. Мне хочется Вас почитать. Думал я, что в октябре мы увидимся на молодом совещании, а его перенесли на декабрь. А уж начали переносить, то до будущего года дотянут.

Ваш А. Макаров.

На этом работа над воспоминаниями застопорилась. Я пробовал еще писать, набрасывал куски, примерялся, прицеливался, маялся, испытывал давление со стороны супруги покойного и разных печатных органов и никак не мог подступить к материалу, «организовать» его в себе, что-то отбросить, что-то домыслить.

...Прошло более десяти лет. Я пробую снова продолжить начатую работу. Получится ли?

Жизнь состоит из встреч и разлук.

И встречи, и разлуки бывают разные, как разны и люди, с которыми встречаешься и разлучаешься.

Судьба подарила мне счастье короткое время быть знакомым и дружбою связанным с Александром Николаевичем Макаровым. Он был старше меня во всех отношениях, но он был мудр, деликатен, чист мыслями, и я в наших с ним отношениях никогда не чувствовал разницы в возрасте и подавляющего его превосходства в интеллектуальном развитии.

Мы дружили на равных, но это не мешало мне в то же время почтительно относиться к его трудным сединам, к его феноменальным познаниям. В наших отношениях младшего и старшего литератора и человека не было фамильярности, но было много теплоты и доверительности друг к другу.

Больше всего меня привлекало в Александре Николаевиче одно бесценное по пышешшим временам качество — полное отсутствие вождизма, распространённой скверной болезни в нашей современной литературе, и терпимое, выковаанное годами пелегкой его жизни отношение к людям.

За все годы нашей дружбы он ни об одном — ни об одном! — пугном человеке не сказал дурно, не унизил себя поношением и бранью в адрес того или иного литератора. Если человек был ему несимпатичен, как, например, критик Ермилов, о котором речь впереди, он так и говорил, что человек этот ему несимпатичен, но никогда не навязывал мне своих симпатий и антипатий. Он доверял мне самому разобраться в людях, и рукописи, книги мои читая, тоже не был никогда категоричным в суждениях, лишь тошко, мягко подводил меня к той или иной мысли и далее пускал как бы в «самостоятельное плавание», полагая, что и сам я уже не мальчик, и веруя, что, разбираясь сам в себе и в сложных вопросах жизни, литератор большему научится и от многого избавится, многое приобретет.

Да, встреча и дружба с Александром Николаевичем Макаровым осложнила мою писательскую работу. Я стал относиться к пей строже, ответственной и на себя смотреть критичней. И по сей час каждую строку свою рассматриваю пронизательными глазами Александра Николаевича: выдержит ли она этот взгляд? Улыбчивый, чуть ироничный, как будто совершенно открытый, но с глубокой мыслью и отеческой заботой в глубине.

Я осиротел... Вторично осиротел в своей жизни: много лет назад потерял мать, теперь вот отца, отца-друга, отца-наставника, не резонера, не грузно нависшую надо мной «фигуру» старшего, — друга, до которого иногда просто хотелось дотронуться рукой и почувствовать, что он тут, он есть, и к нему можно прийти с радостью и бедой, и ничего не говорить о них, но выздороветь душою...

Я никак не привыкну к потере. Друг истинный и дружба истинная не умирают. И только сожалею я о том, что узнал Александра Николаевича поздногато и мало виделся с ним оттого, что казалось, еще много встреч будет, много разговоров, много радостных дней доброго общения.

Когда встречаешь и любишь такого человека, как Александр Николаевич, мыслей о смерти не бывает, она, если

и пришла бы, то показалась бы чудовищно несправедливой, неестественной.

Смерть всегда застает сердечную дружбу и любовь врасплох, и оттого потрясает она на долгие годы. И оттого невозможно привыкнуть к ней и смириться с нею.

Я ответил на первое письмо Александра Николаевича и поделился замыслом повести «Кража», высказал свои опасения по поводу ожидающихся в работе трудностей.

Уважаемый Виктор Петрович!

(За отчество не ручаюсь — книжка Ваша в Москве, а пишу из Тарусы, простите, если запаматовал.) Дело, которое Вы задумали, — дело большое и трудное, но и достойное литературы. Пожалуй, именно на детях можно показать весь ужас былого, ужас неосознанный, казни и муки душевные, не только выдаваемые, а принимаемые за благодеяние. И у Вас наверняка получится. Вы добры к людям, как бывает добр человек, сам узнавший, почем фунт лиха. Когда и как Вы это узнали — не знаю, но в книжках Ваших это чувствуется. А посему желаю, чтобы Вам хорошо работалось. Да и поздравляю, кстати, с прошедшим праздником.

Письмо Ваше тоже дождалось меня, но, правда, не так долго, я был в Молдавии, поездил по воинским частям, по местам, для меня памятным, там я служил на границе рядовым в 1940 году и, как пишется в анкетах, участвовал в освободительном походе в Бессарабию. И доселе сохранились у меня там знакомства с несколькими бессарабскими когда-то подпольщиками-комсомольцами, которым имелю потому, что они были подпольщиками, пришлось довольно туго и с превеликим напряжением зарабатывать право на партийность, но все же они выдюжили и сейчас стали: один — литератором, два — профессорами, а один-таки главным архитектором республики. Чудесные, право, были ребята бендерские комсомольцы.

И так странно все, и сколько же этих памятных мест у человека! Вот Вы пишете о Березниках. А ведь я там был весной 1931 года и летом, и помню только лес, башни еще не достроенные, пыльное Усолье с присадистыми домами на другом берегу да какое-то пустое помещение с деревянными верстаками и прилаженными тисками, где я и такие же, как я, выпускники ЦИТа, слесаря второго разряда, вышивали явно никому не нужные «маяки», ибо ничего другого и делать не умели, да и прислали нас слыш-

ком рапо, цеха еще не построены. Месяца через два я позорно сбежал, так и не пошебровав свое единственное изделие. А теперь страсть как хочется побывать и в этих памятных местах.

На совещании молодых Вы, несомненно, будете и, представьте себе, отнюдь не самым пожилым. Приглядываясь к составу совещания, я пришел к выводу, что наше литначальство страшно не хочет стареть, а потому всех, кому не стукнуло полвека, склонно считать литмладенцами. Ну да Бог с пими, начальство — начальством, а литература литературой. Главное же, что в Москву можно лишний раз заглянуть.

Ваш А. Макаров.

Засвидетельствуйте, пожалуйста, мое почтение Вашей жене и мою благодарность за ее хлопоты.

Я и в дальнейшей работе не буду исправлять и сокращать писем Александра Николаевича, пусть они говорят сами за себя и в «полный голос». Разумеется, я не со всеми письмами согласен, разумеется, мое мнение иногда расходится с мнением критики, в частности, с его безоговорочной критической оценкой фильма Сергея Бондарчука «Война и мир». Разумеется, мне бы хотелось кое-что и подсократить, и подправить, в особенности комплименты в мой адрес, но я этого не сделаю, во-первых: это письма и мысли покойного человека, и я обязан к ним относиться если не почтительно, то хотя бы бережно; во-вторых, надеюсь на доверие читателя и на то, что дальнейшие мои рассуждения как-то объяснят и сгладят те или иные неловкости частного и общего порядка.

В том же 1962 году от Александра Николаевича были еще две весточки, две открытки.

Дорогой Виктор Петрович!

Большое спасибо за книжку¹, за письмо. Прочел наугад, где развернулось, два рассказа: «Старая лошадь» и «Прахом своим» — и понял, что читать подряд не надо, не такого типа книжка, чтобы ее подряд читать. Стало как-то грустно и раздумчиво, и не хочется спутивать настроение. Как прочту, напишу об общем впечатлении.

¹ «След человека» — сборник рассказов. Свердловское книжное издательство, 1962.

Желаю Вам успешной работы и пахоты глубокой. Мастера-то, они, конечно, из седла выбивать мастера, ну да ведь когда выбит, берись за плуг, да покрепче, ан и опять в седле.

Ваш А. Макаров.

Дорогой Виктор Пегрович!

Спасибо за повогодние пожелания! От души желаю Вам счастья и вдохновений (пусть нелегких), а все остальное приложится. Да, еще здоровья. Когда закончите повесть, может быть, стоит подумать о «Знамени». Редакция противная, выматывающая у автора кишки, но ведь журнал-то приличный.

Старый год был годом нашего заочного знакомства, дай Бог в новом встретиться.

Ваш А. Макаров.

Наступил год 1963-й. Я переехал с семьей из города Чусового, где прожил восемнадцать послевоенных лет, в город Пермь, в областную столицу, ближе к писательской организации, к издательству, к культуре, к библиотекам, к театру, и сразу же начал искать себе дом в деревушке. Ребята у меня подросли, в доме было многолюдно, квартира была на шумной улице, за тонкой стеной моего кабинета с утра до ночи играл молодой пианист, решивший поступить в аспирантуру Ленинградской консерватории. Играл он до того, что у него распухали пальцы. И я поначалу его с удовольствием слушал и говорил местным леноватым писателям: «Вот у кого надо учиться работать!» Но потом или пианист заигрался, или я устал от него, но уже не мог ни работать, ни спать, иногда мне хотелось пойти и прикончить этого подслеповатого застенчивого парня, который, измучив себя, соседей, мать с отцом, так и не поступил в консерваторию, однако в леса меня выжил — и на том ему спасибо!

На берегу Камского водохранилища, верстах в восьмидесяти от Перми, паходился тогда тихий и захолустный поселок под названием Винный Завод (в старину, при Екатерине, здесь будто бы курили вино), и жил на этом Винном Заводе человек исключительно интересный, образованный, дружески ко мне расположенный — Борис Никаандрович Назаровский, превративший деревенскую бацьку в тесную, но уютную «дачу», на которой бывали

когда-то его друзья: Аркадий Гайдар, Василий Каменский и всякий другой известный народ. Он-то, Борис Никандрович, бывший в ту пору главным редактором Пермского книжного издательства, и посоветовал посмотреть избушку на Винном.

Избушки в ту пору свободные там были. Я посмотрел их — хорошие, старые, уютные избушки, стоявшие по красивому заливу, на красивом месте: впереди мелководный чистый пляж, сзади — сосновый бор, по широкому водохранилищу летят веселые моторки, еще редкие в ту пору, но уже начиналась туристско-дачная разгульная стихия, и как я представил, что будет на этом симпатичном месте лет через пять — десять, то и спросил у Бориса Никандровича: нет ли деревушки поглуше, пусть и подалее от пристаней, магазина и большой воды. Борис Никандрович ответил утвердительно и через сосновый бор, по усталой рыжей хвоей, мало хоженной тропе, увенчанной по бокам красными ягодами земляники, брусники и черно мерцающего черничника, отвел меня в деревню Быковку, где я и прожил и плодотворно проработал последующие годы, и даже, переехав в Вологду, еще навывался в тот благостный для работы уголок.

Быковка спаслась от цивилизации и дачных варваров своей удаленностью, хотя всего она в полутора километрах от «большой воды». Где раньше текла красивая река Сылава, соединяясь с рекой Чусовой, теперь кулгыхалась, подмывала берега легом зацветающая, непроточная вода «рукотворного моря», как его нежно поименовали местные газеты. Да ведь и полторы версты никому неохота ходить и носить на хребте мешки с продуктами.

Быковка располагалась на холмах, среди полей и местами недорубленных лесов, по-над речкой Быковкой, холодной, прозрачной, в которой водилось тогда еще много хариуса, по перелескам и вырубкам — тьма-тьмущая дичи, в особенности тетеревов, гордо высились сосны, подпирая небо вершинами, лиственницы, ели, пихтачи, по опушкам и за стеной этих лесов бескрайно восходили осинники на старых вырубках.

Хорошо здесь жилось и работалось. Пока были молоды, сильны и здоровы, даже не очень смущало, что надо на себе таскать все необходимое для жизни, что нет в деревне электричества, что леса окрест заражены энцефалитным клещом. Жили поначалу даже несколько беспечно и потому враз заболели энцефалитом моя жена

Мария Семеновна и ее племянник, который вырос в нашей семье. Нарвали букет купавы перед тем, как ехать в город. На пароходе племянник жены заметил клеща на цветке и сказал: «Ой, клещ! Подержите, тетя Маня, я достану спички и сожгу его». Перед этим делали ремонт в избе, руки у того и у другого были в царапинах — этого оказалось достаточно...

Жену едва спасли, и племянник был в тяжелейшем состоянии. Я так тогда пережил все это, так волновался, что меня хватил какой-то приступ, я лежал в больнице и после ездил в Ессентуки, куда пришел мне журнал «Наш современник» с изуродованным рассказом «Два солдата» (ныне он называется «Сашка Лебедев»). И я пожаловался Александру Николаевичу на этот, увы, не единственный в моей творческой жизни редакционный произвол.

Дорогой Виктор Петрович!

Ужасно обидно, что Ваше письмо я прочел только что — устроил себе гулянку, порвал с Москвой и месяца полтора не был там и слышать о ней не хотел. Помочь я Вам, конечно, не мог, а теперь уж как-то и сетовать поздно. А Вы думаете, у меня хоть одна статья появилась в том виде, в каком я ее писал? Да наши редакторы любым цензорам двадцать очков вперед дадут. Я тоже иногда вспоминаю старую эпиграмму, но не ту, а другую, поскольку пишу статьи:

Здесь над статьями совершают
Вдвойне кощунственный обряд,
Как православных, их крестят
И, как евреев, обрезают.

Писателю всегда жилось трудно, таков уж его удел. Помню, в № 1 «Молодой гвардии» опубликовали мы письма Горького. И в одном из них как раз была такая фраза. Так не Горькому, а мне так влетело от одного товарища, не буду называть его фамилию, скажу только, что был он одним из «хозяев» журнала, тогда двойного подчинения, что мне сразу же после выпуска первого номера редактором быть расхотелось. И хотя второй «хозяин», к которому я, огорченный, помчался, меня нравственно поддержал сказав, «А как же! Конечно трудно», но поддержал, так сказать, втихомолку, в личной беседе. Вот так-то. А из сборника «Серьезная жизнь» мне пришлось снять главу о «Живых и мертвых», — кое-какая критика романиста

показалась не по времени. Получилось довольно смешно. Книга вышла через два года после романа, в ней есть статья «Симонов как военный романист», а о последнем романе в статье ни слова. Кстати, то обидно, что критика-то была, видимо, в верном направлении, в «Солдатами не рождаются» К. М. не только менее анахронистичен в изображении психологии, но и более тонок, на мой взгляд, и сумел показать крупные фигуры, мне кажется, удачно. Впрочем, к чему-то я вдался в воспоминания? Ах, вот к чему. — Я даже не с цензором столкнулся, а только с редакторами. Не особенно я верю в рассказ Зубавина¹ о злоключениях Вашего рассказа — мужик он добрый и выпить любит, но как раз незадолго до этого его здорово взгрели и внимание к журналу было особо пристальное. Вот Вы и рассудите. Что же касается матери нашей — цензуры, так о ней, по слухам, был разговор Твардовского аж на самом верху. Поживем — увидим. Пока же это привело лишь к тому, что журнал начал запаздывать — цензора этого редактора побаиваются, но и позиций своих не сдают. А в общем Ваше решение послать повесть именно в этот журнал, пожалуй, правильно, если она такова, как Вы мне писали. Хотя очень хотелось бы видеть Вас в «Знамени». Может быть, все же подумаете? Не все мне в «Новом мире» правится. Бондарев последний совсем не понравился, хотя я испытываю к Ю. В. большую симпатию, но Залыгин, действительно, здорово, написано хорошо. И вот удивительно, впрочем, совсем не удивительное дело, как он в последние годы расписался, ведь очень серовато, по очерковому писал долгие годы, эта очерковость еще в «Тропах Алтая» сказывается. В том-то и проклятие самой профессии, что пишешь хорошо только тогда, когда пишешь как на духу, а там уж — в листа или не в листа — это от времени, от обстоятельств зависит и, как ни тривиальна та истина, от международной обстановки. Насколько помню, всю жизнь так, и пока два мира существуют — аминь, ну а что касается, что Беликовы всегда находятся с их «как бы чего не вышло», — так ведь это явление, так сказать, национального характера, и во мне Беликов тоже сидит.

Впрочем, я, кажется, зарепортовался, собственные недостатки начинаю оправдывать национальным харак-

¹ Тогдашний редактор журнала «Наш современник».

тером. А все же, как ни говори, до чего же умные были наши Чехов и Лесков, много они в нас такого подметили, что читаешь и со смеху помираешь, и плакать хочется.

Ну как же это все-таки Вы, будучи в Москве, дозвониться мне не могли? Никуда я в апреле не уезжал, дома сидел, ну, может, по утрам к телефону не подходил. Это в Вас тоже национальный характер сказался — ах, мол, не отвечает, значит, телефон не тот. Но ведь список членов союза в каждой редакции есть, и там телефон этот обозначен. ДЗ-00-80 доб. 531. А у Вас, может быть, 31? А теперь добавили на коммутаторе пяттерку и сами же, между прочим, на запрос 31 — такого телефона нет, хотя прекрасно знают, что это одно и то же. Тоже черточка характерная.

Ну так вот, коли доведет Господь побывать в Москве, уже попытайтесь дозвониться. Лето, впрочем, высижу в Тарусе, вплоть до октября, видимо. А что Вам стоит заехать сюда? Два часа поезда до Серпухова и час автобус прямо от вокзала до Тарусы. К Паустовскому свожу. Вчера как раз встретились на улице и грустно поговорили о том, что рыба в Оке переводится — я ему — всего две уклейки поймал, а он — и то хорошо.

Полтора месяца я ездил да бездельничал, пора, наверное, и за работу приниматься. Висит на мне уж третий год книжка о Межелайтисе, договорная, а что-то нейдет она у меня, ведь литовского-то языка я не знаю, оригиналов-то не читал. Так вот дашь сдуру обязательство, а потом мучаешься, и главное не договор, конечно, а то, что Межелайтису натрепался и он еще два года назад по всем памятным местам возил и коньяком поил. А я тогда, перед коньяком, конечно, написал о «Человеке», и показалось, что смогу и книгу написать. Уж больно он как человек интересен, и поэт, конечно, своеобразный.

Не знаю, говорил ли Вам, что зимою, вдруг ни с того ни с сего, для Гослита написал пять листов о Демьяне Бедном и опять мучаюсь — все кажется, что чего-то недотянул, а может быть, и перетянул. И о прошлом, оказывается, нелегко писать. Ну, куды крестьянину податься, а?

В Пермь я все же когда-нибудь тоже выберусь. Вот бы только с Межелайтисом покончить.

Ваш А. Макаров.

Но не скоро и не вдруг соберется Александр Николаевич в Пермь, однако я пег-пег да и впутывал его как местный литпатриот в паши текущие дела, загружал, и без того предельно загруженного, работой, совсем необязательной, как загружают и дергают меня самого сейчас по всякому пусыку, месяцами не давая сесть за стол и работать «на себя».

В местном издательстве началась тихая и некрасивая возня с книгой Ольги Александровны Волконской. Писательница Волконская, родственница знаменитой семьи по мужу, родилась в селе Гусевка, под Царицыном. В 1920 году ее семья эмигрировала в Турцию, затем во Францию, а после аж в Аргентину. В эмиграции и выросла Волконская, училась в Сорбонне, работала журналисткой в Буэнос-Айресе, выпустила песколько книжек в Южной Америке и во Франции. В 1949 году переехала в Чехословакию, где работала переводчицей, преподавателем, писала статьи, рассказы. В семье Волконских царил русский дух, все члены семьи говорили на русском языке и мечтали вернуться «домой».

Вернулась в Россию в 1960 году одна лишь Ольга Александровна Волконская, остальные члены семьи умерли за границей. Поселилась и до самой смерти жила в Перми, работала в Агентстве печати Новости, была принята в Союз писателей.

Печататься Волконская начала с 1943 года. За границей у нее вышла книга «История и эволюция русской поэзии», Буэнос-Айрес, 1944 год. Там же и в том же году вышел сборник рассказов «Теши заката», а спустя три года — популярная книга «А. Пушкин. Жизнь и творчество», роман «Эмигранты». Печатала она и очерки о прибытии советских кораблей в Южную Америку — «Сахалин» и «Азербайджан».

Словом, вполне, как говорится, творчески состоятельный, патриотически настроенный человек, но ведь перестраховка-то, да еще местная! Она ж вперед нас родилась, и вот, дабы «чего не вышло», решили местные издатели подстраховаться — и послали рукопись первой книги бывшей эмигрантки «наверх». Я возмутился и письмом попросил Александра Николаевича помочь автору, учитывая ее «прошлое», что она ж дитем была... и т. д. и т. п.

Но не зря говорится, что земля круглая! Рукопись Волконской уже была прочитана Александром Николаевичем Макаровым.

Дорогой Виктор Петрович!

К сожалению, Ваше письмо несколько опоздало — рецензию на книжку О. Волконской я отослал еще до Нового года. Ваше мнение для меня имеет значение, и, получи я письмо раньше, я бы, вероятно, немножко подмаслил рецензию. А так, боюсь, она скуповата: книжку, по-моему, издать надо, но в особый восторг она меня не привела. Ужасный идиотизм — эта манера посылать книжки «наверх». Чепуха какая-то! Как будто «наверху» не могут ошибаться, как будто один столичный рецензент с его субъективным вкусом только и способен решить судьбу книги. «Парижские рассказы» мне понравились меньше, аргентинские больше и, по правде говоря, меня несколько огорчила эта разномерность, да и манерничанье цветистостью. Но все это, право же, не имеет отношения к изданию книжки. И как Вы, вероятно, уже знаете, я высказался за издание. Если Вы имеете какую-то связь с издательством, то поднажмите со своей стороны, мол, конечно, рецензия требовательная и даже придирчивая, но ведь, мол, критик-то строг, как известно, и все-таки считает, что книгу надо издать. Может, даже предположить, что общий критический тон рецензии объясняется трусоватостью рецензента, мол, старался так написать, чтоб обеспечить пути отхода, буде вышедшая книжка вызовет не тот реакж. Поскольку в рецензии я сделал предположение о возможности выделить в отдельную книгу аргентинский цикл, я не писал о заглавии книги. Очень советовал бы автору изменить его, если книга будет выходить в этом виде: «Фиалки и волки» — в этом есть что-то претенциозное.

Что же касается того, что происхождение и былое автора тормозит издание книги, так это уж совсем Бог знает что! На месте издательства я, наоборот, возрадовался бы и даже предпослал предисловие (от издательства, или кого-то из писателей-пермяков, или самого автора), — вот, дескать, читайте: человек сама все видела, и не со стороны, а изнутри, и выросла там, и даже печаталась там, а вернулась на Родину и т. д. и т. п.

Ваш А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович!

Очень рад, что с Волконской обошлось все благополучно.

Молодого совещания явно не будет, это уже и официально известно, но будет какой-то пленум, и, м. б., Вы все

же приедете в Москву. На «отклик» Вы не напросились. Мне шлют немало книг; но, как правило, именно на при-
сланные-то и не откликаюсь. Так что Вы — редкое ис-
ключение, и виною не Вы, а Ваша книжка. Кстати, я тут
пропагандировал ее одному югославу и даже дал в инко-
миссию Ваш адрес, буде им захочется связаться с Вами. В
Москве эту книжку найти трудно.

Последнее время я совсем замучился от общ. работ.
Перевыборы в райсовет, депутатский отчет (больше, сла-
ва Богу, не буду — сослался на болезнь), сунули за каким-
то чертом в «Лит. газету» на общественных началах. Сло-
вом, работы тьма, а толку нет.

Напишите мне, как будет время, когда-нибудь, просто
так, о чем вздувается.

Ваш А. Макаров.

Я и впредь буду ставить письма в этой книге «порция-
ми», но придерживаясь точной хронологии. Как мне ка-
жется, сосредоточивая свои комментарии в одном месте,
а не за каждым следующим письмом, я даю возможность
больше слушать моего старого друга и обнаружить вместе
со мною, что он был не просто критик, не просто рани-
мый и загнанный временем человек, но еще и крупный
мыслитель (я знаю, Александр Николаевич воспринял бы
это высокое слово по отношению к себе с иронической
усмешкой), но мне и настаивать на том не надо — не-
предвзятый читатель сам убедится в этом, читая письма
покойного. Я же все, что было памятно, постараюсь напи-
сать в конце и вставить между «зарядом» писем, не ме-
шая им, дополню тем, что было, на мой взгляд, в наших
отношениях заслуживающим внимания, что так или ина-
че поучительно для всех нас и по сию пору.

Дорогой Виктор Петрович!

Письмо Ваше пришло в Тарусу, а я целый месяц про-
сидел в Москве, где меня терзали и резали «мудрые вра-
чи». То ли от купанья, то ли еще от чего у меня была
флегмона (говоря по-русски — сучье вымя) какой-то не-
объятной величины. Впрочем, провалялся месяц и сейчас
еще не понимаю, то ли совсем прошло, то ли еще нет. Все
это, конечно, пустяки. Но вот Ваша беда так беда. Но я
надеюсь, что все же кончится благополучно. Очень рас-

строило меня Ваше письмо, и самое главное то, что бессилие, в каком иногда оказываешься, мучительней любой боли. Правда же, иногда сталкиваешься с такими явлениями, что переживаешь какое-то чувство вроде того, что охватывало тебя на московской крыше во время первых бомбежек, — все видишь, а сделать ничего не можешь.

Вероятно, спасение только в одном — в работе, дык ведь вот немощи мешают.

Года три назад умер у меня флотский товарищ — журналист. При жизни он выпустил еще в 49-м году маленькую книжицу стихов в Крымиздате. А после смерти оказалось, что у него в столе лежали любопытные и оригинальные повести, и не о море, а о борьбе с басмачами в Ср. Азии, где он воевал с ними в 1931 году. Вот их хочется протолкнуть в Воениздат. Был он удивительный человечик, весь, казалось, ушедший в газетную работу (он был ответственным секретарем флотской газеты), номера не делал, а прямо-таки лепил, формовал. Дегина — рост 184, лицо и фигура — хоть статую высекай — идеальный боевой моряк, а вкус поэтический у него был настоящий, хотя, может быть, несколько романтически-утонченный. Любил Грина. И вот эта рафинированность ума и чувств в сочетании с могучей фигурой создавали какое-то особое обаяние. И как-то очень располагали к себе. Мне не случилось встретить человека, который к нему не был бы расположен. А то, что писал не показывая — то ли из скромности, а может быть, потому, что был раним сердцем. Не знаю. Вот мне и надо написать предисловие, да так, чтобы сборнику цену почувствовали и в издательстве, где впорс об издании еще не решен, а я вот уж несколько дней сажусь за бумагу и ни черта не выходит. Может быть, потому, что личное отношение мешает, вижу не столько материал, сколько его самого.

Спасибо за «Хлебозары». Удивительно Вы пишете, не знаю, как насчет звучания, но запахом полей, хлебов, грозы повеяло от этих страничек. Пересылаю рассказ в «Знамя» со своим всхлипом — очень мне хочется, чтоб его напечатали. Я только не давал бы этого подзаголовка — стих-ние в прозе — это ведь издатель Тургенева его выдумал... Ну, а Вам о старческом думать совсем рано.

Очень хочу, чтобы осень для Вас оказалась плодотворной, чтобы принесла она Вам, как и полагается осени, щедрые дары — и полное выздоровление близких, и творческий запал, и полные куканы хариусов. А мне уж, вид-

но, этой осенью у Вас не побывать, куда же я, недорезанный, поеду?

Пожелайте от меня Вашей жене поскроее выздороветь окончательно.

Ваш А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович!

Спасибо Вам за письмо. О своей статье говорить больше не буду, тем более что лежит на столе гряда читательских писем, на которые, кажется, опять придется отвечать. А я замотался и еще не раскрыл папку с письмами при всей моей доброте, существующей в Вашем воображении. Должен был еще в декабре сдать книжку о Демьяне Бедном, маленькую, популярную, листа на четыре, и вот только что закончил ее вчерне. Работы еще на добрый месяц. От всех прячусь, никуда не хожу, изоврался сам и мои домашние: то говорят, что я в Тарусе, то, что в Калязине, а я жму. Увы, пишется не ахти, странички три-четыре в день, а наутро глядишь — бред собачий. Нет ничего хуже спешки, а мы живем только в спешке, подгоняемые то сроками, то нехваткой денег. Поверите ли, за всю зиму не вырвался за пределы Москвы, ни в лес, ни на лед, ни просто в деревню. И при всем при этом перед всеми печатными органами в неоплатном долгу, все смотрят на тебя, как на зверя, — обещал, а не написал. И в самом деле — я вконец испортился — всем обещаю и ничего не успеваю. А когда-то гордился тем, что любое обещание не только выполнял, но и в срок. Словом, охоты много, а силы не те, и никак не может с этим человек примириться.

Очень верно Вы пишете об Аннинском и Бушине. И очень они разные. Левушка Аннинский, верно, пококетничать не прочь, но литературу любит, хотя как-то погородскому, больше именно литературу, чем то, для чего она. Впрочем, это беда всех горожан, а может быть, это даже достоинство: думать, что литература и есть то, на чем свет клином сошелся. Что существует она сама по себе и для себя, но талантлив Лев Ал-дрович несомненно. Бушин же, по-моему, кроме себя, ничего не любит. Странный он какой-то. Он ведь когда-то был в семинаре у меня по Литинституту, я принял этот семинар от Веры Смирновой и года полтора вел его. На защите диплома я попытался сказать Бушину, что его беда в том, что он больше любит себя, чем литературу, коей намерен заниматься.

Он принял это с вежливой улыбкой и вообще мне при встрече всегда улыбается. Не читаю я его статей.

Я очень жалею, что, отказавшись от всех земных радостей, почти не следил за журналами и еще не прочел Ваших рассказов в «Лит. России» и «Огоньке». Как прочту, напишу, как и о «Двух солдатах», когда они появятся. И почему это Вы все шлете в «Лит. Россию» да в «Огонек»? Прислали бы хоть раз в «Знамя». А, может быть, повесть показали бы, а?

Вот уж не думал, что Вас хватит инфаркт¹. У меня их было два. Остается утешаться тем, что «инфаркт — залог здоровья». Пить, курить не станете (разве лишь тайком), а будете только работать. Веселенькая жизнь! Иногда, честное слово, я бешусь, когда врачи меня уверяют, что мне даже есть после 7—8 часов вечера поздно, а вот работать пожалуйста... Самое смешное, чем больше стареешь, тем больше хочется выкинуть нечто несусветное, в бандиты, что ли, пойти? Из дому сбежать? Поступок престарелого Толстого — это ведь юношеский поступок. Как и «Хаджи-Мурат» — юношеское произведение. А пока не спешите. Потихоньку входите в ритм. Самый страшный враг для нас с Вами не водка, а спешка, дергание.

Повесть Вы одолеете, и не одну. Это спервоначалу кажется страшно. Да, вот еще что. Как правило, после инфарктов месяцев шесть, а то и год уходит на раскачку. Так было у меня оба раза. И если увидите, что у Вас что-то плохо двигается, не пугайтесь, все пройдет.

Ваш А. Макаров.

Итак, наступил 1964 год, в который мы наконец-то встретились с Александром Николаевичем и сразу же подружились без натуг и притирок. Может, это произошло отчасти потому, что в письмах мы уже о многом переговорили, «подготовили почву» для дружеских отношений и какого-то жадного и естественного стремления в общении друг с другом.

Во всяком разе, с того, уже далекого года, я почти никогда и нигде в Москве более не останавливался, а только у Макаровых, — да и не отпускал меня Александр Николаевич. «Успеете еще, успеете нашататься по столице, нагуляться, натрепаться, — говорил он, — тут по вас

¹ Не было у меня инфаркта. Была тяжелая пневмония, и печень забарахлила.

соскучились, и дамочки ваши, да и мужчины... некоторые...»

Он зажимал букву «р», точнее, не зажимал, а как бы катал во рту кедровый орешек, что дало основание некоторым литераторам, в особенности тем, кого он не баловал вниманием, считать его евреем и чуть ли не скрытым, злобным семитом. Но если судить о нацпринадлежности по картавости, то часть населения Вологодской области, один знаменитый писатель вместе с половиной населения его родного района — должны попасть из-за картавости в евреи.

Дорогой Виктор Петрович!

Что-то больно мне тошно. Ездил в Воронеж на какие-то обсуждения книг, издаваемых «Сов. писом» по отделу критики. Вернулся и захандрил. Правда, и поехал-то в каком-то состоянии душевной невесомости. Может быть, потому, что весна и на улице «сырость и слякоть», может быть, потому, что всякие совещания на меня нагоняют тоску. Главная беда в том, что застрял где-то на 4/5 статьи об Аксенове и теперь не знаю, попадет ли в N 6. И вроде знаю, что хотел бы сказать, а фразы не склеиваются, все рассыпается, как только садишься за бумагу. Радует только, если это может радовать, что врачи связывают такое состояние не просто с полным обалдением, а с каким-то временным «кризисом кровеносной системы» и усиленно пичкают меня пчелиным молочком, и колот всякими витаминами, после чего, по их мнению, я неминуемо взываю и заекаю селезенкой. Удивительно поганое состояние. Лень даже из комнаты в комнату пройти, целый день валяюсь в постели и читаю французские романы — Саган, Симона, Сименона — целый ворох прочел, и в голове вертятся одни многолюбивые бабы да неудачливые преступники, которых изловляет удачливый Мегре. Вот так скажи кому, чем занимается советский критик, — засмеют. А мне, ей-богу, не до смеха. И надо бы мне развязаться с Аксеновым, ох как надо, чтобы на этом пока поставить точку — сложить книжонку из статей последних лет и не писать хотя бы год никаких патриотических статей. А как не писать — жить же ж надо ж и т. п., положение обязывает. Вспоминается Михаил Голодный — удивительной был души, доброты и скромности человек, и немало в свое время посмеивались над ним, что в разговорной речи он иногда не в ладах был с русским языком и прорыва-

лись у него «одессизмы». Так вот, о нем шутили, что он про своего злейшего врага, критика Елену Усиевич, говорил: «Усиевич, <...>, пишет критических статей. Я бы тоже мог писать критических статей, но партия мне говорит: «Голодный, пиши стихов». А мне вот редакция говорит: «Пиши критических статей». А мне все кажется, что я пишу не то, что надо, и в редакцию несешь с каким-то неясным отвращением — сам, мол, чего-то недодумал, да там еще советов поднакидают, да к тому же все скорей да скорей... Ну да ладно, Бог с ним, даст Бог, доживу до лета и поведу здоровую жизнь — пойду-выйду на быструю речку, сяду я да на крут бережок и замечтаю — вот да бы написать бы о людях, которых знал когда-то, только ведь таланту нету. А ведь действительно, каждый из нас, наверное, носит в душе образы людей, которые составляли часть самого тебя, «без которых нет меня», и очень странно, что людей этих нет и никто о них, кроме тебя, может быть, и не напишет, и не помнит, и не знает, что это были за удивительные люди.

Не знаю, писал ли я Вам, что вот уже скоро год, как сгорел у меня один друг, скорее, конечно, друг в прошлом, в парнях вместе гуляли, а потом дороги наши разошлись: я — литератор, он же один из «малых сих» — из деревни уехал, воевал, вернулся полуинвалидом, женился наконец на той, с которой лет десять еще перед войной шлялся, да отец ее замуж не выдавал; отец-то выдавал, детей куча и старшая в семье хозяйкой была. Да, женился, переехал в Москву, какой-то подвал, яму какую-то себе оборудовал и еще лет пятнадцать в этой яме прожил, пил, конечно, виделись редко, да и говорить-то не о чем было, только смотрел он на меня влюбленными глазами, а я тщетно искал в его одутловатом, посеревшем лице черты того озорного певуна и шутника, каким его помнил, и вдруг как-то звонок: «Дядя Саша! Это говорит Валя Буянова, у нас папа умер». — «Что? Как?» — «Сгорел на работе». Я чуть не фыркнул — как это Макашка, в общем-то лентяй с золотыми руками (все умел), мог сгореть на работе, как какой-нибудь партийный работник. Оказывается-таки сгорел. Дежурил ночью в какой-то сушилке, выпил, наверное, и сгорел вместе с сушилкой. И вот уж год не дает мне покоя, как говорили в старину, его тень. Все кажется, вспоминается Михай с гармошкой, с драками на «канаве», где встречались враждующие деревни... Но кому нужна эта романтизация прошлой деревни?

И другие помнятся — целая череда сильных, юных, и куда это все потом в человеке девается, ведь все же эти деревенские ребята были до чертиков талантливы, сами пели, сами играли на драных гармошках; конечно, транзисторы через плечо — это признак культуры, только, по-моему, оболванивают эти транзисторы почем зря. Словом, «век иной, иные птицы, и у птиц иные песни, я любил бы их, быть может, если б мне иные уши». Вам еще везет. Вы все же где-то дома, у родового корня, а у меня и дома нет — места детства давно под водою, а там, где юность прошла, от коренного населения почти никого нет, так, какая-то смесь племен, паречий, состояний — те, что селятся ближе к Москве, но не в родительском доме. А в Тарусе, конечно, хорошо, но ведь там я дачник и природа-то все же не наша, не калязинская.

Ну ладно, что-то меня в жар кинуло, надо, видимо, ложиться.

Статей моих оппонентов я не читал, так, глянул только. Это, наверное, очень я поступаю плохо. Но мне не хочется влезать в эти споры ни о чем, что, вероятно, тоже свидетельствует о том, что критик я липовый — не интересуюсь тем, что, по мнению критической среды, есть главный смысл ее существования.

А в Кемерово мне хотелось бы поехать. И предлагали. И я вроде согласился. Да вот не знаю, как, выйдет ли?

Кланяйтесь супруге и семейству.

Ваш А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович!

Давно о Вас ничего не слышал — что, как, где? Конечно, я скотина, целое лето собирался написать запрос и дотянул до поздней осени. Все завтра да завтра. Но я что-то уж всерьез беспокоиться начал. Как здоровье? Семья? Что с повестью? Очень о Вас стосковался. А вот до письма не добрался. Скажешь жене — очень охота Астафьеву написать — и на этом успокоишься.

Лето прожил в Тарусе, занимался какими-то поделками, ничего путного не сотворил. До чертиков надоели качания нашего литературного маятника, только и думаешь о том, как бы проскочить промежду тик и промежду так.

Очень хочу, чтобы все у Вас было благополучно, и здоровье, и писалось чтоб. Поздравительных праздничных писем я никогда не пишу, и не думайте, что помню о Вас лишь в связи с наступающей годовщиной Октября. Чер-

кните хоть открыточку. У меня этим летом как-то все поочередно переболели, да и сам немного поскрипел, но выправился.

Жена моя Вам кланяется.

Ваш А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович!

Очень я обрадовался, получив от Вас весточку. И не тому, что Вы читаете мои статьи, придавая им преувеличенное значение, а тому, что «отыскался след Тарасов». Я и не знал, что Вы больны, и все думал, что вот был хороший человек и куда-то запропал. Сколько раз хотел написать, да какой-то я вконец раздерганный всякими обязанностями и обязательствами. Как у Вас с романом? Что за болезнь Вас прихватила? Напишите, ради Бога.

Желаю Вам скорей поправиться, желаю в новом году и вовсе не болеть, а только писать и писать.

Ваш А. Макаров.

Тем временем я закончил повесть «Кража», и началось ее плавание по журналам. Александр Николаевич, поругивавший «Знамя», но до конца дней оставшийся его верным сотрудником и патриотом, подбил меня дать повесть для прочтения в «Знамя», и хотя я чувствовал, что повесть не их «профиля» и что сам же Александр Николаевич испереживает, когда повесть отвергнут, все же рукопись в этот журнал дал, а так как там была, да, кажется, и сохранилась привычка читать рукописи «снизу доверху», то есть почти от уборщицы начиная и главредом кончая, то вот и читали мою повесть долго, и любезно вернули, и я оказался с нею в «Новом мире», где «Кражу» чуть было не опубликовали. Да ведь судьба рукописи та же самая, что и человеческая судьба, — извилиста, прихотлива, часто зависит от «привходящих» обстоятельств. Словом, все же дело с «Кражей» завершилось благополучно, и «мое сердце успокоилось» журналом «Сибирские огни».

И те же журналы, которые «мурыжили и тянули резину», дружно откликнулись на опубликованную повесть хвалебными статьями, как бы извиняясь перед автором за свою перешительность и редакционную рутину.

Однако Александр Николаевич на «Краже» не успокоился и, зная, что я впервые был напечатан в толстом столичном журнале, не в каком-нибудь, а в «Знамени», папирал на мои патриотические и благодарные чувства,

просил новые рассказы, которые я в ту пору писал охотно. И такое же переживание было ему оттого, что рассказы мне из «Знамени» возвращали. Я уж утешал его, говоря, что легких путей в литературе не бывает, что автор и не должен их, легкие-то, искать, просил не хлопотать за меня, так как печатали тогда мои вещи уже довольно широко, хотя и не без некоторой опаски и вмешательства в текст.

В конце концов я сломил сопротивление Александра Николаевича, и он оставил попользования где-то и куда-то «присграивать» мои «творения», и ему, и мне сделалось легче в общении. Я любил и люблю пользоваться почтой, дабы никого не связывать и никому не быть обязанным, да и не огорчать никого, кроме себя, если последует отказ из редакции — и по сию пору рукописи посылаю в журналы и издательства в конвертах, разумеется, кроме тех двух-трех редакций, куда я вхож как постоянный автор и которые все равно что родной дом.

Молодым авторам открою «тайну»: кроме всего прочего присланная по почте рукопись регистрируется, нумеруется, редакция обязана вернуть ее с ответом, а вот неофициально, «дружески» отданную рукопись в редакции могут запамятовать прочесть и даже потерять (что случилось с автором сих строк в журнале «Молодая гвардия», к примеру).

За тридцать лет пользования почтой ни одной рукописи у меня в пути не потерялось, хотя слал я их довольно часто из глухих деревень, простыми или заказными бандеролями. «Ценными», правда, никогда не отправлял — не возникало такой необходимости. А вот получать — получаю, роскошно переплетенные, многослойно завернутые, в полиэтиленовый мешочек заключенные, с казенным уведомлением и личным пространством послания автора, где непременно есть слова: «Простите, что отнимаю время...» Но не приходит в голову так высоко оценившему свой писчебумажный труд человеку, что за ценной рукописью писателю надо идти на главпочту, непременно с паспортом, претить в очереди, терять рабочее время.

Видит Бог, пошел бы я куда угодно и стоял бы в очереди сколь угодно, поступился бы своей работой, если б рукописи эти соответствовали их роскошной и дорогой упаковке. Увы, пока что мне не попалась рукопись, которую захотелось бы отослать в редакцию с грифом: «ценная».

Дорогой Виктор Петрович!

Спасибо за поздравления!

И Вам счастья, радости, успешной работы. Только что вернулся из Оренбурга, где прослышал от редактора «Урала» о Вашей буйной речи¹, что как камень в пруд. В «Знамени» всегда едут не на волах, а на буйволах, лишь бы доехали. Ей-богу, я уж и не рад, что связал Вас. Не хватало мне, чтобы по их милости Вы охладели ко мне. Не надо! И как же Вы тогда не приехали? Говорите точнее. Знаете ли, родной, ей-богу, хватает для писателя и того, что сердце болит, и кочки ему ни к чему.

Ваш А. Макаров.

Дорогой мой Виктор Петрович!

Большое Вам спасибо! Прочел с интересом² и думаю, что Вы в своей оценке во многом правы. Только мне думается, что в оценке прошлой «независимости» Камю не так уж прав. Но это частности. Очень рад, что успел сегодня получить Ваше письмо. Я уж было начал беспокоиться Вашим молчанием. Мне даже неловко, что Вам пришлось перестукасть на машинке добрый лист³, я и не предполагал, что это так много.

Завтра в семь утра я улетаю в Болгарию на три недели, по культурному обмену. Им там про меня наговорили как про знатока поэзии, и они, кажется, ждут каких-то лекций обзорных, а я лекции читать не умею и поэзией в последние годы как-то мало интересовался. Ну да будь что будет. Вернусь и напишу Вам, как позорился.

¹ Не речь, а статья в журнале «Урал» — «Нет, алмазы на дороге не валяются», которая вызвала некий переналод-полемику, такую бурю в провинциальном самоваре, и я собственными глазами видел бумагу, в которой указывалось, что не много не мало как «нарушил ленинские принципы». Очень у нас, в провинции, любят употреблять все великие имена и «припечатывать» прорабатываемого броскими, «разящими» цитатами. Прищипывая эта привычка тащится еще с тридцатых годов, в чем легко убедиться, перелиставши любую подшивку газет тех лет.

Прочитав статью «Нет, алмазы...» несколько лет спустя, Александр Николаевич улыбнулся, махнул рукой и сказал, что, слава Богу, не стоим на месте, статьи подобного рода, где больше молодого задора и полемического азарта, чем глубокого смысла, сейчас печатают любые, даже самые сверхстороженные газеты и журналы безо всякого огляда.

Я включил статью «Нет, алмазы на дороге не валяются» в книгу своей публицистики, издавшую в издательстве «Современник», и в правоте слов покойного критика легко убедиться.

² Речь Альберта Камю при вручении ему Нобелевской премии.

³ Нет, я не перенечатывал ничего на машинке. До сих пор не умею пользоваться ею, все печатает жена.

Жена Вам кланяется. В Тарусу будем ждать Вас обязательно, помните, что там и пиво, там и мед, Паустовский там живет.

Ваш А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович!

Поздравляю Вас с наступающим Первомая! Только что вернулся из восхитительной поездки по Болгарии и сразу же с бала на корабль, в московский пленум.

«Плывем... Куда ж нам плыть» — как говорил Пушкин.

Ваш А. Макаров.

Да, Вас очень хвалил Дорофеев в своем содокладе. С Днем Победы, дорогой Виктор Петрович!

Ваш А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович!

Вот тут и попробуй не верь в телепатию, предчувствия, мистику и вообще <...>. Днем опустил Вам письмо, а вечером от Вас открытка. И очень захотелось еще поговорить.

Очень рад, что с повестью все идет своим чередом. Они молодцы, новомирцы — выпустили девятый номер такой, что читается от доски до доски. Не все одинаково хорошо, но все интересно. Даже Сэлинджер, который ровно ничего нового не сказал, но с каким вывертом! Твардовский в стихах, по-моему, превзошел сам себя. А еще говорят, что у нас нет поэтов, что разве сравнишь нас, грешных, с XIX веком. А я вот подумал: за 50 лет — Маяковский, Есенин, Пастернак, Твардовский — целых четыре! А за сорок лет после Пушкина — Лермонтов, Тютчев, Некрасов — всего три. Блок только родился через 50 лет. Предлагали мне написать об этом цикле, но что тут можно написать. Все понятно без растолкований. Да к тому же содержание растолковывать не дай Бог, гусей дразнить, а слог, язык — что же тут нового скажешь? Читал я эти стихи, и было мне почему-то грустно. Есенин писал: «Я последний поэт деревни». А почему-то подумалось, что Твардовский мог бы сказать: «Я последний поэт России». Именно России, а не СССР. Уйдет Твардовский, и никто никогда уже не заговорит так по-русски душевно, с такими переливами языка, ясного и точного, такими звуками родной речи, идущей с поля, от села — а деревня — хранительница национальности (как утверждал один марксист, имя коего ныне употребляется разве лишь с присовокуп-

лением другого слова, а отдельно как бы и не существует). Только где она теперь, деревня?

Так вот и не напишу я о Твардовском.

Вот о Евтушенко написал. И много. Может быть, в похвалах конкретных и перебрал, но надоело, что все его только лают. И если само слово «Знамя» Вы можете не заметить на обложке, взгляните в № 10. Статья написана была к № 7-му, но они ее как-то допереключивали до десятого номера. Рецензия же о книжке Карповой, право, ничем не интересна. Книжечка у нее честная, дотошная, но скушноватая.

Вчера вечером пришла откуда-то жена и сказала, что умер Дм. Ал. Поликарпов. Мне звонили с предложением пойти в почетный караул. Не пойду я сегодня в почетный караул, а уеду, как рассветет, в Тарусу, числа до десятого. А Дм. Ал. очень жаль — хороший он был человек, честный, прямой, конечно, «продукт сталинской эпохи», но если бы продукты были такими, так и эпоха была бы другая. И трудно ему приходилось последние десять лет. Думаю, что даже более трудно, чем в 1946 году, когда Сталин изгнал его из СП за то, что в оценке «Спутников» Дм. Ал. решил показать себя большим сталинистом, чем сам хозяин. Я его любил, да и он ко мне относился хорошо, всегда по-отечески отчитывал. А отчитывал он по-особому. Получалось как-то так — мол, все ты, дорогой товарищ, сам знаешь и понимаешь, так какого же лешего... И очень грустно, что не услышишь больше его голоса. Бывало, чем тверже этот голос становится, чем непрерываемей, тем почему-то все мягче и даже смешнее... Не знаю, как у других, а мне всегда весело становилось. Жаль, последнее время я с ним не встречался, разве что в президиуме на вечере какого-нибудь 2000-летия классика. Очень буду ждать Вашего приезда.

Ваш А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович!

Все-таки очень жаль, что я не увижу Ваших рассказов до их появления в печати. Когда-то это еще будет. Записки Волконской — книжки-декабристки я читал когда-то, давным-давно, в отрочестве. Помню ее больше по Некрасову, который воспользовался этими записками в «Русских женщинах». Буде Вы их захватите — перечитаю с удовольствием. Письма Ваши прямо каким-то лучом врываются в мою зимнюю, серую жизнь, то о речке подмер-

зающей напишете, то о благородстве женском, хотя и давнем. А я сижу, как в одиночке, в своей комнатухе, откуда только серые заборы видно, и строчу; строчу, а зачем и кому это надо — не знаю. Вот уж месяц пугаюсь со статьей о Семине и никак не могу в ней разобраться. Но должен же кто-нибудь сказать, что про него все не то, не то пишут, хотя и в чем-то и правы. Его беда в том, что он поразительно одинок. И чем больше я в него влезаю, тем больше сам заражаюсь его настроением. А писать-то надо вопреки настроению.

Недавно побывал в Литве на съезде. Ездил с женой и даже с дочерью. Встречали как своего, я ведь о них кое-что писал, а они народ добрый и много переживший. Обрек я было себя на пост похудения, но какой там пост, было такое разрешение вина и елеч, что кабы не семейные узы...

Москва меня прямо замучила. Звонки, звонки, звонки. «Лит. газета» требует, чтобы я писал (не один) какую-то редстатью, которая совершенно уж никому не нужна, влез в статью о тех, о ком когда-то писал в «Серьезной жизни». Родил Рекемчука и Липатова, вожусь с Семиным, а впереди еще Аксенов. Понаписали товарищи много, и надо же в этом как-то разобраться. К 1-му января надо сделать предисловие к сборнику болгарских критиков. А что я знаю о болгарской критике? Ровно ничего, кроме нескольких самих критиков. И еще не позднее 5-го надо вернуть книжку о Межелайтисе, в которой надо сделать кой-какие доделки.

Голова идет кругом, и хочется на все плюнуть и сбегать куда глаза глядят. Но от себя не убежишь.

Но вот попыл и вроде легче.

Поздравляю Вас и все Ваше семейство с Новым годом. С ним я еще не знаком, но ведь и с Вами мы когда-то письмами познакомились. Наташа и Аннага тоже Вас поздравляют.

Желаем всего, что принято в таких случаях желать, главное — не болеть никому. И еще очень желаю, чтобы поскорее приезжали бы Вы.

Ваш А. Макаров¹.

¹ Вот коротенькая справка, какие нагрузки и должности исполнял Александр Николаевич Макаров — документ-обвинение Союзу писателей в том, как он может заездить того, кто везет.

Постоянный член правления СП СССР (и, следовательно, участник всех заседаний, — он был аккуратен и целетелен в этих делах, пока ему все не осточертело).

Дорогой Виктор Петрович!

Повидать мне Вас очень хочется, а поговорить прямо-таки нужда. Поскольку Вы решили еще побывать на лоне природы, подскочили бы мы к Вам денька на два-три, числа 23-го или 24-го. Если Вы не прочь от таких гостей (я и жена), то черкните, как к Вам попасть — маршрут поездом или самолетом (могут не летать из-за погоды) и как добираться до Перми и из Перми? Я, конечно, уже все забыл. Ваши, наверное, уже в городе, тогда, конечно, все проще. Городской-то адрес я знаю. Ну, а вдруг там никого нет?

Спасибо за журнал.

Ваш А. Макаров.

А время шло. Общение наше сделалось более дружеским, доверительным, и когда я приезжал в Москву, мы часто засиживались в тесном, вечно не убранном кабинете до глубокой ночи. Сидя на стуле меж окном и столом, заваленным подковообразно книгами разных мастей и разных авторов, в середине коих пещеркой темнело «рабочее место» критика, я слушал Александра Николаевича или рассказывал сам. Был Александр Николаевич не только славный рассказчик, но и слушатель редкостный, а хохотун, как и я тоже, совершенно отменный, и, нахохотавшись до слез, он, вытирая слезы с глаз, просил: «Ну, Вик Петрович, ну еще сказочку расскажите!»

Член поэтической ангалогии.

Член комиссии по русской литературе и многих комиссий по литературному наследству.

Член приемной комиссии на Высшие литературные курсы.

Руководитель творческого семинара на тех же курсах.

Постоянный рецензент и сотрудник журнала «Знамя», «Литературной газеты» и многих издательств. Поскольку долго работал в журнале «Краснофлотец», переименованном в «Советский моряк», Воениздат и его авторы не забывали своего критика, слали ему книгу за книгой, жаждая положительных откликов. А кому таковых не следовало, звонили, упрашивали, звали «обмыть книгу». Я однажды набрался ума сходить с Александром Николаевичем на этакое «обмывание». Уж такое ли было неприглядное зрелище! Так ли паседали на критика военные молодцы, что более я ни разу не согласился ходить с ним на подобного рода «мероприятия».

Все должности и обязанности А. Н. Макарова не упомянуть, а еще надо учесть, что тягали его на всесоюзные доклады, выездные пленумы, секретариаты и т. д. и т. п.

Дни, недели, месяцы, годы, разорванные суетой, бесполезными делами. Лишь иногда выхватывается, почти «уворывается» время у общественных дел, чтобы человек мог писать о том, о чем и что хочется писать.

Все, что я ему рассказывал, он именовал «сказочками», и по мере того, как развивалась болезнь его, я старался избегать мрачных «сказочек», ибо кроме болезни ему много приносила огорчений и литературная среда, и свои родные домочадцы.

Не скрою, да и нет надобности скрывать это теперь, меня не просто огорчало безалаберное «ведение дома», но оторопь брала от его перьяшливости, запущенности. Две здоровые женщины в доме, молодой зять, брат, полный сил и энергии, родня толчется с утра до ночи, домработница, пусть и приходящая, а стены квартиры в толстом слое пыли, за портретами и картинами паутина, что колючая окопная проволока; окна давно не мыты, пол облупился, в квартире сумрачно, душно, на старом обшарпанном столе критика многолетний слой пыли; на полках книги не поставлены, а затиснуты, и если вынешь книгу — обратно не засунуть. Подоконник же и стол и без того завалены писчебумажным добром. Среди стола, в «пещерке» мерцала стеклом старая, в обсохших чернилах, школьная непроливашка и тут же валялась деревянная ученическая ручка с пером «Союз».

Я в ту пору работал точно таким же «инструментом» и, посмеиваясь, сказал, мол, я-то что, а вот знаменитый критик — и допотошной ручкой «критикует»! На что Александр Николаевич отшутился: «А что? Вы думаете, если критик знаменит, так у него и мыслей знаменитых полно? Да у него, как и у вас, грешных, нету никаких мыслей. Вот и надеешься: пока макаешь ручку, она, треклятая, и появится...»

В ту пору Александр Николаевич еще мог, как он выражался, маленько «клюнуть», а «фершала» ему это запрещали, и домашние блюли наказ «фершалов». Но по случаю моего приезда происходили некоторые вольности, нам с Толей — братом Александра Николаевича — дозволялось раздавить одну на кухне. А Толя — большой мастак по этой части, с утра уже поддатый, шарашится на кухне, чего-нибудь опрокинет, прольет. Мы это в смех обратим, маленько, совсем маленько — капельку вольем в рюмочку Александра Николаевича. Была у него, по какому-то наследию, из каких-то доисторических времен дошедшая, серебряная рюмочка (в каждой московской, интеллигентно себя понимающей семье есть или должна быть подобная рюмочка, веер, картина, стол, стул, «курильница» чуть ли не с царского стола или из Юсуповско-

го дворца), по кроме именитой рюмочки на столе были и стаканы, и стакашки, и кроме махонькой бутылочки с коньяком у Толи в запачке есть бутылёк, да и я, вызнав порядки, тоже в боковом кармане пальто либо в чемоданчике хранил «змею горькую» — на всякий случай.

И вот сидит на кухне гость с хозяевами. Из положенной по этикету бутылочки почти не убывает, а мужики все веселее, все красноречивее. Наталья Федоровна в подозренье: «Послушайте, товарищи! Вы с чего это захмелели-то?» — «Со стола браншого, с речей Вик Петровича отважного...» — «О-ох, глядите вы у меня!..» — смеется, бывало, Наталья Федоровна и грозит пальцем.

Много, хорошо и дружно разговаривалось нам на кухне. Я чувствовал, что мое присутствие как-то освежало обстановку в доме, где часто и, казалось мне в ту пору, беспричинно раздражались люди друг на друга, психовали, вечно чего-то искали, и без конца трещал телефон в прихожей да слонялся из комнаты в комнату огромный добродушный кобель Карай, который если ложился в прихожей, то от стены до стены, и потому на него всегда наступали, а он блажил дурноматом на весь дом.

Совершенно нежные чувства питал суровый критик к тому псу, мечтающему об одном: о вольной воле, которую он получал лишь в Тарусе, в Москве же томился взаперти, вывести его на улицу часто было некому и некогда. Он лбом открывал дверь в кабинет Александра Николаевича, клал ему на колено здоровенную, почти лошадиную башку и жалобно, пощеньячьи пищал, просясь на улицу или жалуясь на одиночество.

Александр Николаевич трепал пса по загривку, гладил и объяснял: «Что, Караюшка? Что, собачка моя? Гулять охота? Гулять. А как же критических статей? Ждут, родной, ждут, и Людмила Ивашина, и Вадим Михалыч, и звонят, и ругают. Им палевать на твою собачью нужду, им подавай продукцию, и пикаких!..»

Однажды Карай где-то разрезал стеклом лапу, забинтованный ходил на трех лапах, уши повесил, хвост опустил. Я в хохот. Александр Николаевич на меня в атаку:

— Чего смеетесь? Чего смеетесь-то? Смейтесь, смейтесь! Счас я Вас разобью сообщением о том, как эта самая болезная собачка спасла личное добро критика и держала бандита!..

— Чего-о-о?!

— А ничего!

И Александр Николаевич поведал, как они собирались в Тарусу. Ну, беготня, конечно, чего-то утерjali, чего-то забыли, чего-то опрокинули, куда-то не дозвонились. Толя тем временем в магазине смотался, чтоб потихонечку бутылку купить. И заберись же за руль ворюга с намерением угнать машину, а того не видит, что за сиденьем, прижавшись к полу, лежит кобелище — овчарка. Карай тайком, еще при Толе, вполз в машину, притаился, чтоб, Боже упаси, не выгнали да в Москве не оставили бы. И когда ворюга сел на место шофера, кобель, думая, что это Толя, благодарно облапил его сзади за плечи...

— Когда мы дружной семьей вывалились наконец-то из дома и, доругиваясь на ходу, приблизились к машине, бандюга был почти готов, говорить он уже не мог, лишь прошептал: «Делайте что хотите, только собаку... собаку...» — и потерял сознание. И так будет с каждым, кто позарится на личное имущество советского критика! — с пафосом завершил рассказ Александр Николаевич.

После инфарктов, перенесенных Александром Николаевичем, ему не только выпивать, но и курить было запрещено. А он курил. Тайком. Выйдем, бывало, погулять, он поскроее спустит Карая с поводка, цап-царап «беломорину» и жадно, как мы в школе когда-то, «иззобает» ее за углом, озираясь по сторонам.

— Нельзя вам так курить. Коньки можете отбросить, — говорил я ему. — Курите лучше открыто, но спокойно и нечасто.

— Так ведь разорутся. Наташу, опять же, огорчать не хочется.

Я уговаривал Наталью Федоровну.

— Да мы знаем, что он курит тайком, но разреши, — ответила она, — закурится совсем. Нет уж, пусть лучше так...

Как известно, баба кроит вдоль, да режет поперек. Покойница часто бывала непререкаема и не понимала, как, впрочем, и жены наши часто не понимают, что ставить взрослого человека в позицию школьника унижительно для обеих сторон. Для пишущего же человека всякое притворство, прятанье, ухищрения в добывании не жизни, нет, куда уж там, до жизни ли?! — хотя бы минутной свободы повседневных действий, привычек — унижительно вдвойне. Мелкое, по постоянное унижение не просто

мучает и терзает душу человека, оно приводит к чувству самоуничтожения, малозначности своей.

Дорогой Виктор Петрович!

Надо же все-таки иметь совесть и не забывать свои кпижки и не ввергать в расходы по их причине. Забыли про кпижку, забыли купить шляпу, которую предлагали, поскольку она мне оказалась велика (Марья Семеновна ее даже примеряла!), забыли про перчатки, купленные для Вас Наташей еще полгода назад. Все забыли, а все потому, что Толя Знаменский заговорил. Так-то!

Ваш А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович!

Так обидно, так нелепо уезжать накануне Вашего приезда. Так я надеялся повидаться и наговориться. По правде говоря, я как-то забыл о пленуме и неосмотрительно дал обещание таджикам (вернее, оно давно было дано и уж очень много раз я его давал и в последний час отказывался, и на этот раз не хватило совести). И надо же было их съезду совпасть с пленумом, то есть с Вашим возможным приездом. А может быть, Вы задержитесь в Москве? Я вернусь если не 26-го, то 27-го обязательно. Хотя мало я на это надеюсь, на посу май, и Вы, наверное, будете спешить. Если бы не дом, не жена, не всякие сложности быта, так бы и уткнулся за Вами вдогонку. А может, я все-таки как-то выпрошусь в конце мая — тут ведь беда и в том, что по возвращении что-то надо доделать в редакции со злополучной статьей об Аксенове, что у жены свои планы и обязанности, словом, тысяча всяких преград.

По настрою «Синие сумерки» — рассказ отличный. Растревожил он меня до слез. Почему-то очень стало жалко себя, впрочем, я даже знаю, почему, но в письме этого не выразишь. Видимо, я безнадежный эгоист, вместо того, чтоб сокрушаться о роде человеческом, сокрушаюсь и печалюсь о себе, о том, что мог бы жить как люди, а стал литературным критиком. А Вы удивительно умеете сказать человеку о том, что им безвозвратно потеряно... Ну да ладно. Если я сяду на лирического конька — поездке конца не будет.

Давайте о рассказе. Не мне Вам говорить, что к нему могут предъявить всякое — противопоставление «естественного человека» современному, недопустимость безнаказанности покушения на инженера и т. п. Все это че-

пуха, и, буде такие редакторские замечания прозвучат, обращать на них внимание не стоит. Рассказ существует как таковой с его незыблемой печалью, и тут уж ничего не поделаешь. Но есть в самом рассказе что-то, над чем стоит еще подумать. Вы пишете, что Вам почудилась в середине какая-то патяжка. Знаете, это действительно чувствуется, и думается, что она в том, что Вы прямо связываете поведение Ночки с Ив. Ив. и историей с инженером. Я могу объяснить, как это, вольно или невольно, произошло. Вам важно сюжетно закрепить в рассказе историю с инженером, попробуй выкини и Ив. Ив., и эту историю, если па ней как бы держится сюжет — все взаимосвязано. Художественно это не только не обязательно, но даже противопоказано, в этом чувствуется литературность, вымысел. Умысел вполне объяснимый, но именно потому, что сразу приходит в голову объяснение, это и мешает. Прямая связь портит все дело. Начинает выпирать тенденциозность, нарочитость, глубокая и грустная философия рассказа начинает отдавать назидательностью временной.

Мне думается, нужна бы другая история, другой повод для трагедии собаки, и тогда все зазвучит сильнее, сложнее, но и, думается, правдивее. Здесь же все нравоучительно отлажено. Не мне давать Вам советы, и не знаю, угадал ли я то, что Вас смущало, но это, именно это внушило мне подозрение на литературность. И еще одно замечание — невыразимо хорош Гр. Еф. в обстановке его избушки, в жестах, в разговорах с собакой, но в интонации его разговора с Вами слышится опять-таки какая-то литературность. Вы даже о «Юности» его заставили говорить. Не уверен, что в этом рассказе это необходимо. А сейчас это вообще прозвучит конъюнктурно. Да и зачем Вам, такому русскому художнику, впутываться в быстро текущий поток преходящей литературы? И, если вдуматься, то, ей-Богу, наша «молодежная» литература не смех вызывает, а слезы — в пей отразилась духовная драма этого замороженного поколения. Но это уж Ваше дело решать. А вот на манеру разговора обратите внимание. Я даже не могу конкретно указать, что меня не устраивает в Гр. Еф. Несомненно, в речевой манере «простого» человека есть интонация сказовая.

«На войне кум у меня погиб, Хрустов по фамилии. На водокачке слесарил» — глаголы на конце, слова перевернуты местами, но, перекочевав в литературу еще двадца-

тых годов, интонация эта где-то до того налитературилась, что каждого, кто начинает так разговаривать, воспринимаешь не как живого героя, а как давно знакомый персонаж. Я не сомневаюсь, что у Ваших земляков тоже в речи сказывается эта интонация, но ведь есть же что-то и свое, пермяцкое, кроме этих «отродясь» и «бывало-ча» и обязательных глаголов на конце. Кому же, как не Вам, уловить это? Все, что он рассказывает, написано Вами с какой-то языковой скупостью и утомительной монотонностью, и рядом с этим изумительно яркий, сочный авторский язык. Для себя-то (то есть для рассказчика) Вы на редкость щедры. Вы даже местную поговорку о лешем себе присвоили. Помните, как говорят герои у Горького. Он ведь им самое лучшее отдавал, самое самоцветное для них в своей памяти откапывал.

Извините меня, ради Бога, — это не поучение, просто вспомнилось... И вот мне кажется, что с речью Гр. Еф. не грех и повозиться бы. Надо, чтобы я его так же почувствовал, как Ваш пейзаж, Ночку — где все одухотворено, все живет, дышит, от всего сжимается сердце. А Гр. Еф. я чувствую больше всего тогда, когда Вы говорите о нем. Так, например, в последнем абзаце, под которым и Тургенев подписался бы. Так дайте мне его в нем самом.

Больше мне сказать печего. Все, что в рассказе от Вас, — превосходно, описаний, казалось бы, много, но ни слова не выкинешь, напротив, испытываешь то обязательное чувство — эх, еще бы подзадержаться у этого пробирающегося из-под снега ручья, услышать робкий, просительный писк Ночки, и «зло» берет на автора, что он не вытащил ее из-под пихты в избу (ну что ему, автору, стоило), словом, испытываешь все то, что и должен испытывать. Помню, когда-то моя троюродная сестра, с которой я прожил бок о бок в отрочестве (потом она стала серьезным партийным работником), просто заходила от злости на Диккенса, что он рано кончал свои романы, что вот-де, что бы ему стоило написать дальше, и как они жили дальше, потом, какие у них были дети, и в этой ее злости была величайшая похвала писателю, что я понял, конечно, позднее, а она — не знаю, поняла ли. Теперь она уже пенсионерка и читает только газеты. И вот если говорить о рассказе, как говорится, так он вызывает именно это хорошее чувство злости, ну зачем, ну разве нельзя было еще подзадержаться в избушке, посидеть у огонька, расположить к себе Ночку и т. д. Так вот, хочется, чтобы и

когда Гр. Еф. рассказывает, было такое ощущение, чтобы я не только историю собаки от него узнавал — ну говори же, говори, — подумал бы.

Впрочем, я уже начинаю повторяться. В разговоре я все это выразил бы, может быть, эмоциями, короче, а в эпистолярном жанре получится как-то сухо, уныло, чуть ли не пазидательно, и очень трудно передать свое отношение. Заболел я Вашим рассказом, вот и все. И, как всякий больщик, кричу: «Еще гол!»

Ну так как же все-таки? Возможно, на этот раз так и не увидимся. Спасибо за книжку, о ней уж вдругорядь, а пока только спасибо не в смысле за презент и экземпляр, а за то, что и как в ней написано. Если уедете, напишите обязательно о планах на дальнейшее, о Вашем личном расписании. Кланяюсь Вашим домашним. Мои кланяются Вам.

Ваш А. Макаров.

За ночь так и этак передумывал это письмо. Может, я ошибаюсь. И все же думаю, нет. Есть какая-то нарочитость в том, что Ночка в роли мстителя Ив. Ив. — какой-то обнаженный ход. Может, потому и рассказ Гр. Еф. приобрел речевую потертость?

Ну, давайте руку. Вот так.

Доргой Виктор Петрович!

Поздравляем! Желасм здоровья, удач в творческой и рыбной ловле!

Семейного благополучия!

Макаровы.

Дорогой Виктор Петрович!

Небось, Вы уж в своих пятаках, а я все еще торчу в Москве и предаюсь блуду — пишу внутренние рецензии: на лето нужны деньги, думаю заняться подготовкой книжки, а книжку нужно кормить. Статьи, конечно, деньги дают и, однако, не оправдывают себя — пока пишешь да про-талкиваешь, глядь, истратил больше, чем получишь. Больше, конечно, потому, что уже много очень советчиков в редакции, к тому же, как говорил старик Державин: «Один хотел арбузов, другой соленых огурцов». Вот и не доведу никак до печати своего Аксенова. Но баста! На этом ставлю точку, больше пока не буду заниматься старыми знакомыми. И есть у меня мечта написать о тех, кто «там, во глубине России», о ком пишут мало, и не рецензии, ко-

нечно, а статьи-портреты. Но и сам-то я мало знаю периферию, и ведь тут нужно, чтобы был человек перспективный, который бы в будущем дал еще больше. А то вот как хорошо начинал Сергей Никитин, а выписался довольно скоро. Может быть, Вы подскажете, кем бы стоило заинтересоваться. Вот прочел я книжку Сапожникова, по-моему, это очень интересно, но, кроме этой книжки, я о нем ничего не знаю. Как Вы к нему относитесь, если читали? Что же все-таки будет с «Кражей» в издательстве «Молодая гвардия»? Мне очень нужно, чтобы где бы то ни было, хоть на Сахалине, да появилась эта книга. Может быть, Вам придет на память несколько имен, кого стоило бы прочитать от корки до корки, чтобы потом сделать выбор, наткнуться на то, от чего загорится душа. Да, вот еще что: в «Новом мире» были отличные рассказы курянина Носова, но пока, кроме этих рассказов, я его ничего не читал. Летом можно было бы потихоньку почитывать, летом какое же писание, все-таки грибы, рыба (вернее, ее отсутствие), летом только дорабатывать что-нибудь можно. Библиографию любую и книги я, конечно, могу получить в Союзе, но мне нужно знать, кого бы стоило читать. Я не только не успеваю за всем следить, я ни за чем следить не успеваю.

К моей критике Вашего рассказа Вы должны отнестись так, как советовал Горький в письме Каверину: «Слушайте критику, обязательно слушайте, но не слушайтесь».

Да вот и лето на дворе. И пролетит оно, не успеешь оглянуться, а уж как его ждалось! Впрочем, с годами ощущение радости тускнеет. Сидишь на реке и думаешь, что скажет Сучков¹ о том, что ты накупидебал. На реке я все же изредка бывал. Есть такая веселая речка Озерна, километрах в ста с лишним от Москвы, за Малеевкой, такое ожерелье из омулков, нанизанных почти на ручеек. Не больно она рыбная, но уж больно хорошо там и безлюдно, только уж и там воздвигли плотину и будущей весной перекроют, и не будет веселой речки Озерны.

В Москве был пленум о поэзии. Я посидел всего полдня, на остальные полтора дня меня не хватило. Об уровне можете судить по статье Наровчатова в «Правде», где он какие-то слабые стишки какого-то молодого гения выдает за гражданственность. И пишет о нем рядом с Берггольц

¹ В ту пору — заместитель главного редактора журнала «Знамя», известный литературовед.

и Смеляковым. А в стихах этих гражданственность покупная, заимствованная и бестрепетная.

Вот так мы и живем.

Обнимаю Вас, дорогой друг, и кланяюсь Вашим домашним.

Ваш А. Макаров.

Поймавшись за слово «гражданственность покупная», помнитесь, я разозлился и разразился письмом о «гражданственности» вообще и о «массовой культуре» в частности, и, поскольку мысли эти занимают меня чем дальше, тем больше, я позволю себе припомнить то, что писал Александру Николаевичу и что затем стало предметом не одной нашей долгой беседы.

Литература никогда не шла только по восходящей. Перепады, взлеты и крушения возможны не только у одного писателя, но и у целой литературы, даже большой, и постепенно, мучительно, в русской литературе даже с надсадой они преодолевались.

Вообще, мне кажется, что пока людям еще не до гражданственности в литературе, само влияние литературы и искусства на человеческое общество у нас, как и во всем мире, преувеличено, более того, оно, это влияние, носит порой совсем не те формы, какими хотелось бы нам их видеть и иметь, — самораспространение среди молодежи, сплошь грамотной, подчеркиваю, сплошь! и часто — с вузовским образованием, — ритмически и мелодически бедных танцев и песен, охотно потребляемого чтива с элементами секса и насилия, низкопробных зрелищ, не требующих никакой душевной и умственной затраты на их восприятие (чем дальше, тем вернее подкрепляется это умозаключение).

Из самых древнейших и обескураживающих творений человека — казенный закон; возник он, должно быть, еще до появления письменности, а может быть, даже и мысли, и суть его состоит в том, чтобы кто-то кого-то подминал и заставлял работать, добывать пропитание, защищать его от врагов, — главный, древний и дикий порядок человеческих отношений: кто не работает — тот ест, да и пьет тоже. Трудовому человеку всегда недоставало времени для бродяжничества, если, конечно, был он трудовой, не шалтай-болтай.

Человек с вялым, безвольным сознанием, с отсутствием ответственности за свою и всеобщую жизнь охотно

выдумывает Бога и все перекладывает на него, на его «могучие плечи», на него уповает, ему доверяет, и если нет Бога небесного, если он далеко и до него трудно дотянуться, производит земного, доморощенного, и уж молится ему, уповает на него, перекладывает ответственность и т. д. и т. п. И вот уже Стефан Цвейг, умный художник, мужественный гражданин земли, с серьезной и тяжелой иронией пишет, что мы должны быть благодарны любым нашим правителям за то, что они берут груз забот и ответственности за наши судьбы и судьбу государства на себя, недосыпают, недоедают, постоянно живут в напряжении; часто их смещают, да кабы с благодарностью, а то ведь головы отрубают за всякого рода промашки и неумелое уложение народа своему.

И во все времена народ охотно возносил личность — на, красуйся, правь, ораторствуй, сияй! Но история неумолима, она доказала, что когда возносится личность, унижается народ.

Двадцатый век — мчатся машины по земле и по небу; открываются новые материки и планеты; напряженно работает человеческий ум, и творения этого ума поражают воображение самих творцов; кино, телевидение, космические аппараты; человеком покоряются все и всякие пространства, создается искусственный белок, даже искусственный заменитель и осеменитель человека. Совсем недавно, впервые в мире, женщина по имени Радмила Эйс родила двойню, мальчика и девочку — от искусственного осеменения! Моральные и нравственные последствия этого события, как всегда почти пропущенные мимо сознания спешащим куда-то человечеством, невозможно пока и трудно осмыслить — страшные могут быть эти последствия, если найдутся силы создавать и пускать «в дело» изготовленного «по заказу» человека, без роду и племени, с целенаправленным инстинктом и силой, не обремененной никакими обязательствами ни перед кем и ни перед чем.

Впрочем, может, это и будет тот идеальный человек, к которому стремились и стремятся умы «сильных мира сего», кто давно уже добивается повиновения себе ближнего своего и всячески оболванивает себе подобного видимостью любви, притворным братством, казенной заботой о его благополучии, кормит опилками и поит мутным пойлом так называемой культуры, и так настойчиво и давно кормит и поит, что даже сверхусилия титанов

земли ничего почти не сдвинули с места в сознании человека. Вот две цифры в подтверждение.

В год на земном шаре расходуется восемьдесят миллиардов долларов на производство алкогольных напитков и двенадцать на производство книг.

Если взять в расчет, что производство книг учтено достаточно полно, то с учетом производства спиртного дело обстоит сложнее, пуганей и печальней. Как учесть по пятидесятиmillionной Украине производство горилки? А она шипит и прееет почти в каждом уважающем себя дворе и хате, и наши, российские садоводы-«любители» научились обходить дорогую винополку, используя «дары природы» в производстве браги и самодельного так называемого вина.

Мне как-то довелось быть благостной августовской порой в селе Сокольце, под Винницей, и напротив дома, в котором я квартировал, затеялась свадьба: гостей человек двести, духовой оркестр, столы на два двора, разобрали ограду — чтоб широко было. И пили на этой свадьбе три дня и три ночи. Под конец свадьбы от танцев и буханья оркестрового барабана (уси остальные духовики-молодцы полягали) — осыпались яблони и груши с деревьев не только в этом, но и в окрестных садах. Два громадных дядька, ряженных под «запорижцев», встречали любого прохожего и проезжающего, «звидкиля б он ни следовал» — с востока на запад или с запада на восток, наливали из жбана кварту (кружку) самогона и заставляли пить до дна (пропуская только школьников — «бо им пока нэ можно»). И я, грешным делом, попал на пути «запорижцев» и, как опытный боец, понял сразу: сопротивление бесполезно. Жажнул ту кварту в «пивлитра» объемом и почувствовал, что раненный на фронте глаз выпрямляется, здоровый же, наоборот, кривеет.

Во все последующие дни свадьбы и похмелья я перелезал через ограду и по-пластунски, садами обходил веселящихся громадян. От хозяйки узнал, что свадьба очень скромная, водку выставляли только перед невестой и женихом да родне жинки, «бо вони з Одесы, дужэ вэлыки начальники, зубы вставляють золотые, кому трэба». Все остальные гости, не чувствуя никакого ущемления, бодро глушили самогонку, как глушат ее по всей великой Украине. А где-то на острове Мадагаскаре бродит почти дикое, полуголодное племя, но добывать из лиан дурмящее зелье умеет. В Молдавии цуйку пьют, в Грузии —

чачу; не то в Африке, не то в Колумбии есть плоды или грибы, которые ни варить, ни квасить не надо, — сожрешь — и на стену, то бишь на дерево полезешь и песни петь начнешь или хохотать примешься...

Да что там Украина, Африка или Америка? У меня на огороде в родном сибирском селе вырос мак-самосевка — нанесло ветром. Вырос, цветет себе скромненько, осыпается, и глазу почти незаметен, ан нет: как только появились маковицы на стеблях, завертелись возле моей ограды молодцы вузовского вида, и один из них, в замшевой куртке, вельветовых брючках, с фасонно, как у богдыхана выстриженной бородкой, однажды спросил: нужен или не пужен мне этот мак и если не нужен, то разрешу ли я ему состричь головки мака? Я говорю, разрешу, но взамен хочу получить информацию — для чего он ему? И он сказал, что из него, из молодого мака, делается опиум. «Нет, — кривенько улыбнулся молодой человек с бородкой богдыхана, уточняя. — До опиума далеко, но какое-то подобие его». Спятил мак, запихал под куртку и удалился, вежливо меня поблагодарив. И я подумал: не зря боролся за всеобщее образование, и мне поздравить захотелось преподавателей химии моей родной школы и вузов, где обучаются такие вот молодцы. Ведь раньше в нашем селе брагу-то не все умели варить, самогонку гнать не из чего было, а тут гляди чё дается! Достижения-то какие!

Смех смехом, но берусь утверждать, что с появлением пусть относительного достатка обнаружили у нас и уродливые, нездоровые, дремавшие, нам казалось — отмершие, качества: зависть, нахрапистость, жадность. «Когда мы были беднее — жили дружнее» — эта недавно родившаяся поговорка может быть твердо записана в сборники современного фольклора. Как это возможно: за ягодку, взятую с грядки неразумным ребенком, перебить ему спину цепью от лодки? И кто перебил-то, кто? Ученый. Бывший декан и даже проректор крупного вуза! Как возможно убить из ружья молодую девушку за горсть черешни, о чем писалось в газетах и говорилось по телевидению! Сейчас в нашем, да и во многих селах идет повальная рубка деревьев: яблонь, боярок, сосенок, елок, всего, что не плодоносит. После войны вернувшиеся с фронта бойцы, затем их дети и внуки, радуясь спасенной жизни на земле, чем

могли, украшали ее, часто сажали деревца уже те, кто в лес сходить не мог, — инвалиды.

Вышел их земной срок, поумирали инвалиды, дети их разъехались в города — какие-то хваткие, рукастые граждане из городов скупили дома, поносили гнилушки-построюшки, ссекли все до кустика — чтоб каждый клочок земли «работал, оправдывал себя», чтоб побольше росло «выгодного товара»: редиски, клубники, малины, смородины, помидор — все на базар, на базар и втридорога, втридорога! Ныпче в Красноярске стакан кедрового ореха (стакан — это название, на самом деле — стопка) продают за пятьдесят, пока писал книгу — стало шестьдесят(!) копеек, по больше на вес продают — пять-шесть рублей килограмм, памочив перед этим орехи в кипятке, чтоб тяжелее были. А они, орехи, на старые-то деньги дороже двадцати копеек за стакан прежде не стоили. «Отчего сырой-то?» — спрашиваю у продавца с обветренным лицом леспромхозовского рабочего. «Ты дурак, что ли? — подсказал мне рядом стоявший покупатель. — Сырого-то ореха на вес меньше идет. Небось в школе учился?!»

Да, учился, учился, хоть недолго и худо, но учился и запомнил слова: друг, товарищ, гражданин, сам погибай, но товарища выручай. Раздели каждую крошку. Спаси погибающего. В беде и в горе едины.

Посмотрели бы хоть раз пристально сами на себя некоторые мои земляки, на собственных «Жигулях» прибывающие в деревню на выходной или на «лоно природы»! Боже мой! Что там тупой окурковский обыватель с его набожностью и пристрастием к жирным блинам?! Качается искусственная обезьяшка на резинке; зад машины в радуге ниток, на стекле что-то «по-гишпански аль по-аглицки» написано! За рулем не хозяин, а владыка! Рядом — владычица, надменно-презрительная ко всему идущему и ползущему, хозяйка, сзади — предки владык: теща или тесть с непримиримо горящим взглядом, выражающим непреклонность: «Да! Добыл! Сам! Вот этим горбом! Вот этими руками! Да! Драл с вас на рынке шкуру! И буду драть! И с меня драли и дерут!» И тут же детки — внучки с бантиками, этакие шаловливые, резвые, но часто уже в детсадовском возрасте понимающие: мое — это мое, и его беречь надо, наше — это наше, им и торгануть можно, выбросить, сломать, поджечь, как тайгу, например...

Какая мораль их ждет? Что двигать будет ими? При-

меры? Помыслы? Нравственные начала? Что же там под бантиками организуется? За что же мы боролись-то, друзья-товарищи? За этот вот — не мелко, а мелочно-буржуазный коммунизм с его «собачником»? Пока писал книгу — «собачники» устарели, в моде сейчас «типовые», двух- и трехэтажные сооружения, построенные, разумеется, на зарплату, — на клочке земли, с этой вот ухоженной машиной, ради которой наши советские люди могут вырубить и выкорчевать полтысячи и тысячу деревьев, а то и лечь в могилу, как это случилось года три назад в городе Череповце.

Один человек купил себе «жигуля». Деньги, судя по дальнейшему его роковому поведению, он не украл, не вызудил торгом, копил копейка по копейке, может, даже и в еде себе отказывал. И вот наконец она, долгожданная! Не мать, не жена — оранжевого цвета машина. Говорят, холил он ее долго, промасливал, просолидоливал, воском натирал, чебурашку повесил, радугу сзади изобразил, ободок у колес покрасил, все протер, вылизал — и поехал на Ленинградское шоссе прокатиться. Шоссе это чуть в стороне от Череповца, мало контролируемое, асфальтом, хоть и худым, закатано.

И вот — рок, судьба, недоразумение — как хотите, так и считайте. Через семь верст после череповецкого поворота шибанул в облизанные «Жигули» какой-то самосвал с заезженным, трудовым обликом и сношенной резиной. Шибанул, отвалил в сторону; шофер редкостной совести и чести оказался, да еще и трезвый. Нынче чаще утекают от пострадавшего водители-то, а этот бежит к «Жигулям» — что и как? Может, помочь надо? И опытным глазом определяет, что не очень уж все и страшно: разбил фару у «Жигулей», помял крыло, ну и еще кое-что потревожил — рублей триста-четыреста придется платить.

Да черт с пими, с рублями! Главное, человек, хозяин «Жигулей» цел и невредим, вылез вон из машины, в рубашке в чистой, в штиблетах, при галстукке — этакий типичный машиновладелец. Шофер самосвала бездомным кобелишком вертится вокруг хозяина «Жигулей», был бы хвост, так и хвостом вилял бы, бывает, мол, все бывает в жизни. Резина, понимаешь, лысая, так-то он разве б позволил? Да у него опыт. Замечаний по работе нету и чтоб за рулем выпить — ни-ни. Вот сейчас припрет ГАИ с «рапопортом» — он дыхнет, и все убедятся. Да что он, дурак,

что ли, чтоб при такой работе, да на таком шоссе, да при такой резине...

Хозяин «Жигулей» все молчит и молчит. Ходит вокруг поврежденной машины и молчит. И когда примчалось ГАИ да медицинская машина, да собрался разный народ, про хозяина как-то подзабыли, меряли, выспрашивали, записывали, истину устанавливали — хватились: нет хозяина. Ну, документы в машине, адрес есть, сели, поехали в Череповец.

Нашли: висит в собственном свежепокрашенном гаражке на перекладине, теплый еще висит, но уже не живой.

Вот до чего, оказывается, можно дойти! Вот они, страсти-то современные! Это вам не «три карты»! Это, братцы, стрессовое состояние, в какое попал Акакий Акакиевич, тот самый, с которого шипель сблочили и он не пережил страшной утраты.

Это какие же революционные, социальные и прочие бури пронеслись над бедным гоголевским чиновником, чтоб он из шинели да прямо в «Жигули»! Чтобы до такой вот формы «протеста» возвысился: из-за личной машины — в пеглю! Нет, мы все же недооцениваем, и очень часто недооцениваем, достигнутого и не умеем — правильно утверждают наши идейные наставники и критика наша — ох, как не умеем видеть социальные сдвиги в сознании современного человека. Вот пятеро-семеро молодцов, в школе учившихся, пионерские галстуки посивших, случается, и с комсомольским значком на борту замшевой или кожаной курточки, — падают на старика-инвалида, истопчут его до смерти или истычут ножами, а на вопрос: «Зачем вы это сделали?» — лупят глаза: «Не знаем». А какой-то студент Раскольников извелся, утравив топором вредную старуху процентщицу, эксплуатировавшую бедняков. В себе ведь копался, до сумасшествия себя довел, да и невесту тоже. Было бы из-за чего?! Главное: на допросах раскололся. Э-эх, тюха!

«Вам предстоит самое главное и, быть может, самое тяжкое — испытание вещами! И я не уверен, что вы его выдержите», — говорит бойкоязыкий и язвительный журналист нашему писателю Никитину в романе Ю. Бондарева «Берег».

Плохо, часто некрасиво, на уровне злого окурковского обывателя, а то и похеренного, уничтоженного словесно и физически деревенского кулака мы задерживаем это

испытание — слишком много золота на лицах и руках, особенно у торговых работников; оно обратно пропорционально количеству товаров на прилавке: чем больше золота у продавца, тем скромнее перед ним прилавок, бывает и вовсе пуст; слишком аляповаты, невкусны и дороги тряпки, слишком велика погоня за благами, любой ценой, любыми способами — увы-увы! — буржуазный журналист Дитц знал, что говорил, — он и его общество прошли через подобное «испытание», они сейчас уже дальше находятся. Я сам видел молодую буржуйку в стоптанных башмаках, потертом пальто и растрепанном полушалке, на кисти руки которой небрежно болталась змейка с жемчужными глазами и какими-то блестками по хребту, — по определению моего переводчика, змейка стоила сто или двести тысяч долларов!

У нас уже есть желающие иметь такую змейку и добиваются возможности завладеть ею, пути же к такой змейке еще не совсем проторенные, одни только пути — обходные, бесчестные, змеиные, подлые.

Никто почему-то не учит у нас вкусу, и много поучают, нудно, привычно, по старому и совсем уж одряхлевшему рецепту: воровать пехорошо, жить надо честно, праведно, уважать старших; но сами наставники и моралисты чаще всего и воруют больше других, и жрут из отдельного корыта, начисто отменяя ту мораль, коей пичкают людей с общественной трибуны. Ворюга, требующий честности от других, — это давнее, но не отжившее приобретение человечества в наши дни, бодро воспрянувший на нашей новой ниве. И ему, ворюге, позарез нужны честные люди, отряды честных и порядочных людей, высокая мораль, за которой он мог бы укрыться, как за крашенным забором, иначе, будучи вором среди воров, он с голоду подохнет и воспитывать ему будет некого.

Сейчас меньше дерутся, чем дрались, допустим, мы в детстве и юности: один на один, шайка на шайку — дуваю, не от смирения нравов — от трусости, но знаю, сейчас больше бьют исподтишка, бьют жестоко, увечно, на смерть, артельно одного, напавши сзади, — это ли не трусость, не подлость?! И что же мы — возмутились, поднялись, изничтожили молодых, озверелых от вина и паскудства гаденышей?

Нет! Во всех городах, где я бывал и где встречался с подобными «храбрецами», они чувствуют себя вольготно и, увы, нередко безнаказанно и, только попавши в коло-

нию, смиряют, выходят в «ударники», являются «образцовыми заключенными», учатся ремеслу, посещают вечерние школы и вскоре попадают в сословие условно освобожденных.

На воле же молодцов увещевают с помощью радио, телевидения, газет. Вот недавно смотрел я по красноярскому телевидению передачу «02». Уравновешенно прибранный человек в чине полковника вел эту передачу, и было в его словах столько умиротворенности, отеческого чувства, если не благодушия, — и как-то не верилось, что Красноярск был и остается одним из самых неблагополучных городов в стране по части покоя граждан. Исчезла вроде бы и Закачинская слобода, но шпана закачинская с неизменившимся обликом, сменив лишь телогрейку на нейлоновую куртку, все еще скорочет зубами в общественных местах, замахивается и бьет бутылками по головам неугодных ей граждан, «балуется» от веку ей привычным «струментом» — пожиком, и что ей тюрьма, колония — привычное прибежище и только. Главное для образцово-показательного зэка «выбиться в химию», то есть по существу стать вольным поселенцем и работать, как все советские граждане работают, только что-то там с него высчитывают в пользу казны, какой-то там существует конвой, режим дня, точнее, видимость того и другого. Снова «химик» живет в свое удовольствие, терроризируя целые микрорайоны, кварталы, а то и города, отравляя население, особенно молодое, крайней моралью: все дозволено — живи воровством, обманом, видимостью труда до следующего преступления — убийства, насилия, грабежа.

Если б хоть кто-нибудь взял труд посчитать, во что обходится нам один «химик» и вся эта «химия», без которой иные хозяйственники уж ни жизни, ни деятельности не мыслят. Даже не обладая математическими способностями, я могу сказать уверенно: 1+1! То есть один «химик» и одна загубленная жизнь случайного прохожего, чаще всего женщины, дитя, то есть гибель, растление, наплевательское отношение к жизни и смерти, тревога в обществе — что дальше? Ведь некоторые «химики» уже отработали по пять—семь сроков! Это сколько же слез, крови пролито? Сколько судеб сломано? Воистину мир еще не знал и едва ли узнает более «мудрый» и «простой» способ пополнения рабочего класса — чем больше головорезов, грабителей, убийц и воров, тем легче с «рабочи-

ми руками», тем скорее разворачиваются и воздвигаются «наши стройки», обернутые в застенчивую колючку и в паутину проволок, над которыми тупо возвышаются сторожевые вышки и гулко гавкают псы, наевшись того мяса, коего недостает не только рабочим и крестьянам, но и детям в детских садах.

Не раз бывая в судах и видя, как судья, общественный обвинитель, адвокат, пара охранников, секретарша и всякий другой штат «пасут» одного преступника, невольно я думал, что Богу им надо дешно и ношно молиться на него. Ведь сгинь, исчезни преступник и преступления — всей этой челяди придется заниматься воистину полезным трудом, может быть, даже в деревню возвратиться надо будет и растить хлеб, овощи, производить молоко, мясо, опустившись с вершин надменно-повелевающего кресла на низкую скамейку доярки.

Я пока не видел, чтобы хоть один судья добровольно сдал свой пост и уехал в родную деревню, на «простую» работу, как не видел и не встречал ни одного руководителя, который бы выложил партбилет на стол и заявил, что он с этой работой не справляется, просит назначить его на другую, по уму его и призванию, — цари, «не справлявшиеся с работой» и отрекшиеся от престола, вспоминаются ныне только в анекдотах, зато старая истина, что не было бы преступников, не было б и палачей — подвергается большому сомнению и справедливо трактуется даже наоборот; вообще, время наше многие, казалось бы, еще недавно пезыблемые истины, все более перетряхивает, как старую одежду, пыльную, битую молью лжи, обмана. Не доверие стало главным бичующим и в то же время врачующим правилом, может быть, и пороком нашего противоречивого времени.

Нельзя сказать, что литература наша «не заметила» и «не отразила» натиск хулиганства, бандитизма и нахрап частнособственника, на глазах производящий стремительное стирание граней между обывателем дореволюционным и нынешним, но делает она это заторможенно, лениво, часто подменяя понятия морали и духовные потребности любованием современным бытом обывателя, похлопыванием его по плечу, иногда легким зубоскальством, чаще же всего уводом и его, и себя от повседневности быта в сферы «побесные», заумные, далекие от бед и нужд собственного народа и страны.

Как старый и дошлый газетчик, я с точностью могу

сказать, что есть в стране не только сегодня, но как будет завтра. Если в газетах замелькали пространные сообщения о конкурсах балетных и музыкальных, если целые полосы сверстаны из материалов об отдыхе трудящихся, спорте, туризме, альпинизме и призывах сдавать нормы ГТО — значит, задействовал «громоотвод».

Так в шестидесятых годах родился знаменитый анекдот «Си-бемоль». Родился он якобы в Свердловске, но мог явиться свету и в любом другом нашем городе. В магазинах тогда было шаром покати, а в газетах сплошные речи Хрущева с бодренькими словами: «Живем хорошо!» и обещаниями скорого коммунизма (все сроки построения коммунизма, определенные покойным вождем-говоруном, давно вышли, мы этого как-то и «не заметили»).

Так вот, в Свердловске приедем людям можно было поесть только в одном месте — в ресторане гостиницы «Центральная» — соленую треску с луком. Жаждающих трески было много, столов мало, кухня одна. Часик, бывало, просидишь, пока исполнится мечта о треске. И вот, значит, сидят два гражданина за столом, жаждая разблюдовки, один вилку крутит, другой газету читает. В газете целые развороты о первом конкурсе имени Чайковского и такой ли тра-ра-рам, Ван Клиберн в профиль и анфас, Ван Клиберн за роялем и в обнимку с восторженными советскими слушателями; скрипач Климов со скрипкой и без нее; знаменитости, знаменитости, знаменитости! И вот тот, который читал газету в Свердловске, вдруг спрашивает у того, который вилку крутил: «Гражданин, вы не знаете, что такое си-бемоль»? И яростно ответил гражданин с вилкой: «С-суки! В стране мяса нет, а высь!»

Так вот, сейчас одна за другой появились книги, романы, повести с этим самым «си-бемоль», где есть все: и рассуждения об искусстве, и аристократический антураж, и космические взлеты в запредельность, чаще же всего — в самую заурядную заумь духовной напряженности, и некая размягченность морали и мускула от передания и пресыщенности. В то время, пока писатели толкут гулким пестом в литературной ступе, наяву, на глазах наших уходит повседневное и так необходимое в быту высокоорганизованного и сознательного существа, каким себя считает человек, творчество. Все эти нейлоны, поролон, кожзаменители, водолазки, колготки — которые не всем и «к лицу», зато их не надо ни чинить, ни гладить, иные, по дешевизне, и стирать не надо; все эти машины,

облегчающие быт; столовые, где невкусно кормят; бассейны, где гомозом купаются аллергичные дети; парки, где стадом гуляют; стадионы, где толпой, кучей одни бегают, другие «болеют», спуская «пары», моторки, корабли, «метеоры», «ракеты», многолюдные лайнеры, колоссальные магазины, дымные и шумные рестораны, санатории, дома отдыха — все-все, не говоря уж о казармах, больницах, тюрьмах, лагерях, — все-все словно бы специально создано для того, чтобы сгрудить, случить людей, сделать их массой, масса же всегда безлика, всегда она — стадо, стадно питающееся, стадно поддающееся движению, бегству, поклонению богам, неосознанному страху. В стаде идут туда, куда ведут, в стаде не обязательно думать о своих поступках и делах, да и не может быть их в стаде, поступков-то.

Никогда еще, никогда не был человек так несвободен и обезличен, как в двадцатом веке, в особенности в наши дни, на исходе века. Никогда еще не наваливалась на человека и так уверенно не завладевала им массовая культура, которая одолевала и одолевает его всегда во времена смутные, бедственные, тяжкие. Она, массовая культура, как окопная вошь, что грызет тело, но подтачивает душу: кино, телевизор, приемник, танцплощадка, спортзал, лекторское заведение — все-все создается для того, чтобы человек вкушал, что ему дают, учился тому, что вдалбливают в детских учреждениях, школах, в вузах, в училищах: раб времени, раб машин, раб обстоятельств, не умеющий распорядиться собой, даже если б захотел, человек наших дней уже не говорит, он визжит о своей свободе. Но счастье и свобода, по заверениям мудрого русского классика, как здоровье, — если их не замечаешь, стало быть, они есть, стало быть, и орать о них незачем. Правда, мутные времена мутят и самые вечные истины, толкуют их вкривь и вкось, смешивая черное с белым, и достигается таким образом какая-то мутная, скорее химическая, но не правдивая истина. И обескураженный, замороженный, по выражению Александра Николаевича, современный поэт ошарашенно восклицает: «Счастье! Сколько видов у счастья! Одним — это слава, муки творчества, другим — сердцами на доты бросаться, третьим — расстреливать эти сердца».

Поэт этот не был на войне, не успел, но я могу его и всех его сверстников заверить, что на доты бросаться,

умирать за Родину и свой народ — это печальная, пусть и понятная необходимость, но никакое не счастье.

Как все-таки надо свихнуть мозги людям, засорить их, чтобы не слышать кощунства в таких вот рассуждениях о том же самом счастье или идеалах, идейности, искренности, истине, свободе.

Не потеха ли?! Существо, которое не может вольно перейти улицу, только по указке палочкой, по намеченному переходу, тротуару, дорожке, иначе его попросту задавят; существо, отправляющееся на работу и с работы по часам, по часам и в срок служить, справлять нужду, любить, страдать; существо, потерявшее ориентацию, заблудившееся, неосознанно смешивает чувства, понятия, вопросы нравственности. Я встречал людей, которые совершенно уверены, что в том, как они живут, и есть истинная свобода, иначе и свободней никто-никто и никогда не жил и жить не будет, — они подобны тем пародцам, которые от рождения не едали молока и масла, считают, что и есть такой харч ни к чему, что баловство это и излишество. Правда, весом-то они тридцать килограммов вместе с башмаками и ружьями, умственные и физические возможности их насколько ограничены, что они по уровню развития снова приближаются к обезьянам, только воли гораздо меньше у них, чем у обезьян, делающих что им вздумается и живущих как им хочется.

Думаю, что свобода современного человека, которой он так кичится, вполне может быть смоделирована со свободой зоопарка и зверинца — там ведь, с точки зрения того же крикливого существа, именующего себя свободным человеком, зверям и птицам даже лучше, чем в лесу, в горах и в воде. Там их охраняют, кормят и даже способствуют размножению, только все это делается по указке сторожей и дрессировщиков, все достигается подачкой и кнутом.

Думаю, что «феномен», происшедший в нашей литературе и оказавший огромное влияние на смежные искусства и даже на некоторые умы, так называемая «деревенская проза» — это последний вскрик той творческой индивидуальности, которая была заложена в нашем русском народе, но так до конца и не реализованная из-за войн, бесправия, самодурства самодержцев и вождей, по нашей воле плодящихся и с нашей помощью превращающихся в культ личности.

Я не раз бывал в покинутых деревнях, заходил в разо-

ренные дома, и, скажу по правде, ощущения во мне были почти такие же, если не более трагичные, чем на поле боя после разгрома корсунь-шевченковской группировки, когда из-за трупов и военной техники не было видно земли, она вся была ими завалена. В домах этих уже побывали городские бракопьеры, охотники за иконами и «экзотическими» изделиями деревенских умельцев. Еще и еще раз я поражаюсь тому, как много должен был уметь крестьянин: срубить, утеплить, украсить жилище, обеспечить себя орудиями труда, уметь обходиться со скотиной и тяглом, знать погоду и причуды природы, быть хорошим воспитателем, борцом и творцом, дипломатом и хитрецом, хорошим мужем, хозяином, отцом, родичем, достойным членом деревенского общества и так далее. Он, крестьянин, был всегда занят, всегда в заботах и работах, это потому, не сами крестьяне, а те, кто «радет» будет за них и «освободят» их, назовут жизнь крестьянина кабалой и освободят от кабалы...

Так вот что же это мы, вчерашние крестьяне, освободившиеся «от кабалы», вдруг затосковали о прошлом, запели, заныли, заголосили о родном уголке, о сельском мире? Мы ж свободны! Достали справочки и мотанули из села, от коллективного труда, дали взятку местным властям за убеги в город, не вернулись из армии или из заключения в отчий дом, словом, правдами, чаще неправдами сменившие одно крепостное право на другое, на все сжигающую и пожирающую кабалу прогресса после деревенского «рая», кажущегося пределом сбывшихся мечтаний и надежд. Отбарабанил свою рабочую смену — и хоть трава не расти. Правда, «свободу, эту мы не знаем куда девать, оказались не подготовленными к ней и ударились в разгул, в пьянство, ухватились за то, что близко лежит и без труда дается, — жуем солому (так бы я назвал массовую культуру), да еще и облизываемся.

А ведь было, было! — твердит память. Поле надо вспахать, урожай вырастить, детей поднять, скотину сберечь и желательно поголовье приумножить, потому и трудились, и думали о труде, потом уж о праздниках, и песни слагали, и сказки, и пословицы о нем, о труде.

Чтобы рубаху сшить, надо лен вырастить, истрепать его, вычесать, потом нитки спрядь, желательно потоньше, потом полотно соткать, потом его раскроить, потом

иглой шить, да так, чтоб шовчик тело не тер, не пилил, потом узор вышить на рубахе, пусть и в одну или в две нитки, но если с любовью, то и в две нитки узор выйдет — глаз не оторвешь.

Чтобы обутки сшить, надо скотину вырастить, затем ее забить, обдрать, шкуру выделать, шерсть в дело пустить, кожу на раскрой, на сапожки, под каблук берестинку подложить — сухо и скрип на всю деревню.

А чтобы урожаем вырастить, огородину выхолить, сено наготовить, избу поставить — ох как много надо уметь, знать, стараться!..

Если хвастает ребенок перед отцом и матерью, то хвастает трудами своими, плодам своих трудов — хитро вырезанной чечей — игрушкой, шитым платьицем для куклы, загнутыми санками, сколоченными грабельками, склепанным стулом, ровню застекленной рамой. Сосед перед соседом выхвалялся не количеством опорожненных бутылок из-под бормотухи — резными наличниками на избе, рамой желобочной, кошечкой гнутой, упряжью в бляхах, уздечкой наборной, лошадю проворной, ловкими руками, споровкой, силушкой. А чтоб сила была, надо было хорошо кушать, чтобы кушать — старших слушать...

Даже веревку, чтобы удавиться, надо было вытрепать из конопли; соткать ее на своедельном станке, прогнать в «колибер» и смазать маслом или просмолить; оттого и давились редко, и жили долго — некогда было умирать крестьянину...

И пусть спорят со мной, пусть мне доказывают насчет крестьянского житья-бытья, его примитивного искусства нынешние «свободные» пролетарьи, и я им укажу на самое массовое искусство из всех искусств — кино. Что же оно так быстро выродилось-го? Что же оно занимается самопожиранием, агонизируя на наших глазах в грязи, пошлости, разврате, и зачем же, зачем же все-таки, презирающие мужицкий быт, его наземный дух, примитивное искусство, быт и нравы, зачем же шаритесь вы, веселые и беззаботные горожане, в покинутых избах ваших дедов и тащите в городские квартиры скалки, лапти, прялки, Божьи лики, изображенные на толстых досках, самовары-самопалы, подсвечники, братины? В модернизированных квартирах забиваете пластиковые стены нестругаными досками, прете в кухни деревянные скамьи?

Зачем? Почему? Неужто лишь ради забавы? Ах, если б это было так, то и говорить бы не о чем было. Но, мо-

жет, память болит, может, из этой самой «свободной» жизни тянет в ту, «кабальную» крестьянскую жизнь подсознательно, не умом, а самым чутким инструментом, названию которому — сердце? Может, сердце-то наше там и осталось, и оттого мы так бессердечны, так равнодушны ко всем и ко всему в этом чужом нам городе, в чужих холодных стенах, может, нам становится дороже та наша сельская несвобода, то наше трудовое и вечное жилье?

Недавно в одной полуразвалившейся вологодской деревушке последний здесь мужик, умеющий сделать топоры, заточить ножи и инструменты, подковать лошадь, застеклить окна, сметать стог, загородить городьбу, управлять коной сенокосилкой и с самими лошадьми управляться, принять роды у коровы, сбить печь, срубить баню, продолбить прорубь, выкопать колодец, «заговорить зубы» и остановить кровь, предсказать погоду, обмануть колхозное начальство, если потребуется, то и районное, — мужик этот, прошедший войну и все наши преобразования, показывая на одичавшие вокруг поля, лес и опустевшие деревни, убежденно и горестно сказал:

— Еще придут. Целину поднимать сюда придут. Жрать-то чего-то надо будет. И снова станут героически преодолевать трудности, жить в палатках, рубить бараки и временки, корчевать кустарники на заросших пашнях, вырубать леса, осушать болота... При-иду-ут, никуда не денутся. От земли не уйдешь!

Дорогой Виктор Петрович!

Человек предполагает, а издательство располагает. Я очень собирался к Вам в августе, но издательство требует, чтобы в начале сентября я сдал доработанную книгу, с которой у меня приключился казус. Я свалил в нее кучу статей, из которых, как мне показалось, получается книга о трех поколениях, и назвал ее «Поколения и судьбы». Так она попала в плац. Статьи-то были, но уж очень разноликие, особенно о первом поколении — об Инбер путная статья, о Шолохове — газетная, юбилейная, о Бедном — вообще экстракт из моей же книжки, сделанный для «Знамени» осторожными руками Л. И. Скорино. Мне-то показалось очень остроумным такое сочетание — пролетариат, крестьянство, интеллигенция, а когда прочел статьи, вижу: об интеллигенции спосно, о крестьянстве — один восторг, а о пролетариате — великая сушь. И надо переписывать заново. А тут еще, как назло, погода волшебная,

в голову ни одной мысли не лезет, до смерти хочется на реку. Честно высиживал с семи до часу, даже, скорее, отсиживал, думая об одном, кабы скорее вторая половина дня и можно бежать за подустами — клюют в это лето почему-то одни подусты. И очень хотелось бы вырваться к Вам. Но вряд ли это удастся раньше второй половины сентября, а тогда, небось, поздно будет?

Я даже не ответил Вам на то письмо, где Вы писали о тех, что «во глубине России». Кое-что почитываю. Идеи я этой не бросил и очень прошу Вас, как только выйдут «Сиб. огни» — пришлите мне, здесь, в Тарусе, где я их раздобуду? Если нужно, я потом верну эти номера. Я очень нуждаюсь в том, чтобы с Вами повидаться, очень.

Мои низко Вам кланяются и Вашей семье.

Ваш А. Макаров.

Я написал Александру Николаевичу письмо, в котором обращал внимание на тех писателей, живущих на периферии, о которых, на мой взгляд, стоило бы поговорить глубоко, дабы «открыть» их для широко читающей публики, да и для критики тоже. В письме, помнится, я называл Евгения Носова, Юрия Гончарова, Константина Воробьева, Василия Шукшина, Ивана Панькина, Владимира Сапожникова, Василия Белова, Виктора Лихоносова, Анатолия Ткаченко, Николая Жернакова, Аскольда Якубовского, Анатолия Знаменского, Виктора Потанина, Юрия Куранова, Леонида Пасенюка, Станислава Мелешина, и еще поэтов: Алексея Прасолова, Сергея Викулова, Александра Романова, Алексея Решетова, Леонида Решетникова, Михаила Асламова, Романа Солнцева, Михаила Воронежского. Список получился довольно внушительный, и Александр Николаевич посулился приехать еще и потому скорее на Урал, чтобы подробно поговорить обо всех перечисленных мною писателях, об их книгах, которые я знал и которые мог порекомендовать для прочтения.

«Вы тут пасуете мне своих дружков-приятелей! До конца дней с ними не рассчитаться! — посмеивался он. И уже серьезно добавлял: — А вообще-то это бесхозяйственность, безобразие! Такая серьезная литература вызревает в провинции, а мы на нее глазки закрываем! Да что глазки?! Не знаем ни черта, и я не знал бы, кабы не Вы...»

Понимая, сколь важное значение имеет попытка сделать такую большую и пужную работу, я всячески подби-

вал на нее Александра Николаевича, посылал и привозил ему книги и сам старался прочесть как можно больше книг своих периферийных товарищей, сокурсников по ВЛК и просто очно или заочно знакомых, почти неизвестных в ту пору писателей, как тот же Анатолий Ткаченко или Виктор Потанин.

Наконец из Москвы пришло сообщение: приезжаем тогда-то. Я жену под бок и скорее в деревню — подготовиться, подстрелить рябчиков, наловить рыбки, угоить избу. Дома строго-настрого наказываю дочери встретить Макаровых — выглядят они так-то, одеты в то-то, прилетят тогда-то.

И хоть дочь выросла, слава Богу, в незалитературенной, но все же в литературной семье, с нею произошел тот же казус, который мог произойти с любым человеком, имеющим стереотипное представление об артистах, писателях, тем более о критиках, да еще о критике столь известном (папа не в счет, папа — он просто папа, и только иногда, во дни торжеств или недоразумений писатель). Вот дочь и ожидала, что из самолета вывалится этакий двухметровый громилка, с тростью, в шляпе, в каком-нибудь манто и обязательно со вставными железными зубами. А уж жена у него — и вовсе воображению не поддающееся создание. И по этой самой причине она ни малейшего внимания не обратила на невысокого, мулатски смуглого человека, одетого, если издали смотреть, в солдатский бушлат, в кепочку, довольно поношенную, и на его усталую, радиобеседами, домашними делами и перелегом измученную жену. Сделать объявление по радио у дочери толку не хватило, и, потолкавшись в аэропорту, она ринулась домой, куда через полчаса, раздраженные, готовые все бросить и вернуться обратно в столицу, ввалились намотавшиеся по городу супруги Макаровы.

На пароход они в тот день опоздали, ночевали у нас. Дочь, исправляя свою оплошность, угощала их и занимала, и в конце концов они вдосталь насмеялись и над собой, и над нею тоже. А на завтра тепленьким, синим вечерком я встречал пароходик местной линии «Урал», еще издали увидел на носу стоящих, подзатерявшихся в толпе супругов Макаровых и сына моего с котомкой. Критик пытался напустить на лицо сердитое выражение, но мой кобелишка по имени Спирька так лаял и рыдал, приветст-

вуж пароход и всех людей, сходящих с него по гибельно крутому трапу, что не выдержал суровый критик, и, когда Спирька прыгнул на цего и пачал рвать когтями пуговицы на бушлате, как у ближней, самой дорогой родни, во все растаял.

Спирьке за преданность и требовалось-то всего ничего — кусочек сахару, сушка, пряник — он ничем не морговал и всякой подачке был рад и, получив просимое, еще долго, пока мы шли в гору, угадав сентиментальные души приезжих людей, возвращался с полей и уже грязными лапами пытался поцарапать им животы, и все попискивал и гавкал, выражая чувство восторга и самой что ни на есть активной приветливости.

Долго мы сидели в ту ночь за столом у керосиновой лампы, когда выгорел керосин, зажгли свечи — и не было конца разговорам и воспоминаниям. Как-то так уж получилось, что никто почти не касался литературных тем, и, отправляясь спать, Александр Николаевич удивленно произнес:

— Да как же это возможно?! Сидеть в деревенской избе, есть рябчиков, рыбный пирог, пить чай с душицей, есть рябиновое варенье и не говорить про литературу?! Не-ет, товарищи, так не бывает! Это все неправда. Я и не поверю до тех пор в реальность происходящего, пока не попаду на речку с удочкой...

Он еще долго не унимался, ворочался на раскладушке и в полной уж темноте читал и читал стихи.

Как он знал поэзию! Мне кажется, всю, какую возможно знать читающему человеку. Без разбора, вперескок: ранний Прокофьев и тут же Твардовский, Ахматова и Гумилев, и Клюев, и Брюсов, и Есенин, и Тихонов, и Луговской, и Павел Васильев, и Кедрин, и что-то из Гёте, и тут же озорные вольные ваганты, древние англичане, и Дант, и Петрарка.

— Сашенька! Да спи ты, спи! Устал ведь... — увещевала его жена.

А он:

— Вик Петрович! Марья Семеновна! Я вам еще не надоел?

— Да что вы! — пискнет Марья Семеновна, устряпавшаяся у печи и по дому. — Я могу слушать сколько угодно. Вот только вы-то...

— Ну, еще Блока! Без Блока невозможно!..

И Александр Николаевич читал Блока, много читал,

хорошо. Он его читал всегда и охотно и, узнав, что я да и Марья Семеновна плоховато знаем этого прекрасного поэта, подписал благодарному слушателю — Марье Семеновне — его двухтомник, который мы и храним до сих пор пуце глаза.

Уж паутре угомпились мы и подпялись поздно, когда деревушка Быковка жила своей, хотя и неходкой, но полной жизнью.

На речку рыбачить мы в этот день не пошли, а сходили за грибами за ближние, местами еще не убранные поля. Я нет-нет да и отдалялся от гостей, супружница же моя так и таскалась весь день за Александром Николаевичем, слушала его и паслушаться не могла. А он, пайдя благодарного и терпеливого слушателя, ошеломлял ее, и она, уже знавшая о феноменальной памяти моего друга, все равно была потрясена и долго еще твердила, да и по сию пору твердит:

— Такого человека, с такой памятью, с таким знанием поэзии и всякой всячины не встречала и едва ли еще когда встречу.

Я тоже не встречал и едва ли встречу, хотя до Александра Николаевича знал своего школьного учителя, затем сибирского поэта Игнатия Рождественского, который в трезвом, особенно же в нетрезвом виде мог читать стихи сугками. Зажмурит близорукие глаза, откинется на спинку стула и, чуть дирижируя себе левой рукой, шпарит, совершенно не интересуясь — слушают его или нет, да и читал он ровно бы для себя, неразборчиво и даже будго сердито.

Александр Николаевич кроме самих стихов знал еще много доступного и недоступного о самих творцах, кроме того, знал, когда построена пирамида Хеопса, в каком году кто и где царствовал, где или когда упал тот или иной зарегистрированный метеорит, когда изобретена печатная машина и кто был в любовниках у императрицы Екатерины Второй, а также кто учил Рембрандта живописи и что крикнули моряки, увидев берега Америки, когда произошло первое крещение на Руси и кто защищал тот или иной редут при обороне Севастополя, мимоходом где-то и когда-то прочитанные трогательные и наивные надписи на могильных плитах и часто повторял: «Ах ты, матушки мои!» Позднее я узнал от него же, что эта строчка из стихотворения Демьяна Бедного, поэзию которого Александр Николаевич знал довольно хорошо, ценил

ее за народность, что не мешало ему насмешливо относиться к торопливым, неряшливым творениям старейшего советского поэта и в особенности к тому, как он тузился выглядеть солидным литературным вождем и как это нелепо, порой и трагично оборачивалось для него самого, а значит, и для окружающих.

Во время обороны Одессы издавалась газета для войска, героически обороняющего город, и последнее время эта газета печаталась в Москве, откуда самолетом доставлялась в Одессу. Живучи далеко от Черного моря и худо себе представляя, что там творится, старый поэт тем не менее считал возможным поддержать советских моряков и бойцов стихами, в которых были строки: «Всех румын переколотим, ах ты, матушки мои! Всех фашистов в море сбросим, ах вы, батюшки мои!»

Пока газету доставляли к морю, Одесса была сдана, газета с этими бодрыми стихами досталась румынам, и они, рассказывал Александр Николаевич, потешаясь, читали их по всему городу. Сам Александр Николаевич всю войну работал в журнале «Краснофлотец», там-то и узнал эту историю, и, чего в ней прибавил для смеха, мне уже не узнать, но восклицание: «Ах ты, матушки мои!» — неизменно звучало и в быту, и по телефону в доме Макаровых.

По литературной Москве одно время ходил веселый анекдот о том, как Александр Николаевич насмерть разбил одного воинствующего графомана из бывших «сильных мира сего».

Сотрудники журнала «Знамя» долго не могли втолковать графоману, что нет у него данных для поэзии, что стихи он писать не умеет. Но толковали неубедительно, робко, и графоман осаждал «Знамя» все настырней, пока его не сплавляли к замредактора Макарову.

Прочитавши добросовестно целые «портянки» стихов, Александр Николаевич поинтересовался: «Можно начистоту?» — «Дуйте!» — разрешил графоман. — «Это рифмоплетство. Такие стихи можно писать сколько угодно». Гость поймал Макарова на слове: «Вот и напишите!» — «Пожалуйста!» — ответил Александр Николаевич и взял несколько листов бумаги. «Только тему я сам придумую», — наседали графоман. — «Это еще даже лучше и проще». Эх, не знал графоман, что за отсутствием материалов и авторов в журнале «Краснофлотец» приходилось порой

Макарову делать журнал от корки до корки, писать и передовицы, и рассказы, и стихи.

Графоман барственно указал заму главного редактора в окно, выходящее в узкую щель Гнездииковского переулка, и потребовал описать стихами то, что видно.

Через полчаса в руках графомана было три страницы стихов, написанных к тому же в форме сонетов. Графоман прочел, и дух у него занялся: «И вы!.. И вы такие стихи не печатаете?!» — «Да Боже меня упаси!..»

Графоман забрал свои бумаги, надел каракулевою папаху, удалился, и более его ни в одной редакции не видели.

Мне порой хотелось приподнять кепку на совсем необъемистой голове Александра Николаевича и заглянуть под нее — что там? Как устроено-то? По каким таким чертежам и законам? А под кепкой была обыкновенная чернявая голова, уже круго присоленная сединой, голова, приставленная к совсем не богатырскому телу, но в теле этом (мне не раз предстоит еще убедиться) — крепкие духовные устои, сильный мускул нравственности, чистое, хотя и страдающее сердце — от непонимания или бессилия и невозможности жить и работать так, как хотелось бы самому художнику.

Назавтра мы наконец-то выбрались на рыбалку. Нет, пожалуй, не выбрались — ведь выбираются из города: сперва на автобусе, затем на электричке, затем на пароходе или «ракете», затем еще на чем-нибудь, после пешком километра три-четыре, и — о блаженство! О счастье! Слава Создателю! — можно и удочку в воду закинуть.

В Быковке рыбалка пачишалась за огородом, прямо от пашей баши, которая стояла в углу огорода, на склоне холма. К этой поре, правда, харьюзка в речке Быковке осталось мало, и Борис Никандрович Назаровский, старый просмешник, как-то, хлебая уху в нашей избе, сказал, показывая ложкой в окно:

— Со временем на этой избушке появится мемориальная доска следующего содержания: «В речке Быковке водилась редкостная рыба — хариус, последнего из которых выловил живший в этом доме защитник природы Астафьев».

Но смех смехом, а водохранилище нарушило нерестилища хариуса. Осенями его, хариуса, скапливающегося в ямках и не знающего, куда катиться, нещадно выбивали, загоняли в саки, да еще явились с какой-то химией «рыбаки». Хариус из тех рыб, что от любой ядовитой приме-

си может задохнуться на всем протяжении речки и даже реки, как это случилось в вологодской реке Кубене. Кроме того, не имея возможности уйти в глубокие водоемы и оставаясь в мелких речках зимовать, хариус задыхался от толстых наледей, примерзал ко дну, придавленный льдом, если и сохранялся на ямах, жадно брал на любую приманку с голодухи и его, бесхитростного, выдерживали зимой удочкой от мала до велика.

Наловил я тогда на ушку хариусов. У нас с женою было в верховьях речки постоянное кострище, и мы иногда после города или трудов праведных позволяли себе «выходной» — уходили на целый день в лес, на речку, и, пока я шарился по кустам, ловчась наловить хариусов в недоступных омутках и перекатах, жена разжигляла костер, чистила картошку для ухи. И на этот раз мужчины занимались добычей, женщины калякали да двигались вверх по речке, к кострищу. Александру Николаевичу никак не удавалось поймать хариузка, и он все поругивался: «Ах, каналья! Изловлю ж я тебя, изловлю!..»

Речку я знал до последнего камешка и кустика, знал и рыбный омут, где подмытая ива упала вершиной в воду, но не умерла, а еще пышнее, гуще сделалась, и речка, огибая ее и проросшие со дна побеги, сделала большой крюк, вымыла яму в песке и гальке — и тут всегда, даже в зимнюю пору, стояла стайка хариусов. И под другим бережком клубилась красноватая полоска мути — там, в затени, беззвучно втекал в Быковку ключик-кипун, в верховьях кипуна трудились бобры, делая запасную потаенную плотину. Появилась на Быковке семья бобров всего два-три года назад, но понастроила уже много.

— Попробуйте-ка здесь, — посоветовал я гостю, и он, присев под зонтики пышно цветущих медвежьих пучек, меж карандашно заструганных резцами бобров осиновых пеньков, забросил удочку, и через минуту я услышал восторженный возглас:

— Пойма-а-ал! Пойма-а-а-ал-таки! Знай нас, калязинских!

Хариузок ему попался с карандашик величиной, но юркая эта рыбешка так красива, так ловка в воде и хороша в ухе, что еще долго, пока мы шли к кострищу, Александр Николаевич прищелкивал языком и говорил:

— Вот угру я нос московским рыбакам! Вот угру! А что это, Вик Петрович, за пеньки такие аккуратные и на речке что-то вроде запруды?

Когда я, невольно приглушив голос, сообщил о таинственном поселении зверьков, Александр Николаевич аж просиял лицом:

— Да что вы говорите? Сохранились?! — И всю дорогу до кострища был оживлен, хотя и сильно устал. Но когда посидел у костерка, поел ушки (ел он хорошо, бережно, видно было, с детства приучен уважать пищу), да выпит был еще чекапчик под разговоры и закуску, оживился критик:

— Ну что еще пужно человеку? Горы, леса, костерок у речки, котелочек ушицы па четверых — и вот и все. И больше ничего не требуется для покоя и счастья. А мы суетимся! А мы суетимся!.. Вот послезавтра уезжать. Почему? Зачем? Нет, Вик Петрович, хочешь не хочешь, приеду, на месяц, на два приеду, и не прогонишь...

Назавтра я читал в избушке только что написанную повесть «Где-то гремит война», еще «не обкатанную», недовыправленную. Слушали гости и хозяйка хорошо, повесть тронула их. Александр Николаевич даже сказал, что он о военном тыле что-то и не припомнит подобного.

Я нуждался в ту пору в поддержке, ибо жил и работал весьма одиозно, и вот получил ее, такую необходимую поддержку.

Денек побыли мои гости в городе. Я им показал все, что достойно в Перми показывания, и с грустью, которую потом Александр Николаевич счел за недомагание, проводил дорогих гостей обратно, домой в столицу. И ровно чувствуя, что никогда уж более ему не бывать па Урале, куда заносили его в юности житейские ветра, с неохотой, с душевной смутой покидал он пермскую землю, не досмотрев, не надышавшись, не набродившись, даже не наговорившись «до отвала», и все грозился:

— Ужо, ужо вот я соберуся, не рады будете...

Дорогой Виктор Петрович!

Писать-то мне, в сущности, еще нечего, просто что-то я забеспокоился о том, как Вы себя чувствуете? Стал что-то для памяти записывать и вдруг сообразил, что в последний день Вы явно как-то перемогали себя, таскаясь с нами по Перми. У меня тогда в башке мельтешило одно, что вот, вот скоро ехать, а ехать не хочется, и я как-то не обратил внимания, что хозяину неможется, а сейчас вот мысленно очутился у Вас и по-иному все увидел.

Мы еще никак не освободимся от Ваших лесов и Бы-

ковки, хариусов я явно преодолел, все вижу тот бочажок — почему-то все так зримо отпечаталось в памяти. И до отворачивания не хочется входить в московскую жизнь. Вчера весь день пролежал, перебирал все пути-тропинки, сегодня ходил на ВЛК и опять по тем же тропкам. Словом, пока еще живу в двух мирах, и призрачный пока торжествует над реальным. Валя Португалов¹ Вам кланяется.

Моя Наталья Федоровна уже погрузилась в московские заботы и пропадает где-то на радио, ужасно хочется есть, и брат на кухне варит макароны. Но что такое макароны по сравнению с ухой из хариусов и рябчиками, приготовленными Марией Семеновной... Вы, друзья мои, даже не представляете себе, что значило для меня гощенье у вас. После этой поездки мне захотелось жить и подумалось, что жизнь еще не кончена. Обычно же осенью, когда приходится осесть на московской квартире, именно жить-то и не хочется. Вот так.

Прочел две повести Ал. Мих.² Со Святославом очень здорово. Прямо-таки убедительно. Он мне сказал, что я узнаю, если прочту, кто автор «Слова». Я все ожидал, но только не такой эмоциональной неопровержимости откровения.

Хорошо было бы, если б в октябре Вы остановились у нас, а то ведь если Вы поселитесь в гостинице, Вас и не затащить, будет какой-то, в лучшем случае, ответный визит. А мне не визит нужен, а Вы. Вот возьму и напишу Марии Семеновне, что за Вами в Москве нужен глаз да глаз...

Ждем Вас к себе.

Приписка жепы Александра Николаевича, Натальи Федоровны.

Дорогой Виктор Петрович!

Спасибо Вам за все, за ту минуту, когда Вы нас приняли в свои объятия со страшного пароходного трапа, за те разговоры, что Вы вели в Вашей хижине, под которые я грезил. Клянусь Вам, за много лет я впервые оттаяла от тревожений, что крутили душу нещадно и больно, отпустила боль, и я покатила в сон-грезу, и было мне легко!

Многому поучилась я у Машеньки! Хорошо было так

¹ Покойный поэт Валентин Португалов, бывший в ту пору зам. директора ВЛК.

² Алексей Михайлович Домнин-Пермский, прозаик и поэт (род. 24. 10. 1928 г., ум. 12. 07. 1982 г.)

смотреть и впитывать ее манеру чистить картошки, укладывать картошку так изящно в банку, мешать дрова в печке, рассказывать о жизни, улыбаться людям, волноваться. Можно было подумать, что я ничего не умею, а я училась — и преуспела. Надеюсь много перенять для себя.

Низко кланяюсь Вам и Машеньке. И сердечные приветы Андрею и Ирине — милые они ребята.

Наташа.

Несколько замечаний по «Где-то гремит война».

Как ножом по сердцу, что Шамов не погиб. А потом начинаешь думать: ведь еще только 41-й год. И Левонтьев Санька в Клину под Москвой. А Шамов уж додумался до похоронной, до того, чтобы бросить жену с детьми. Такое обычно делали лишь в конце войны, когда она к концу подходила и в тылах или при начальстве зажирались. При отступлении вряд ли загадывали прожить. Подумайте. Не слишком ли быстро он разложился? Может быть, сказать, ловкач, мол, один из первых додумался. Может быть, действительно была ложная похоронная, а он воспользовался? Не знаю, но прояснить как-то надо. Иногда тому, что бывает в жизни, поверить трудно в повести.

Об Алешке Вы говорите много и часто. Но странно, что мать Августа ни разу не вспоминает о нем в разговоре, о Вашем-то друге детства, о своем сыне. Неужели она не вызвала его, когда такое горе, не побывал он у нее. Надо объяснить и еще мелочи: «Не возьмешь Чапая!» — не надо «вбитые в детстве лозунги». Это и так понятно. Назойливо это подчеркивание, не нужно.

По-моему, надо оставить в сцене в шорнической после горбунов и калек и «всякие эти вот, как их?» — то есть скопцы. Может, и не лег-то он к стене из брезгливости, хотя и не надо этого, конечно, подчеркивать. Кстати, там это не совсем понятно, думаешь, что лег, а он печку подтапливает.

Очень вял абзац с Феклой Юшковой, какие-то информационные слова.

На стр. 56 длинные абзацы про Алешку. «Оказался глухонемым? Слово бы наследственное от пьяницы-отца? Но раньше же говорилось, что он иконостас на себя уронил. А то, что он учится в школе глухонемых, я уже знаю. И опять непонятно, почему Августа позвала не его, а героя, ведь Алешка же ловкий парень. И почему она не помнит о сыне пиде, о том, что хотя бы мясца ему послать?»

О китайцах я оставил бы все, за исключением последнего абзаца о доброй памяти и что мы дураки.

В целом же очень здорово, очень, и заглавие — тю-телька в тю-тельку, вот именно: «Где-то». Умница Вы! Если будет возможность, выверите в верстке некоторые фразы на слух, попадаются кое-где беззвучные какие-то.

Ваш А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович!

Очень хочется поболтать с Вами, но дал себе зарок не писать, пока не появится рецензия о «Краже». И лишь сейчас сообразил, что ведь можно просто подождать отсылать письмо: О «Краже» я успел написать раньше, чем получил Ваше письмо, где Вы даете мудрый совет! Не писать о Вас, поскольку Вы избалованы, а писать о других, более достойных. И уж ничего нельзя было воротить. В «Литгазете» повесть прочел Б. Галанов (я ему дал № 9, у них его еще не было) и выразил свое полное удовлетворение. Но, как это всегда бывает, рецензия лежит набранной уже две недели, все обещают. Написал я не так, как бы хотелось — газета есть газета, дают пять страничек, но ничего, я еще наверстаю. Лишь перечитывая повесть, я понял, почему она не прошла в «Новом мире». Ой, не потому ли, о чем Вам говорил лукавый Ал-др. Григ.¹ В «Знамени» же просто дураки и лентяи, вроде нашего милого Ив. Тим. Козлова. В этом меня убеждает и то, что кому ни дашь, всем правится. И дочери моей Аннете, и ее мужу, и Евг. Фед. Клипович, которая тоже написала маленькую рецензию для «Москвы», в подборку новогоднюю, что-то вроде «Интересная книга года». Не «Кража», а подборка. Встретил Л. Н. Фоменко, и та предложила немедленно написать что-нибудь для «Лит. России» и тут же сказала: «Хотите, подскажу? В «Сиб. огнях» и т. д. Я до того смешался, что даже не ответил сразу, что не могу — она поймала меня в двери, из которой я выходил, только что поправив гранки. Как говорится: «Ну вот и все, а ты боялась». К сожалению, пока только кулуарно все, и мне уж хочется скорей огласки — все под Богом ходим...

Что же это Вы, молодой писатель, так неосторожно обращаетесь с дорогим пам Павкой Корчагиным и раздражаете товарища Трегуба? Он, можно сказать, всю жизнь посвятил тому, что Островским и Маяковским, как

¹ Александр Григорьевич Деметгьев, бывший в ту пору первым замом главного редактора «Нового мира».

оглоблями, всех молодых по головам колотил, а Вы это оружие пытаетесь из рук выбить. Нехорошо, ма-алодой ч-человек! За это по мордасам можно получить. Вот и получили. Кстати, не можете ли Вы, когда поедете в Москву, прихватить с собой эту Вашу предосудительную речь, напечатанную в молодежной газете?¹

Вот уж две недели наверху идет какой-то семинар. О нем Вы, паверное, читали в газетах, но что там говорится — пока тайна².

Вчера, в воскресенье, была встреча деятелей искусств с участниками совещания. Я оказался в числе немногих приглашенных и помчался даже не как приглашенный, а как оглашенный. Оказалось, что это не они, а мы должны были их увеселять. Первым выступил И. Андронников и рассказал сотни раз мною слышанный рассказ об Остужеве. Потом Бор. Смирнов говорил, как он работает над образом Ленина, и тут я ушел, увидев, что к выступлению готовятся какие-то два баяниста, а Мих Ив. Жаров подозрительно пощипывает галстук, словно горло прочищает.

Был в РСФСР семинар — встреча с молодыми члена-

¹ Не речь, а ответы на вопросы, заданные читателями пермской областной молодежной газеты «Молодая гвардия». Снова буря в провинциальной посудине, подобная той, что поднялась после статьи «Нет, алмазы на дороге не валяются». И статья «Нет, алмазы на дороге не валяются», и «ответы» включены в мою книгу публицистики «Посох памяти», и потому я здесь не останавливаюсь подробно на прошедших «пронисшествиях». С. Трегуб был рад любой возможности «заступисься» за Павла Корчагина, улотребить его в качестве дубины, как сказано в письме А. Н. Макарова, вот он с радостью и набросился на провинциального безвестного автора в «Комсомольской правде», заранее зная, что сдачи не получит. И до того Трегуб и ему подобные доусердствовали, что многие читатели совершенно смешали прообраз героя с образом писателя, и очень подозрительно, даже неприязненно относятся читатели к тем писателям, которые «выдумывают» героя.

С. Трегуба понять можно: всю жизнь человек питался покойным Островским, всю жизнь, как поется в плохо переведенной шутливой детской песенке: «Сидит дятел на березе и долбит своя нога», но как изжить упрощенное восприятие литературы и, в частности, восприятие литературного образа и прообраза?

² Александру Николаевичу нравился один анекдот тридцатых годов, рассказанный мною, и он часто вспоминал его в разговорах и в письмах.

Идет один мужик по улице деревни вечером, усталый, злой, голову опустил. Соседка картошку копает — и с вопросом: «Ефим! Ефим! Откуль ты такой заезженной?» — «С собрания». — «Эво, эво! Да оно вроде с петухами дачалось, а сейчас вон уж лампы зажигают. Голодный небось?» — «Голодный. И табак кончился». — «Эво, эво! Дак об чем было собрание-то?» — «Так нашему брату, простому человеку, и скажут, об чем оно было!»

ми Союза — поэтами. Пришлось участвовать, и не жалею. Прочел две книжки томича Вас. Казанцева с большим удовольствием, вот уж не думал, что в наши дни может появиться поэт-импрессионист, ни на кого не похожий, разве чем-то на Фета.

Вот и все мои подвиги. Потихоньку подчищаю книгу, сдам к первому обязательно — надоела она мне, и хочется приняться за повесть.

После поездки к Вам у меня как-то улучшилось настроение и даже песвойственная мне наглость появилась — ну, мол, вас всех на ..., буду писать что хочу. Вот надо-го ли? И уже сейчас оговорюсь: конечно, не что хочу, а о ком хочу — это все-таки осторожнее.

Наташа прочла Ваши «Окопы»¹ и вот уж два дня о них только и говорит. Восторги ее мне кажутся подозрительными, но Мария Семеновна может быть спокойна, я стою на страже ее интересов, а не Ваших. Жену же я убеждаю, что Вы коварны, как Ваши харьюзы, ныне подкатившиеся прямо к Вашим хоромам, что пишите Вы хорошо исключительно для того, чтобы заманивать женщин в свои сети... Книпович правится, Фоменко тоже, Искра Денисова в восторге, ну просто первый парень на деревне!..

Что же касается Ваших недугов, то мой братец уверяет, что он Вас в три приема вылечил бы, что он действительно в свое время со мною и сделал обыкновенным вкальванием пенициллина. Правда, у меня эта пакость только начиналась, но с полгода я мучился. Он говорит, что у них в армии только так и лечили. А Вы не пробовали?

Воробьева еще не прочел, прочел пока лишь первую повесть — мне понравилась, и думаю: он мне пригодится не для большой статьи. Правда, он не совсем самостоятелен — в сценах первых напоминает его Матвей шолоховского Пантелея Мелехова, от пейзажа тоже веет шолоховским. Впрочем, по одной повести судить рано, и я надеюсь дочитать книжку до того, как смогу отправить это письмо.

Вчера выпал снег и лежит сейчас. Стало светлым-светло. Вот у Вас небось здорово. Почему-то первый снег, как и первая капля, отдают грустинкой. Вот там, за окном, все переменялось, а ты все такой же и сидишь, как пес на цепи, легонько поскуливая. Собрался на праздники в Тарусу, хотя бы в гостиницу, а тут ленинградцы требуют,

¹ Книга рассказов «Поросли окопы травой» (М.: Сов. Россия, 1965).

чтобы 10-го был у них на семинаре или на круглом ли столе, где будут обсуждаться проблемы о рабочем классе. Отказался, так они в ЦК пожаловались. И вот 2-го опять будут звонить. Ну ей-Богу, не занимает меня эта тема вот ни столечко, и не верю я в такие романы ничуть, и своего дела по горло. А ведь поехать — педеля будет выбита, да еще после педеля будешь приходить в себя, в норму. И никак не объяснишь нашим писателям, что и критик — человек, и у него могут быть свои интересы. Только и слышишь: «Ну что вам стоит написать...», «Ну что вам стоит выступить».

Вот и попыл.

Был в четверг на редколлегии «Лит. газеты». Саша (Чаковский. — В. А.) сообщил в последней речи Демичева на семинаре, но как-то бегло и вразброд.

Единственное, что я запомнил, это что надо вести дело на консолидацию, а у нас есть журналы, которые ведут на расхождение. Что ж, в этом он прав — мы сейчас между двух огней: с одной стороны «Новый мир» с его «ужасающим» либерализмом, с другой «Октябрь» с «китаизмом» (тем, о котором Белинский говорил). Впрочем, по поводу новомирцев тоже можно вспомнить того же Виссариона Григорьевича: «Разум дан человеку для того, чтобы он разумно жил, а не для того, что он неразумно живет».

Вот во вторник в «Знамени» Вадим (Кожевников. — В. А.) как раз и собирается нас просветить, как разумно жить, докладывая все о том же семинаре, и просветятся «ум и сердце мое». То-то! Вам-то, небось, хорошо там по первой пороше бродить, «со веча пороша выпадала хороша...» Ружьцо за плечи и в тайгу. А тут один зверь — телефон, аки скимен некий, кого поглотити...

Не везет нашим женам (а может, нам?). Вот Мария Семеновна болела, а теперь у меня Наташу хватил какой-то спазм, уложили в постель, ноет, что не может работать... Ныла-ныла и вчера тайком выбралась в какую-то школу на беседу, а вечером стало хуже, ночь целую провозился, и ясно стало: ни выходить никуда ей нельзя, ни в Тарусу на праздники не поедешь — лежать человеку надо. А тут еще мои «молодые» задумали пятого свадьбу справлять, после того как восемь лет прожили. У них негде, значит, будет у нас. Бог знает что.

Воробьева прочел, я, конечно, не совсем прав. Уже конец повести о ровеснике — по-своему и крепко сделан. Хороши рассказы. Вообще, этого человека, видимо, креп-

ко коллективизация по сердцу переехала. Мешает некоторый провинциализм. Ну разве можно портить такой жестокий рассказ, как «Сипель», таким сентиментальным концом? Женщина все простила, это, конечно, тоже мысль, но она вторая и заслоняет первую в разборе судеб, и получается ни то, ни другое. Но, конечно, писатель настоящий, без дураков.

Слава тебе, Господи — вот и можно отослать затянувшееся письмо.

Поздравляем мы Вас и Марию Семеновну с наступающим праздником! Желаем здоровья — а все остальное само собой придет. Кланяемся дочери и Андрюше. А еще Мурашу и Спирьке.

Ждем Вас в Москве — вчера получил гумагу, что он, пленум, якобы будет двадцать второго.

Ваш А. Макаров.

Дорогой мой Виктор Петрович!

Совершенно очевидно, что между нами образовались какие-то симпатичные нити. Вот Вы простыли, и я простыл. Ну Вы-то хоть по сибирям в ботиночках щеголяли, а я-то ведь в валяных туфлях дома сижу. После Вашего отъезда я все еще раскачивался и никак не мог раскачаться, потом все же сел за статью. Сначала не ладилось, а потом пошло, и в такое я настроение пришел, как вдруг — хлоп — нытье в животе, пополам согнуло, один врач говорит — следствие гриппа, другой — отравление — сам черт ничего не поймет. Наташе вставать нельзя, валяемся два чурбана, а тут еще внезапно редактор мой; она наконец-то отредактировала книжку, сделав в ней пятьдесят—шестьдесят стилистических помарок (надо сказать, что в этом отношении моя редакторша золото), но как бы они незначительны ни были, но править-то надо, а заодно, читая, еще сам целый ворох найдешь описок и недомолвок, и вот я, корчась, правлю, а дочь клеивает да подпечатывает, а врачи то и дело то ко мне, то к Наташе, а из редакции звонят — сдавайте скорее, план и т. д. и т. п. Словом, полный трам-тарарам. Мне думается, и обострения-то у меня всякие пачались от этой спешки да оттого, что оторвали от дела, как только оно вдруг оживилось. А теперь попробуй раскачиваться снова. Да у меня еще флюс был, щека раздулась так, что Ваша простуда против моих болезней слабак. Но вообще-то Вы, конечно, сумасшедший парень, чтобы сибиряк да в Сибирь зимой в боти-

ночках — это уметь надо форсировать. И писколько мне Вас не жаль, а жалко Марию Семёновну — ох пелегко, видно, быть женой Виктора Астафьева.

Книжку свою я все же дорубал. Жаль только, что пришлось листа три снять — уж очень превысил запланированный объем. Сегодня отправил и надеюсь, дня через два опять засяду за статью, пишется разгонно, все это еще, правда, черпювик. Так мне хотелось кончить к январю, а теперь вижу, дай Бог, к половине января дотяпаю. А уж что получится, Бог весть, только и «Ясным ли днем, или ночью угрюмою...». И пока махнул рукой на всякие злоещие слухи, что поползли по Москве, будто бы и то нельзя, и этого нельзя, и про культ нельзя, и вообще про все нельзя.

Встретил, когда еще ползал, в поликлинике Якименку — он говорит — ну знаете ли, а что можно знать, если никто ничего не знает. Собирали несколько критиков в «Правде», а я, к сожалению, был не в состоянии и пойти, была Евг. Фед.¹, но, к сожалению, она уехала в Переделкино, а я остался без информации, что, как известно, мать интуиции, она, правда, мне звонила и сказала, что все было очень хорошо, только ведь Евг. Фед. моих, как она говорит, «любимчиков» Александра Трифоновича да Конст. Мих. (Симонова. — В. А.) терпеть не может. А с последним помером «Нового мира» были какие-то неприятности, то ли вынимали, то ли вырезали какие-то Костины дневники военных лет с нынешними комментариями. В чем там дело, ей-богу, не знаю. Только незадолго перед этим мне позвонили с телевидения и предложили выступить с Симоновым и задать ему несколько вопросов — эдакое интервью. Я согласился, только сказал, что пусть сам Симонов эти вопросы и придумает, он сам знает, на что ему хочется отвечать. А потом вдруг все замолкло. На вечере Тихонова, куда я имел честь быть приглашенным в президиум, я спросил Костю, буду я его допрашивать аль нет, на что он мне загадочно ответил: «Я, Саша, отказался. То, что хотят, чтоб я сказал, я уже давно сказал, а то, что хочу сказать, не могу сказать».

Стояли они вместе с Трифоновичем в кулуарах, а когда президиум отправился торжественно на сцену, оба куда-то смылись, должно быть, кирять. Впрочем, я не особенно

¹ Евгения Федоровна Книпович; Макаровы жили в одном с нею доме на Хорошевском шоссе.

доискиваюсь, что да как, пожалуй, только зря в панику упадешь, а так, глядишь, перемелется, мука будет.

Да, говорил я с редактором Госполитиздата о том, почему бы им Вас не издать, но у них новые правила, надо, чтобы было для них специально написано, вероятно, для Вас это не составило бы труда — накатать такую брошюрку листа на три-четыре о человеке, о природе, что-то вроде расширенного предисловия к «Следу человека», разбив всякого рода примерчиками. Только это уж если очень деньги требуются. Потому что чем больше я думаю над Вашими писаниями, тем больше прихожу к выводу, что не надо Вам тратить время попусту — пишите как хочется, и побольше пишите, м. б., даже поменьше ездите на всякие совещания. У Вас сейчас самая пора, и не упускайте времени. В ваши годы у меня лихо писалось, а вот как подкатило к 55-ти — сил-то и не хватает, с утра садись, думаешь, горы сворочу, ан стр. 3—4 накалякал и выдохся. А раньше по пол-листа, бывало, строчил за один присест.

Нет, я не думаю, что Малюгин заподозрил нас с Вами в какой-то непорядочности¹. Он, конечно, был, возможно, обижен тем, что Вы не зашли, поскольку он Вас разыскивал. Скорее всего, его смягчению были причиной те самые новые указания, о которых по телефону мне ему, знакомому человеку, говорить было неловко, а я еще об этом не знал. Уж наверняка «Роман-газету» на будущий год нацелили на одни восторги.

У Наташи уж тоже после редактирования сняли два рассказа как слишком мрачноватые, что у нее новый приступ вызвало. Но, кажется, она у меня все же налаживается, может быть, даже мои животные боли послужили для этого стимулятором. Ваши дифирамбы ее сердцу так ее разжалобили, что она заплакала. Она у меня близкослезливая. И, конечно, Вы — единственный, кто ее понял.

Ну вот пока, кажется, и все.

Кланяются Вам и Толя, и Ашпета, и Юра, и Карай.

¹ Виктор Малюгин — редактор «Роман-газеты». Речь идет о публикации «Кражи» в «Роман-газете». Но сквозь тогдашнюю редакцию, а скорей всего, сквозь тех, кто направлял ее и управлял ею, повесть так и не прошла. Многие годы не пропускали меня и моих сотоварищей по литературе в это массовое издание, кивая туда, «наверх», мол, «оттуда не велят», — это не всегда было правдой. Пример тому — всюду и везде было решено опубликовать в «Роман-газете» повесть «Последний поклон» и везде утверждено. Вся редколлегия и редсовет «за», один голос против...

Обнимаю и целую Вас. Марии Семеновне пизко кланяюсь. Ее медведь, как Вы верно заметили, достойно украшает наш телевизор, только вот осыпаться начал, бедный. Наташа, поскольку малость оклемалась, пишет ей чего-то сама.

Привет Андриюше и дочке. И погладьте Мураша, ну что Вам стоит.

Ваш А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович!

Когда поедете на пленум, прихватите для меня рукопись новой повести — мне до зарезу нужно.

Будут ли ее печатать в «Молодой гвардии» в № 12? Если будут, я бы мог попросить верстку у Искры. А вдруг они там отложили.

Привет от Наташи. Кланяемся Марии Семеновне.

А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович!

Только вчера к вечеру дозволился Малюгину. Неутешительный был разговор. Он, кажется, очень обижен, что Вы не встретились с ним, и звонок мой прямо как оскорбление принял. Я, говорит, звонил ему в «Москву», а его не оказалось. Мне надо было с ним поговорить. Я говорю, скажите мне, что и как. Нет, отвечает, мне с ним самим надо поговорить, сейчас у нас много дел, вот разделаемся, и сам ему напишу. Не любезен и официально сух. «Знаете, у нас сейчас... вот мы тут обсуждаем...» и т. д. и т. п. И, по правде говоря, я почувствовал, что сейчас им Ваша повесть («Кража») — «не к масти козырь». И так подумал, что ведь в этом году они ее не дадут уже, а в будущем, в будущем, наверное, «Чапаева» будут перепечатывать. Или дадут от каждой республики по повести, или еще что-нибудь в этом роде. Сейчас ведь в одну линию уперлись, даже точку. «Повесть-то, — говорю, — ведь очень хороша». — «Угу, — мычит. — Это ваша статья о ней была в «Л. Г.»?» — «Моя». — И тут наступила пауза, значения которой я так и не мог понять. То ли она означала: понимаю теперь, почему ты звонишь, то ли еще что-нибудь... Оба молчим. Потом я уж просительно так: «Но, может быть, Вы сами ему напишете?» — «Да-да, — обрадовался он. — Напишу». И таким тоном, лишь бы развязаться. На этом и развязались. Невезучий я в этом отношении, как вяжусь что-нибудь «пробивать», обязательно погорю. На душе муторно. Речь ведь не только о повести, но и о над-

вигающихся на нас юбилейных годах, которые подавят празднословием. А тут еще вечером пришлось идти в Дом дружбы на вечер Чаковского, делать вступительное слово. И опять, как же пойдешь? Учились вместе, и зла он мне не делал. Обижать отказом вроде не за что, да и ссориться совсем уж ни к чему, все-таки живем по принципу: ты мне — я тебе, у него газета.

Ночью спилось, что пришел в Союз, а там «Новый мир» обсуждают. И мне очень хочется попасть на это обсуждение (во сне ведь всегда наоборот). А мне говорят, что обсуждать будут только секретари и мне не положено присутствовать... Дальше вообще началась какая-то чепуха. Встал утром, «на улице сырость и слякоть... И грустно, и хочется плакать, и некуда силы девать». Впрочем, так у Блока, а у меня только слякоть, и на улице, и вместо сил. Не хватает мне Вашей крепости характера, да и вообще Вас в нашем доме сейчас не хватает, только и слышишь: зачем рано уехал, да вот бы еще что-нибудь рассказал. Наташа Вас ругательски ругает за то, что Вы какие-то чепуховые рассказы Ваших друзей слушали, вместо того чтобы по редакциям бегать и с начальством заигрывать. До того все уши прожужжала, что напомнил ей мою старую эпиграмму (собственно, под Курочкина):

Когда вырастешь, поймешь
Без особенных абстракций,
Всех порогов не объешь,
Особливо у редакций.

Очень она меня всегда утешала, но ведь это так о себе думалось, а вот когда о другом — обидно.

А с Люкиным у меня ни хрена не вышло с повышением тиража — бумаги нет¹.

Ну, хватит хныкать. Надо держать хвост пистолетом. А может быть, лучше «по ветру», а?

Кланяемся мы с Наташей Марии Семеповне. Вам шлют приветы мои ребята и Толя, который уже мечтает, как он поедет харьюзов ловить (он ведь мечтатель). На рыбалку мы, конечно, так и не выбрались.

Обнимаю Вас. А. Макаров.

А съезд-то уже перенесли на 21-е мая. Но, надеюсь, Вы до этого будете в связи с «Мол. гв.» в Москве и уж,

¹ Александр Люкин — горьковский поэт, учившийся на ВЛК в семинаре Александра Николаевича. Александр Николаевич очень любил его короткие, умные стихи, собирался писать о нем. Вскоре после окончания ВЛК Люкин трагически погиб.

конечно, у нас, а не в каких-нибудь гостиницах Переделкиных.

ПО «ЯСНЫМ ЛИ ДНЕМ»

Стр. 10 — «вызывать из нее ригу». Так говорят? Я не слышал. Все говорят — «ездить в ригу».

Стр. 18 — неподходящий абзац о казармах и муштре. Никогда не пройдет. Мож пройти разве лишь после манифеста 1905 года, между 1905 и 1912 годом. Ни в какие другие времена. И не надо дразнить редакторов, вызывая в них неприязнь к себе, ибо каждый редактор читает рукопись автора с почтайной мыслью: «Этот человек пришел меня погубить».

Стр. 24, строка 3 — «Вселял в них лучшие надежды» (я лишь как пример привожу эти слова). Нет-нет да и мелькнет где-нибудь вроде этих банальных вселяемых лучших надежд. При перепечатывании Вы сами заметите, где голос стукнет по пустоте.

Стр. 27 — пасчет начала, что ожидает увидеть Серг. Митр., я все убрал бы. Вы все строите на контрасте — ждали, мол, оперного начала, а выскочил комсомолец. Но, во-первых, этих филиппик Вам никогда не пропустят, а во-вторых: без сравнения, как ни странно, получается страшнее, хотя и как бы безобиднее, просто «в машину запрыгнул» (один в Вашу пользу это «запрыгнул») молодой парень, а как вдумашься, ой-ой, именно обыденность-то, а не контраст с воображаемым, страшна.

Так что, как видите, замечаий немного.

В этот раз я был в Москве довольно долго и все время жил у Макаровых.

Еще в первый день, когда мы сидели в кабинетике Александра Николаевича, все так же неприбранном, с густым, тлелым запахом бумаги, заметил я на стеколке стола запись. «Все и все, кого любим мы, — есть наша мука» — Бушин. А ниже — мелко, стесненно и все же явно не только «для себя»: «Но люди, которых люблю я, так же должны понимать, что они не одни...»

Записи Александр Николаевич вел нерегулярно, стеснялся их, затасканную клетчатую книжечку упрятывал подальше, а тут вдруг так вот «откровенно» — на виду, и я подумал, что в доме Макаровых сделалось все еще болезненней и запутанней, пытался развеять подавленное состояние друга рассказами о Быковке, «сказочками» —

все шло мимо, и тогда я сам, как-то незаметно для себя, перешел на «серьезное». С собой у меня было письмо читательницы, и я прочел его Александру Николаевичу:

«...Я самый свободный тип человека. Нет у меня ни государственной важности работы, есть с кем оставить детей, нет личных творческих дел, а служебные можно без труда потеснить... Да беда в том, что остальные-то трое из семейной «четверки» живут по иным «параметрам». Отсюда и сложность. Всегда жила и продолжаю жить по законам сердечной привязанности, чутко отзываясь на доброту, на желание разделить печаль или одиночество.

Но с годами стала анархистом, схимником. Схима непонятна окружающим, раздражает их. Уж в этом году решаю не делать вечера по рождению, боюсь своим «упрямым» видом огоршить и огорчить гостей. Вот недавно мужу сорокалетие справляли, так упрек заслужила, невесела, дескать. А смеяться и радоваться на людях я или отвыкла, или боюсь неправды. Это скорей всего.

Такими сложными кружевами плетется истина — «радиус добра не безграничен», не всеобщ. Никто по-настоящему не понял ни единого поступка, ни единого слова, и люди невиновны в этом, за их восприятием стоит собственная дорога, философия, правда, судьба, все то, что резко разграничивает людей. Как это больно! Все отдано этому постижению законов, по которым люди живут и складывают свои привязанности, антипатии, ничего в жизни не сделано из того, что ценится на рынке. Ни карьеры нет, ни положения (мать его!), ни другого чего весомого, ни дневников детям, ни архива, в коем сохранился бы путь твой жизненный хотя бы на одну тысячную, хоть бы на грамм. Себя узнаю только в старшей дочери — переняла мой характер и мироощущение, и оттого будет вечно печалиться и не находить друга по сердцу.

Служба же ближнему, верная и преданная, тоже как-то выглядит страшно. Вот оно, «кривоничейное пространство», вычисленное, видно, в математике, да в жизни такое близкое и бесконечное. Сдается, что мир и антимир совсем рядом, ибо не единожды воскликнула душа по-есенински: «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..

А стихов не пишу, литературу не марая, и откладывается все это на центральной нервной системе. Выхода более ни в чем нет. Работа моя ежедневная: с массами, наводит только на крайние выводы, очень и весьма пессимистические. Какая наивность — посягать на человеческую

природу и пытаться уменьшить количество зла внешним путем, когда не вооруженным никакою теорией, а только житейской практикой видно, сколь неподатлив человек и сколь он пег. И что у всякого человека есть судьба — тоже решено, хоть на плаху за аксиому эту, ибо сколь ни пыталась изменить свою линию, свою дорогу, сделать по меркам соседей, захватить чужой логики — не вышло.

Есть твердые, кем-то обоснованные законы, где жизнь моя обозначена неведомой мне формулой, изменить которую человек не в силах. Так мало стала читать литературы — не верю ей. А иногда она лечит. Когда выписана кровью и замешана на твоём личном опыте. Спасибо Вам за правду. Хочу читать Вас...»

Какое-то время Александр Николаевич, не шевелясь, лежал на подушке, смотрел мимо меня, в окно, потом, не меняя позы и не отрывая завлажневшего взгляда от окна, думая о чем-то своем, вздохнул:

— Какая умная и страдающая женщина. — И вдруг встряхнулся: — А каково-то с него мужику, а?

— Оборони Бог! — рассмеялся я.

Александр Николаевич поднялся, прошелся по комнате и дотронулся до моей головы:

— Дорожите, Вик Петрович, такими читателями, дорожите! Она, эта вот дамочка, конечно, черт знает что такое, но умна, умна! Вот для умных-то и пишете, и не опускайтесь до дураков. Это, конечно, очень трудно. Очень! И страшно. Да что же делать-то? Взяться за гуж...

Одним вечером показывали по телевизору футбол. Я — неисправимый болельщик футбола и хоккея, конечно же, отправился смотреть игры. Смотрели вместе с Толей, дергались, орали. Александр Николаевич подсмеивался над нами, Наталья Федоровна удивлялась:

— Господи! Вот ненормальные! Ну что вы нашли в этой игре?

— И вообще — это психоз какой-то! — иронически и чуть презрительно заявил Александр Николаевич.

— Не пренебрегайте, не пренебрегайте! И не считайте футболистов и хоккеистов чем-то таким дремуче-отсталым, лучше послушайте, как о них пишут в газетах.

Та газета у меня не сохранилась, но в большинстве своем оды и хвалы, в них содержащиеся, односложны, поэтому я процитирую пусть и более позднюю, но мало чем от других отличающуюся. Называется она без излиш-

ней застенчивости, с полной уверенностью, что так и только так, а не иначе должны воспринимать ее советские люди: «Любовь, которой все покорны». И начинается со слов: «Расскажу о любви к хоккеистам. Не к хоккею, а именно к ним, к хоккеистам». Статья большая. Всю ее мне не хватит места пересказать, и, хотя писана она газетной прозой, звучит, как придворная ода версальского пиита, прославляющего самого сиятельного, самого прекраснейшего из Людовиков-королей. «Он небольшого роста, работает на стройке, взял отпуск на время чемпионата. Каждый день приезжает. Скажете — «фанатик!» Нет, не фанатик. Нормальный парень, скромный, застенчивый, шайб и клюшек не клянчит, провести на хоккей не просит. Просто любит он этих людей... И видеть их — для него счастье».

«В хоккейном доме тихо, уютно, светло и очень добро. Да, добро. Здесь все, как говорится, свои. Здесь, как в доброй семье, где знают — у отца или у брата трудная работа. Комнаты, в которых они живут, большие, в них пахнет весной. Под окнами поля, они уже проснулись, дышат. Рядом березовая роща, пока еще обнаженная, звонкая поутру, прозрачная, стыдливая... Играют в шахматы, в домино, на бильярде: Михайлов — Харламов, Паладьев — Ляпкин... Хорошо живут — можете поверить на слово, спокойно живут, дружно, мирно. Все у них есть... Все их любят. Особую заботу о сборной проявляют — кто бы вы думали, кто? — туляки! Прислали свои знаменитые тульские пряники, учредили свой приз за первую шайбу... У Волчкова теперь шикарный тульский самовар, словом, любовь. В хоккейском доме как дома. И это уже забота Петра Алексеевича Севонкина — шеф-повара санатория в Архангельском. Там, где жили хоккеисты сборной, там все их вкусы знают, потому и приехал он со своей бригадой — поваром Анастасией Петровной Рыбаковой, кондитером Верой Григорьевной Луценко и официанткой Ниной Александровной Бакуниной. Выдал мне Петр Алексеевич тайну — оказывается, наши хоккеисты ужасные сластены, любят сладкие булочки, пирожные, бисквиты... Ну и, конечно, как настоящие мужчины, хороший кусок мяса... Сегодня они поедут на автобусе... Их будут узнавать люди на московских улицах, им будут желать победы, их будут провожать тысячи... нет, миллионы людей!»

Повторяю, я сам, заядлый болельщик, читаю «от корки до корки» «Футбол — хоккей», есть и кумир у меня

в хоккее — Александр Мальцев. Но все же оборву цитаты из журналистского перла, принадлежащего перу М. Марина, напечатанного в газете «Советский спорт», уж в ту пору, когда по всем почти провинциальным городам, в том числе и областным, стало плохо с продуктами, десятки тысяч мешочников, осаждавших тогда нашу столицу в поисках харчей, осаждают ее и по сию пору, в рабочих столовых нечем кормить людей, сельские магазины пусты, руководители областей и районов головы ломают над тем, как прокормить детей в детсадах, больницах, санаториях, на многих заводах открыты магазины и ларьки, чтобы рабочие могли время от времени приобрести продукты. А тут бойкий бумагомаратель с захлебом пускает паточную слюну, или совершенно не зная, как живут люди в стране, или цинично и безголово насмехаясь над ними.

Повторяю, большинство статей и заметок о спорте и выдающихся спортсменах такого же примерно содержания, но я не случайно выбрал для цитирования ту, где поминаются и восхваляются столь радушные и душевные туляки.

На Высших литературных курсах учился вместе со мной писатель Иван Панькин, автор славной повести «История одной жизни», многих совершенно прелестных детских сказок и «Тульских сказов». Приехал он на эти курсы из Новосибирска. Там он работал на заводе, там, будучи рабочим, и писать начал. По национальности он мордвин, но еще в раннем детстве осиротел, покинул родные края и чего только не изведal, в каких «палестинах» не побывал! Мальчиком выступал в качестве акробата в цирке, затем ушел юнгой в заграничное плавание, долго был моряком, воевал на фронте. После демобилизации изведal массу профессий, и вот потянуло человека к перу, к бумаге, талант его был крепок, голос свеж, выдумщик он и рассказчик совершенно очаровательный, а вот в жизни человек беспомощный.

В семье у него двое детей: сын и дочь. Сын у него заболел такой болезнью, что в Сибири ему нельзя было жить, и после окончания курсов поселился Иван Панькин в Туле, соблазнившись близостью Москвы, где в издательстве «Детская литература» его охотно привечали и привечают, и еще тем, что в Туле есть свое издательство — и тень великого Льва Толстого витает над этой землею.

Тень-то там витала и витает, но вот в местной писательской организации царит толстокнижная, угрюмая се-

рость, которая утверждать себя умеет только с помощью горлохватства, подсиживания и поедания друг друга. Сокурсника пашего начали есть и травить уже за одно то, что он талантлив и независим в суждениях. Он поступил работать редактором в местное издательство, сразу и охотно воспринял и полюбил местный трудовой народ, его славу и причудливую историю, его приверженность к «рукоделу», и, когда поручили Ивану писать какую-то очередную историю оружейного завода с перечислением его заслуг и патриотических начинаний, Иван Панькин вместо книги, которые обычно никто не читает, кроме директора завода, парторга и руководящего состава предприятия, взял да и написал «Тульские сказы». И какие! По своей народности, мастерству они, беру на себя смелость заявить, нисколько не уступают сказам Лескова. В этих сказках Иван Панькин делает то, что вообще в литературе редко кому удается сделать, в современной тем более, — он создает образ оружейного мастера Тычки, которого и туляки, и все читающие воспринимают как подлинного, реально существующего. Образ этот укореняется в быту, начинает расселяться в народе в виде изделий из дерева, керамики, в рисунках, в масках, в празднествах. О нем читают вслух за семейным столом, со сцен клубов, уже и без упоминания автора...

А между тем автор, который работает столь мучительно и тщательно, что в год ему удается напечатать один-два рассказа в три-четыре страницы, бедствует в полном смысле этого слова, и лишь несколько друзей, да и те живут в других городах, поддерживают его, да еще, тогда здравствовавший, стоит на своем и всячески опекает своего редактора и талантливого писателя директор местного издательства Николай Владимирович Виноградов.

Дочь учится в школе, сын в музыкальном училище оказывается самым одаренным музыкантом. Парня рекомендуют в консерваторию, единственного из училища за многие годы, — и сын Володя с блеском сдает экзамены в консерваторию. Ему нужен инструмент — скрипка. Как Ваня искал и покупал скрипку — отдельная и очень трогательная новелла. Мы, друзья Ивана, помним, чтим его за талант и порядочность, а в Туле он ходит в... дурачках.

Ваня рассказывал мне, как однажды по редакторской работе его вызвали в обком и местный деятель начал над ним насмехаться, унижать его. «А я гляжу — на столе у него Тычка стоит, из корня сделанный, в виде чернильни-

цы, и говорю ему: «Вот вы надо мной измыиваетесь, а на столе-то у вас мой Тычка стоит...»

Так и покотился со стула дуболом-деятель от смеха, слова не может сказать, только тычет в Ивана пальцем и заикается: «Тыч... Тыч... Ты-ы-тычка-а!»

А уж как пойдет, как повалятся камешки на бедного Ванюшку...

Шел съезд писателей СССР. Много нас, бывших курсников, собралось в Москве. Панькина, конечно, нет. Не выбрали его на съезд. Если бы и наметили выбрать, обком не утвердил бы, ибо рекомендовали съезду ту самую толстокнижную серость, которая любить умеет и ревновать не смеет, среди которой оказался и будущий злобный эмигрант Анатолий Кузнецов.

Но мы-то на что? Друзья-то?! Собрали деньжонок, трабах их телеграфом в Тулу. Ночью является наш Иван, плачет, обнимает нас. Смотрим, полысел, руки трясутся, глаза как-то неладно бегают. Достали мы Ивану гостевой билет на съезд, пошли в Кремль. Он костюм новый надел, галстук повязал, трезвый сидит, торжественный.

По поэзии доклад на этом съезде делал Сергей Сергеевич Наровчатов, который тогда же, прямо с трибуны, объявил, что заработок прозаиков у нас равняется 60—70 рублей, заработок поэта 40—50. Надо учесть, что в эту раскладку вошла и группа высокооплачиваемых старейших писателей, заработки же иных провинциальных писателей, знаю я, нищенские и жизнь их нищая. У того же Ивана Папкина в голой малогабаритной квартире сгнили матрацы на койках, не было постельного белья, не каждый день и еда на столе бывала...

И вот, значит, говорит секретарь правления Союза писателей СССР тов. Наровчатов с высокой трибуны о литературе и мимоходом повторяет, что если бы литературу, особенно поэзию, не засоряли разные там Петровы, Сидоровы, Ванькины, Панькины, то она и была бы на других, более крутых высотах...

Заплакал наш Ваня: «За что он меня, ребята, а?»

И сколько мы ни говорили Ивану, что это всего лишь ораторская метафора, вскользь упомянутые безымянные фамилии, первыми попавшиеся в голову докладчика, что его, Ивана Папкина, Наровчатов не имел в виду, что ни сном ни духом о нем он не ведает, скорей всего, и не читал ни одной его строки, — ничего не помогало: убитый, растерзанный, со слезами уехал в Тулу бедный Иван.

Местные гаденыши из писателей, кто со смехом, кто так, давай травить мужика пуще прежнего, и дело кончилось тем, что однажды поутру пришел Иван Панькин к зданию КГБ и спросил у вахтера, здесь ли сейчас самый главный начальник? Вахтер ответил, что самый главный начальник еще почивают, но к девяти или к десяти утра непременно изволят быть.

В каком-то отделе КГБ попал Ваня на внимательно-го и доброго, видать, человека и сообщил ему, что давно уже все кругом говорят, будто он пикаким моряком не был и даже моря в глаза не видел. Ну ладно, писатель никудышный, как утверждают в Туле, может, и хозяин дерьмовый, погуливает, а дома часто жрать нечего и имущества шаром покати, но моряком-то он был, у него даже фотография, одна-разъединственная, правда, но сохранилась, он еще юнгой когда был, снимался. «Конечно, тут парень красивый, в кудрях, на меня уже мало похожий, но это я, ей-Богу, я! А соседи за стеной вот уж которую ночь кричат: «Не был он юнгой! Не был!..»

Ивана Панькина определили в больницу, подлечили. Дочь его вышла замуж. Сын окончил консерваторию, сам писатель получает пенсию. Обкомовского деятеля, что травил Ивана, давно выперли с руководящего поста, примерли или присмирели злобствующие графоманы с билетами членов Союза писателей. Все как будто наладилось, но сколько острых осколков ранило сердце талантливого человека! Угасло его вдохновение, потускнела, примолкла буйная, цветистая, через край быющая фантазия. Однако как в ту пору, когда задавливала нужда, и теперь, когда жить ему полегче, Иван не ударялся и не ударяется в литературную халтуру, не отдает в печать сырой, десятки раз не переписанной, до звона не отделанной строки.

Он настоящий работник в литературе, не опускающийся до сиюминутного успеха, до быстро проходящих, столь соблазнительных благ, и этого ему не может простить посредственность, которую мы часто, в особенности в провинции, охотно плодим, затем благодушно журим и равнодушно терпим.

Когда я поведал историю Ивана Панькина Александру Николаевичу, он долго взволнованно ходил, да не ходил — метался по своему кабинетику, в теплых козых носках, в валяных чувяках, и все восклицал:

— Да что же это такое! Да что же это такое! Вот уж

воистину бедному Вапшшке... И Сережа, Наровчатов-то! Он же и не знает... Не-ет, ребята, надо о вас писать, надо открывать литературную Россию...

И тогда же поделился со мною замыслом будущей работы, пока еще приблизительно спланированной: первая статья обо мне, вторая — о поэтах Люкине, Василии Казанцеве, Владимире Жукове или Валентине Сорокине, которого А. Н. Макаров выделял среди курсантов и дружески к нему относился, затем снова о прозаиках, хотя и молодых еще, но уже «состоявшихся», — о Юрии Казакове, Георгии Семенове и о Викторе Конечком или о ком-нибудь из этой «когорты».

— Ну, а потом и до ваших дружков доберуся, обретающихся там, во глубине России. Ох доберуся! Мне бы только оклематься маленько, с текучкой разделаться и пописать, в охотку пописать, не подешину бы эту треклятую тянуть. Надоела она мне, ужасно надоела! Так хочется пописать для души, в собственное удовольствие.

Но пока собирался Александр Николаевич и готовился к этой работе, шла жизнь, формировались писатели, рушились судьбы или воскресали из нетей выдающиеся писатели, такие как Булгаков, Платонов. Здесь попутно мне хочется рассказать еще об одной судьбе крупного современного писателя, того самого, которого Александр Николаевич в одном из писем назвал писателем настоящим, без дураков, — о судьбе Константина Воробьева.

Конечно же, судьбы человеческие — они каждая сама по себе, хотя живем вроде бы сообща и все у нас должно быть общим. Судьбы писательские и вовсе прихотливы. На моем веку произошло немало блистательных, шумных восхождений на вершины, где уж одно только сияние, благоухание, восхищение, поклонение, и вершина эта оказывается столь заманчива и удобна, что сиднем сидит на ней обласканное повоявленное творческое диво и совсем уж не видит, что делается вокруг, в особенности у подножия вершины — кто там копошится, зачем копошится и куда это все спешат — на работу, что ли?

Однако есть писатели, напоминающие мне старательного и умного пахаря, что встает до зари и без шума, гама, показной активности, молодеческой стати делает свою трудную работу.

Но случалось и, как ни горько признавать, поньше еще случается, что судьба такого вот скромного труженика не только в повседневной, сложной жизни, но и в литерату-

ре проходит незамеченной, даже после смерти втуне остается выдающееся дарование — это вроде бы при всеобщем-то, заинтересовавшем внимании к современным нашим творцам?!

Такой вот укорный пример нашему творческому коллективу и многохвалепому читателю — судьба писателя Константина Воробьева, которого граждане наши, даже много и внимательно читающие современную литературу, по сию пору путают со всеми Воробьевыми, кои были и есть в литературе, но чаще всего и совсем не знают. Упомянешь его на встрече, назовешь в числе выдающихся русских советских писателей — недоумевают читатели, пожимают плечами или изумленно спросят: «Да уж не тот ли это Воробьев, что написал «Убиты под Москвой», «Крик» и еще что-то?» «Тот-тот!» — скажешь, и непременно последует: «Это ж замечательные вещи!»

Вот так: знают книги, знают повести, но не знают автора! Тоже феномен читательский, тоже загадка, и загадка тем удивительней, что не только читатели, но и многие, так сказать, «собратья по перу», «работники одного цеха» — мало или совсем не знают творчества Константина Воробьева. Однако не было еще случая, чтоб, отрекомендовав кому-то книги моего пыне уже покойного товарища и собрата по войне и работе, я услышал бы: «не понравилось», «не показалось». Наоборот: всегда письменно или устно благодарили меня читатели за то, что «открыл замечательного художника, к стыду моему, как-то пропущенного...»

Печататься Константин Воробьев начал в середине пятидесятых годов, сперва в провинции, затем в Москве, и не где-нибудь, а в «Новом мире», где появиться в ту пору мог писатель не просто сложившийся, но и владеющий «крепким пером».

Он долго и трудно шел в литературу, его рукописи громили московские рецензенты в журналах и издательствах, громили беспощадно, изничтожающе — я потом узнал их, этих «закрытых» рецензентов, — громили они и меня, и в конце концов убедился, что это в большинстве своем несостоявшиеся писатели-теоретики, все и вся знающие про литературу, но не имеющие писательского дара.

Чтобы существовать самим в литературе, кормиться — им падо было оборонять себя и свое утепленное место, и в первую очередь обороняться от периферийной «орды», от этих неуклюжих, порой угловатых и малограмотных,

но самостоятельных и упорных, жизнь повидавших мужиков. Имеющие за плечами институтское или университетское образование ретивые литературоведы, подобные некоему Дажигу из «Красной звезды», какое-то время успешно справлялись с нашим братом, сдерживали на «запасных позициях», но, когда их «скрытая оборона» была прорвана, они взялись трепать нас печатно, и доставалось нам все больше за «натуралистическое видение жизни», за «искажение положительного образа», за «пацифизм», за «дегероизацию», за «окопную правду», которую один, ныне уже не процветающий писатель назвал «кочкой зрения», хотя сам «воевал», между прочим, в армейской газете и что такое окопы — представлял больше по кино и по наградным реляциям, кои изучал вдали от боев, в штабах, а туда их посылали с передовой ротные «писаря» — в нашем дивизионе это делал мой друг Ваня Гергель, — для большего веса и важности сочиняя подвиги и в меру своей не очень цветистой фантазии всячески приукрашивая наш моральный облик.

В особенности доставалось за окопную правду, за «натуралистическое» изображение войны и за искажение «образа советского воина» Константину Воробьеву. Но у периферийных писателей той поры, в первую голову у бывших фронтовиков-окопников, а не у тех, кто мешками проливали кровь в газетах и после войны сумели доказать доверчивым читателям, что именно там, в газете, и была настоящая, самая страшная война, в конце концов образовалось своего рода товарищество, которое, как правило, начиналось с переписки, с заочного знакомства. И мы прекрасно понимали и были единодушны в том, что, когда читателя долго кормят словесной мякиной, пусть она, мякина, и о войне, — у него, у читателя, появляется голодная тупость и малокровный шум и звон в голове.

Читая послевоенные книги, смотря некоторые кинофильмы, я не раз и не два ловил себя на том, что был на какой-то другой войне. (К. Воробьев уверял меня в том же.) Да и в самом деле: как иначе-то думать, если вот под песню «клеп зеленый» воюют летчики, даже не воюют, а выступают на войне: «Парни brave, brave, brave!..» И так вот красиво выражаются: «Война — дело временное, музыка — вечна!» — И-и... взмах руки: «Кле-он кудрявый!..» — летят вверх эшелоны, цистерны, — «рас-кудрявый!» — и лупит в хвост удирающему фрицу краснозвездный сокол, аж из того пиротехническая сажа и ки-

ностудийные клочья летят! Еще раз: «Р-раскудр-рявый!..» — и в землю врезается бомбовоз, разбегаются ошеломленные враги, все горит, все бежит, — и как-то в кинотеатре я тоже заподпрыгивал на сиденье и в ладоши захопал вместе с ребятами школьного возраста — до того мне приглянулась такая разудалая война.

Или вот еще: смертельно раненная девица поет романс: «Ах, не любил он, нет, не любил он...» — и палит из автомата по врагам, палит так много, что уж в рожке немецкого автомата не сорок, а тысяча патронов должна быть, — это она под романс-то, «красивая и молодая», заманивает фашистов в темь леса, на пемипучую погильель.

Но там, на некипошной войне, на настоящей, дяди баскетбольного роста, со штангиста Алексеева телосложением, раненные в живот (редко кто с этим ранением выживал), криком кричали «маму», безбожники — Боженьку кликали и, уж срамотища сплошная, — доходило до того, что умоляли: «Добейте, братцы!..»

Конечно, при подобном, до конца так и не избытом «творческом климате» и чудесах искусства и литературы, писателям вроде Константина Воробьева было тяжело жить и работать, и не надо изображать дело так, будто у ворот Союза писателей, у парадного подъезда, под вывеской «Добро пожаловать!» — с утра и до вечера стоят Марков и Михалков с хлебом-солью и трепетной ладонью глядят молодые дарования, умиленно повторяя: «Проходите, пожалуйста!»

Повторяю: у даровитого человека судьба была, есть и будет отдельная. У да-ро-ви-го-го! Возьму на себя смелость заявить, что у Константина Воробьева не только жизнь, но и творческая судьба была не просто отдельной, но исключительной.

Примерно к середине шестидесятых годов творческое братство писателей-фронтовиков, быть может, и неширокое, но стойкое, приобрело уже заметные очертания. Бывшие истинные вояки, пришедшие в литературу почти все одинаково трудно, прорвали сопротивление окопавшегося в лакировочной литературе «противника». Об этом непростом и пелегком становлении тогдашней молодой литературы даже пынешняя вроде бы все знающая критика помалкивает, а стоило бы ей вместо того, чтобы перемальывать молотое, хвалить хваленое, поинтересоваться архивами хотя бы того же Константина Воробьева и почитать ответы из столичных изданий — удивительные бы

документы они для себя открыли! У меня, например, хранится ответ Павла Шebuневича, подписавшегося Шebuниным, из журнала «Огонек» на рассказ «Солдат и мать», в котором он советует обратить внимание Пермской писательской организации на «идейное мировоззрение» молодого автора, намекает, что и документы его не мешало бы проверить...

Но чем периферийщиков больше игнорировали, оттирали и унижали, тем они жадней и привязчивей следили друг за другом и, прежде чем пожать руку собрата по войне, зачастую уже доскопально знали его творчество, вступали в переписку, поддерживали как могли, иногда и печатно. Но и требовали друг от друга будь здоров, ибо хорошо знали: чтоб нам утвердиться и устоять в литературе, нужно работать в десять, в сто раз больше тех, кто учился, самоусовершенствовался, наполнял свой культурный уровень в ту пору, когда мы дрогли в военных окопах, а затем боролись с разрухой и пуждой.

Для меня был и остался главным судьей в литературе мой лучший друг Евгений Носов, с которым мы познакомились и сошлись на Высших литературных курсах. Да зачтется на небесах тому руководителю Союза писателей, который придумал эти курсы, а мы, периферийные писатели, особенно бывшие вояки, пропустившие время учебы, век за него Богу молиться будем! Если мой рассказ или повесть «показались» Носову, он признал и принял новую вещь — можешь смело тащить ее в любой журнал, в любое издательство. Нежный, добрый человек, он становится беспощадным, когда дело доходит до творчества, и требует с тебя так же, как и с себя, ибо по себе знает: чтобы выбиться в люди, нам, много недобравшим в образовании, надо работать сильнее бойких, языкастых столичных молодцов, которые, не снимая шапки, входят в любой журнал, даже к главному редактору, и запросто с ним калякают, закинув ногу на ногу, не спросясь курят в священных для нас кабинетах. Нам надо писать и отделявать свои произведения так, чтобы никаких «прений» не было насчет «качества продукции», чтобы редакторы и другие деятели литературы морщились, называли нас густопсовыми реалистами, но отправляли рукопись в набор, потому что деваться-то некуда, — это как в отечественном боксе или в футболе: когда наши выступают за границей — надо биться с таким преимуществом, так убедительно побеждать, чтоб даже сплошь почти пред-

взятые судьи засчитывали бы очки и голы, и пусть против воли, но показывали бы на центр поля.

Не надо забывать и такой фактор: в пору нашего становления как литераторов умами властвовала так называемая «исповедальная» литература, против которой я лично ничего не имею, — она хотя бы уже тем полезна, что вызвала ответную реакцию и ускорила приход литературы иной, так называемой «деревенской прозы». От нас в ту пору никто не взял бы в печать произведения, написанные на уровне: «Он сказал. Она сказала. Он попросил. Она дала». И сейчас никто не возьмет. Но уже по другим причинам, по причинам высокой требовательности, утверждению которой в немалой степени способствовало военное поколение писателей.

Нам приходилось и приходится работать так же, как на войне, — все лучше и лучше. Иначе не победить. Иначе пострадает наше достоинство, будет принижено значение современной отечественной литературы.

Это я сделал такое, пусть и слегка патетическое, отступление прежде всего для нынешних молодых литераторов, которые, как мне сдается и видится, думают, что мы, военное поколение писателей, вошли в послевоенную литературу под духовой оркестр, молодецким дружным строем.

Творческая судьба Константина Воробьева — наглядное подтверждение того, как ему, да и всем нам, давалась эта самая литература и то положение, которое мы по справедливости в ней занимаем.

После того как критик Гр. Бровман навалился на Константина Воробьева и начал прорабатывать его при появлении любого его рассказа, любой повести — будто на посту стоял и караулил! — за те самые грехи, что я перечислил выше, мне пришлось вступить за фронтовика-писателя, и я, чуть ли не впервые, попробовал себя в критике, написал статью в газету «Литература и жизнь» под названием: «Яростию и ярко».

Статья закапчивалась словами: «Константин Воробьев силен там, где он пишет, точнее, живописует свободно, давая себе и своему воображению полный простор, а языку, кстати говоря, отличному, богатейшему оттенками и красками, русскому языку, — полное дыхание, как на ветру, напоенном запахами родной ему курской земли, русских полей и садов.

И тогда огонь, зажженный им, горит во всю мощь, яростно и ярко».

Статья написана и напечатана в 1965 году. Петушистость той статьи мне как-то все еще по праву, ныне бы я так не сумел написать, призвал бы себя к сдержанности и теоретизировать бы взялся. Кроме того, в той статье изложено было содержание одной из лучших повестей о войне, и не только у Константина Воробьева, но и во всей нашей литературе, что теперь общепризнанно, и тогдашние слова мои: «Это не самая лучшая повесть К. Воробьева» — я, после нынешнего прочтения повести, беру назад, и надеюсь, читатели простят мне этот грех и некоторую междоусобную пазидательность в конце статьи — это мне хотелось выглядеть «солидно», не «отставать от тенденции».

У меня хранится книга повестей и рассказов Константина Воробьева с дарственной подписью, изданная в 1964 году «Советской Россией», и в книге этой оказалась вырезанная мною из журнала «Смена» редакционная заметка с портретом молодого, не просто красивого, а какого-то яркого юноши с темной прической (окажется рыжеватой), топенького, изящного, даже в чем-то интеллигентного (он, кстати, окажется высоким, статным, резким в словах и жестах, но в чем-то и вправду неуловимо интеллигентным), и я, глядя на этот журнальный снимок, всегда с грустью вспоминаю грустную же русскую поговорку: «Красивыми, быть может, не были, а молодыми были».

В заметке написано вот что:

«В журнале «Смена» был опубликован рассказ-быль К. Воробьева «Верное сердце». Редакция получила на него много откликов. Читатели просят познакомить их с Константином Воробьевым, с его повыми произведениями.

Константин Дмитриевич Воробьев родился в 1919 году в Курской области. Юношей приехал в Москву, работал уборщиком в магазине, был шофером, а вечерами учился. Затем стал профессиональным журналистом. В 1956 году в Вильнюсском книжном издательстве вышел первый сборник рассказов К. Воробьева «Подснежник».

...Войну К. Воробьев начал рядовым, необстрелянным кремлевским курсантом, каких он описал в повести «Убиты под Москвой». Закончил — командиром отдельной партизанской группы в Литве, изведав унижение и боль окру-

женца, отчаяние пленного и мужество побега, так что весь «натурализм войны», так угнетающий глаз и ухо нашим критикам, он до дна изведal на себе и хорошо понял, что ничего на свете нет страшнее, чем на войне, где люди убивают людей. Он и писал страдая, а не любясь войной и подвигами, не паряжая войну в романтические одежды, так правящиеся детям и дядям, которые сами не воевали и на войну не собираются, зная, что за них воевать и умирать станут другие люди. К. Воробьев писал о войне, страдая за людей, без расчета кому-то угодить и понравиться. В этом его сила. В этом его правда, жестокая, горькая правда, предостерегающая человечество от самоистребления и унижения насилием.

Людам свойственно забываться и не понимать все ужасы и последствия войны — недавно я прочитал заметку о том, как один американский инженер кустарным способом, у себя в мастерской, изготовил атомную бомбу, и сообщение об этом напечатано было в тех же номерах газет, что и жеребьевка встреч по футболу на чемпионате мира в Испании. Так вот: жеребьевка вызвала самые оживленные мнения, прения и толки, а сообщение об атомной бомбе дорогие читатели и не заметили даже, в чем я мог потом убедиться¹.

И писатели, подобные Константину Воробьеву, являются затем, чтобы пробуждать совесть, тревожить сознание людей, напоминая им о том, что было и чего быть не должно, ведь только одно изобретение пороха или появление пистолета увеличило поток крови и смертей на земле до астрономических размеров, нанесло колоссальный урон земле, животным, всему живому на свете. А тут атомная бомба! Боевая ракета в руках человека, никем и ничем не контролируемого.

А теперь я передам слово земляку Константина Воробьева, нашему общему другу, задушевному человеку и писателю Евгению Носову.

«...Я развернул карту моей курской стороны и долго вглядывался в ту ее полуденную часть, где к тонкой, сильной прожилке безымянного ручья прилепился похожий на рыбью икринку топографический кружок села Нижний Реутец. Из этой-то икринки и вышел в большой свет свое-

¹ Время летит стремительно, и стремительно развиваются события на земле — в октябре 1982 года в газетах появилось сообщение о том, что в штате Техас американцы запустили «частную ракету»...

образный и яркий художник Константин Дмитриевич Воробьев.

Родился он всего в одном дне ходьбы от моей деревни, и получилось, что некогда, еще мальчишками, мы видели одни и те же восходы и закаты, слышали одни и те же майские громы и поди что мокли под общими ливнями. Да и хлеб ели почти с соседних полей и жили и росли по единым обычаям, дошедшим к нам от общих наших предков — пахарей и воинов земли Северной.

Но так случилось в круговерти жизни, что не знали друг друга почти полвека и встретились (теперь горько сознавать это) лишь незадолго перед кончиной Константина Дмитриевича. И чувствую, догадываюсь, как нужны мы были друг другу, почти одновременно вступившие в литературу, трудно, вслепую искавшие туда дорогу, как важны были нам в ту пору взаимная поддержка и одобрение».

Слышите, как большой мастер, тонкий стилист, честный человек и писатель Носов в пожилом уже возрасте вольно и невольно выпится перед земляком-писателем. И общественность наша, в первую голову литературная, пыталась и пытается это сделать — после смерти Константина Воробьева (1975 год) в Вильнюсе был издан двухтомник; одна за другой вышли книги в центральных издательствах столицы. Наконец-то! — спизошло до творчества писателя, большого мастера, и самое массовое издание — «Роман-газета»; в газетах и журналах появились статьи и исследования творческого наследия писателя. Читал впервые известного режиссера Алексея Салтыкова, который собирается ставить художественный фильм по повести «Убиты под Москвой». Медленно, разрозненно и лепиво начинает проявлять интерес к творчеству К. Воробьева и наш дорогой читатель, которого, судя хотя бы по отношению к этому незаурядному писателю, мы как-то заискивающе перехваливаем и торопимся наговорить ему комплиментов при любом удобном случае, особенно по торжественным дням.

И зная все это, следя за посмертной судьбой писателя и товарища, не раз и не два я горько вздохнул: «Вот бы все это при жизни».

Как нуждался Константин Воробьев в участии и поддержке! Как трудно пробивался в печать. Всю жизнь трудно, с нервогруппкой, доходя порой до отчаяния и душевной депрессии.

«Черт знает, отчего это, но мы ведь редко балуем друг друга словом приветия и одобрения. А как это нужно!» — Это я написал письмо Косте с восторгом по поводу повести «Алексей, сын Алексея» (ныне она называется «Сказание о моем ровеснике») и с руганью по поводу повести «Капля крови», которую тоже написал Воробьев, но совсем другой.

«Не знаешь ли ты, мученическая душа твоя русская, отчего нас невозможно пропять, отчего мы, несмотря на трехсотлетнее ярмо татар, розги Салтычихи, лагеря Берии и Сталина — сохранили живой, честный ум и веселый смех. И никому, никогда не отдадим свой летучий — для нас неминуемый гений, всеохватную душу свою, умеющую любить, терпеть, прощать и помнить».

Потом, при личном знакомстве, придется убедиться, и не только мне, что оптимизм его, Кости, и резкий, ядовитый, но веселый нрав — все от природы, а не от литературы. Зная, как трудно складывалась его военная судьба, мы много и не раз говорили об этом, но более всего мы расспрашивали его о том, что это такое — кремлевский курсант? Каково служить при Кремле? И он охотно, порой с юмором, рассказывал нам, его друзьям и товарищам, о действительно очень трудной, единственной в своем роде службе. О том, как стояли возле Мавзолея и на других постах кремлевские курсанты. Неподвижно. Окаменело. Со стороны — это торжественно, красиво, благоговейно. Тем, кто смотрит. Но тем, кто стоит?.. Когда нет посетителей, можно переступить с ноги на ногу, переморгнуться с папаршиком, размять пальцы на руках и ногах. Но когда на глазах у людей...

Приняв первый бой под Москвой, жестокий, беспощадный, Константин Воробьев попал в плен, бежал из Шяуляйского лагеря в партизанский отряд и там встретился с Верой Викторовной, которая стала его женой. Она и поныне хранит верную ему память и архив писателя. Сейчас и Вера Викторовна, и дети Константина Воробьева живут в России, в Москве. А как мечтал, стремился сам писатель домой, в Россию. Но так и не смог осуществить своей мечты.

«...Желаю радостей и хоть немного денег. Ты не задумывался, отчего их у нас нету?»

«В день по абзацу пишу, а иногда и по целой странице. Видал?»

«Вот и дождался я «Аистов». Посылаю тебе их. Жал-

ко, что «Убиты под Москвой» ты читал в журнале. Там до черта было купюр. В сборнике же это полнее. Я ведь писал их как продолжение «Алексея». Тебе не кажется, что мы с тобой одним миром мазаны? Нет, не только по судьбе-кручине, а по восприятию сердцем мира Божьего?»

«Мне что-то сейчас не работается. Наверное, втуне ожидаю хулу и брань разных бровманов на своих аистов. Сволочи, выбивают недозволенными приемами перо из рук, никак не могу привыкнуть к оскорблениям, хоть на мне уже и места нету живого!»

«Мне известно, что жить и писать с этим (живым, щедрым, русским сердцем) чрезвычайно трудно, но иначе нельзя, не стоит писать, а стало быть, жить. Черт с ними, с этой бандой верхсуществующих в нашей литературе, всегда певших аллилуйю тому, кому надо было петь за упокой, продавшихся оптом и в розницу за мишуру. Мы нищи хлебом, но зато «в моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне», как сказал Блок. Это чувство радости за свою перастраченность очень четко проявляется в лесу, на пустынном озере. Правда?»

«Осточертела чужбина. Хочу в Русь. Криком кричу — «хочу домой!»

«Что ты делал в Курсках? А Носов — кто? Я не читал его. Ох, хочу на Родину! Я ведь чуть-чуть не смылся в Рязань, да не вышло с жильем. Остается одна надежда — купить хатку где-то, крестьянскую, рублей за 200—300. Иначе ни хрена не получится. Я уже прощупывал почву насчет Курска. Но мне сказали, что тамошний секретарь обкома терпеть не может писателей и рассчитывать на жилье там нельзя».

«Спасибо за ласку: я, видишь ли, уже отвык от человеческого слова, потому как рык и брань сплошь. И не то чтобы я не понимал сути этой брани, не ведал истины этой брехни, но сердце-то незащищенное!..»

«Да, конечно, выдюжим, но дело в том, что иссыхает душа, выпадает из рук карапдаш, вянут замыслы... А надо бы выдюжить! Ох как падо! Но вот я иногда иду по улице и думаю: не дай Бог упасть и очокуриться, ибо сраму не оберешься: (мертвый-то!) на мне ветхие кальсоны какого-то бля...кирзового цвета, а вместо носков женские чулки — я их постепенно отрываю, то, что пробивается в ботинке, и все опускаю и опускаю их ниже колен...»

«Принимался несколько раз писать тебе, но выходило

так nepотpeбно мрачно, тоскливо и горько, что... падо было рвать письма: я не люблю пытиков и неудачников... Ну-с. Есть у меня и прósветы на горизонте: ребята из Пскова обещают осенью квартиру там. Перееду. Был я у секретаря обкома. Кажется, перееду. Может, там, на родной земле, будет лучше».

«...В Пскове не дали квартиру. Живу хреново. Меня совсем перестали печатать. Я ожесточен, а это не помогает писать. Юра Гончаров пытался помочь мне издаться в Воронеже, но из этого ничего не получилось. Говорят, что надо писать так, как, скажем, К. и Б. Но это же падо уметь так писать...»

«Пребываю преимущественно в лежачем положении».

«...А вот насчет «Советского писателя» — это все пустые хлопоты. Туда меня не пуцают. И хрен с ними!»

«...Мне передали, как ты на пленуме сказал доброе слово обо мне. Я тогда был в больнице, с воспалением мозга и частичным параличом конечностей. После операции (трепанация черепа) рука и нога восстановились, а левый глаз видит плохо — троит и двоит, так что, к примеру, ежели встать возле метра и протянуть руку, то вполне для меня реально, что поданный пятак будет сходить за три.... Будь добр, черкни пару строк вот о чем: ты не мог бы посодействовать в издании сборника моих повестей и рассказов в издательстве «Современник».

Я как член редсовета данного издательства «содействовал» — и вот что из этого получилось: «Прокушев, оказывается, как передал мне Миша Колосов, не считает возможным издавать меня в «Современнике» (издали после смерти! — В. А.), поскольку, видите ли, я не являюсь русским писателем (имеется в виду местожительство)».

«...Я не тот автор, которого привечают. На мне лежит какое-то проклятье, а за что — никто не знает. Сам я тоже... Я учусь ходить, читать и писать. Вот уже и устал...»

«...А на дворе, брат, весна. Кричат грачи, совокупаются воробьи, лают собаки, пробивается трава — все, как тыщу лет тому назад, и ничему нет дела до цензуры, ни до всего того, что страшно острохренило, измучило...»

Из этих коротеньких выдержек из писем, адресованных мне, которые я расположил, чуть нарушив хронологию — ради «оптимизма», — видно, как жил и пробивался к читателю большой русский писатель, не доживший из своего срока какую-то долю, паверпное, не малую, и, уж точно, не доделавший очень много, может быть, не

написавший «главную» свою книгу, — о чем свидетельствует посмертно напечатанная в журнале «Наш современник» лишь взявшая «разгон» повесть «...И всему роду твоему». По значительности замысла, точности стиля, удивительно тонкому проникновению в святая святых — душу человека, даже и в незавершенном виде эта повесть может и должна стоять на одной полке с русской классикой.

Из писем видно, что Константины Воробьеву не я один пытался помочь, но что из этого получалось, можно судить по письмам покойного или по такому вот примеру: к двадцатипятилетию со дня Победы Пермское книжное издательство поручило мне составить сборник военной прозы, и наряду с другими известными произведениями я включил в этот сборник рассказ Константина Воробьева «Дорога в отчий дом». И рассказ понравился в издательстве, решено было всей книге дать по нему название, соответствующее содержанию и духу сборника. Пока книга выходила, я переехал жить в другой город, и каково же было мое изумление, даже не изумление, а потрясение, когда я получил хорошо изданный сборник «Дорога в отчий дом», но самого рассказа там не было: кто-то где-то на пути к дорожному читателю смахнул рассказ, заменил его сусальничкой, но модной тогда и правомерно теперь забытой повестью другого автора, кто-то где-то услышал, что автор «не того». Вот оно: «На мне лежит какое-то проклятье...»

Допустим, что это преувеличение истерзанного болезнью, одинокого человека, уже предчувствующего смерть. Но разве сие избавляет нас, после него живущих, от чувства вины? Думаю, что нет. Иначе чего бы засуетились издатели, писатели, критики, после смерти писателя начали его печатать, «привлекать внимание» к рано ушедшему пезаурядному таланту? А что он был таков — никаких доказательств не требуется, откройте книги Воробьева на любой странице и читайте, вот хотя бы начало одной его, самой почти первой повести «Алексей, сын Алексея»:

«...Под вечер степь наполнилась задумчивостью и покоем. Ветер утихал, травы выпрямлялись, а подгоризонтные дали заволакивались багряной дымкой всегда тревожного степного заката. В полночь на ковыль оседала тяжелая роса. Тогда степь белела, как под инеем, и легкие ноги Катерины оставляли на ней темно-зеленые следы-борозды. Она уходила от стоянки своего отряда километра за

три, выискивала впадину, где ковыль был густой и рослый, и в нем купалась».

Какой легкий, изящный ритм! Какая влюбленная в слово поступь молодого автора, какой он еще романтический!

А теперь послушаем его последнее произведение, неоконченную повесть «...И всему роду твоему». И тоже начало. Делаю это сознательно — для сравнения:

«Шел пудрый, мелкий дождь, и даже не дождь, а мга — густая и туманно-седая, как и полагается в Прибалтике в ноябре. Мга липкой паутиной оседала на бровях и ресницах, и надо было то и дело отирать лицо. Перчатка пахла отвратительно едко: бензин так и не выветрился за ночь и свиная кожа стала перьяшиво-пегой, а не перевозданно-желтой, как это предполагалось вчера вечером. Перчатки чистил сын и оставил их в ванной до утра, а надо было вынести на балкон. Может быть, только из-за этого перчатки сильно воняли...

Тогда как раз показалось впереди свободное такси, и он приветливо и нерешительно поднял руку. Новая машина промчалась мимо с каким-то издевательски-роскошным рокопом, обдав его грязью, — шофер, наверное, поддал газу, а Сыромуков подумал: как много развелось на свете оголтелого хамья. Ужас! Он поставил чемодан у кромки тротуара и раскрытым ртом, глубоко и панически вдохнул в себя большую порцию мги. Было то, что случилось с его сердцем часто и уже давно — оно там толкнулось, подпрыгнуло вверх и замерло, готовясь не то выскочить совсем, не то остаться так, под горлом, степенно-затихшим, без воздуха в легких, потому что дышать в такие секунды нечем. Кончалось это всегда одинаково: раздавался больно ощутимый толчок, за ним, через долгую, как целый век, паузу — второй, потом третий, а после началась скакучая дробь ударов под неподвластный разуму страх. Этот страх каждый раз был новым, свежестрепетным ощущением, и боялся не мозг и не само сердце, что оно вот-вот разорвется, а страшилось все тело, и больше всего — глаза и руки. Глаза тогда зовуще метались по сторонам, а руки самостоятельно совершали одно и то же заученное движение: они размеренно вскидывались над головой и округло опускались, вскидывались и опускались, и всякий раз, когда все уже кончалось, Сыромуков не мог объяснить себе — зачем они это проделывали?..

Он не запомнил, когда и каким образом пересек тротуар и оказался возле каменного забора с широким чере-

пичным павесом — паверное, инстинктивно решил, когда остановилось сердце, что тут, на всякий случай, окажется сухое место...»

Вот такая вот картина, па мой взгляд, не требующая никаких комментариев.

Между «тем» и «этим» пачалом лежит жизнь художника. Ах, как не ценим мы ее, чужую-то жизнь! Все еще не научились. Или разучились? На бумаге больше, в застольной болтовне «проявляем заботу о ближнем».

Но почему-то мне хочется вернуться еще к той, ранней повести.

В деревне Шелковке орудует продотряд, возглавляемый матросом. И сам он, и продотрядовцы очень уж круты, революционно-беспощадно построены, что дает повод сбегать к белым посыльному и сообщить, что «Шелковку грабят».

И вот «па рассвете этого утра в Шелковку с двух сторон незаметно ворвался конный полк белых. Сонные продотрядовцы, как разбрызганные, кинулись в огороды, но никто не ушел из села, и матрос со своей семьей — тоже».

И он, и Катерина, та самая, что ходила купаться в ковыли, пробовали отстреливаться, Катерина вместе с сыном хозяина того дома, в котором они останавливались, погибли; самого хозяина, Матвея Егоровича, русского крестьянина, ярко, земно написанного К. Воробьевым, и матроса — повели за село. «На спуск к реке они двигались через податливо расступившихся баб и детей, и под свой плавный, широкий шаг матрос не переставал просить: «Может, кто взял бы ребенкa, а? Восьмой месяц ему... Алексеем зовут, а?» Но бабы молча сморкались в фартуки, а ребяташки застенчиво хихикали и загораживали рты грязными ладошками...

Через речку арестованных перегнали вброд и узкой полевой дорожкой, заросшей черпобылом и пыреем, повели к Бешеной лощине. В лесу гремели соловьи, томно ныли горлинки и безмятежно и кротко сияли в росной траве безымянные шелковистые «тветы». Матвей Егорович, с детства знавший тут любой куст, каждую ложбинку и тропку, вывел матроса и коповиров, минуя заросли, на чистую поляну. Захваченный живой и мирной благодатью леса, он впервые за всю дорогу от села ободряюще взглянул па матроса. Тот с грустным и каким-то предсмертным вниманием всматривался в лицо сына, слезно дрожа подбородком, и, пронизанный внезапным горячим ужасом,

Матвей Егорович почти закричал: «Чего ты?! Они же шуткуют! Погоняют нас тут, остратку напустят и...» — Он так и не понял, что было первым: обвальный грохот леса или рывок матроса в сторону. Но пробежал матрос всего лишь несколько шагов и, роняя сына, сам упал косо, с плеча. Подвернув под себя голову, он судорожно подгребал одной рукой, будто искал что в траве или плыл к неведомому берегу.

Почти разом с матросом упал и Матвей Егорович. На мгновение он замер, крепко зажмурил глаза, и всем своим телом почувствовал приближение к нему чего-то страшного. Не открывая глаз, он торкнулся головой на ребенка, на его голос, схватил и приподнял его навстречу конвоирам, как икону: «Люди! Люди!..» — ему хотелось сказать конвоирам о какой-то великой и единственной правде на земле, которую сам он только что постиг в эти секунды и смысл которой словами выразить было нельзя.

«Люди!» — шептал одно это слово Матвей Егорович, крест-накрест поводя перед собою ребенком».

Эта вот сцена со своей душой обдирающей трагичностью, глубочайшим философским смыслом, написанная столь красочно, напряженно и жизненно, право же, стоит некоторых современных анемично-водянистых рассказов и даже романов. Но боюсь быть пристрастным и передам слово опять Евгению Носову:

«...Сквозь его взволнованные страницы еще заочно угадывается человек, наделенный личной отвагой, пламенным гражданским мужеством, взрывным зарядом темперамента и самопожертвования, чутким и ранимым сердцем, в чем я и убедился уже потом, при близком знакомстве с писателем.

Константин Воробьев любил работать в горячем цехе, со словом, которое только что из пламени пылающего воображения. Оно еще дышит жаром, стреляет колкими искрами, обжигает самого мастера, и тот, благоговей над ним, испепеляющим, непокорным и прекрасным, размашисто, пока еще не остыло, гранит его на звонкой наковальне.

... На этом огне он и сгорел преждевременно, так и не дочеканив заветных своих страниц».

«Повествуя о жизни простых людей, он всегда стоял на позиции этих людей и никогда сверху от них или сбоку, — пишет критик Ю. Томашевский. — К. Воробьев не выносил жизни по регламентации, порожденной темно-

тою и ханжеством, что остались в последние нам от ушедшего навсегда прошлого. Борьбу за утверждение умной, созвучной с двадцатым веком жизни — он считал первейшим делом литературы.... Воскрешая в памяти былое — пережитое, затем мучился и страдал, чтобы люди, прочитав его книги, мучились и страдали меньше, чем он».

И это истинная правда!

Окидывая взглядом литературу последних лет, читая, допустим, «ржевскую прозу» Вячеслава Кондратьева, так смело, зрело и разом вступившего в литературу повестью «Сашка», — я вижу в ней прямое влияние не только Константина Воробьева-писателя, но и гражданина своей страны и нашей стойкой в лучших ее проявлениях литературы, гражданина и писателя, принимавшего на себя не только груз самоотверженной работы, но и удары критики, невнимания читающей публики, материальные лишения, житейские невзгоды. И, прижимая все это на себя, он как бывший командир-фронтовик, конечно же, со всей ответственностью создавал и понимал, как понимали и его окопные друзья, перешедшие в книги, — вслед идущим бойцам будет легче прокладывать пути вперед, плодотворней трудиться и творить.

Вертятся вот и вертятся в голове не знаю чьи стихи, с детства запавшие в память, ибо не раз возникала потребность их повторять и повторять: «И все цветы, живые, не из жести, — придите и отдайте мне теперь! Теперь, теперь, пока еще мы вместе....»

И к Александру Николаевичу это относится тоже со всей глубокой драматичностью живой действительности, и еще не покидает мысль, что, живи он дольше, осуществись его мечты о книге «Во глубине России» — облегчилась бы творческая и житейская судьба не только моя, не только Константина Воробьева, а и многих-многих периферийных писателей. Материал этот частично публиковался в периодике, и его прочел бывший редактор журнала «Нева», известный писатель Сергей Воропин, и я считаю лучшим вставить его письмо в книгу.

Дорогой Витя!

Читал я в журнале «Смена» детектив и натолкнулся на твою статью о Косте Воробьеве. Это хорошо, что ты написал о нем, тем более, что его имя есть теперь в Энциклопедическом словаре и справедливость, таким образом, восстановлена.

Но вот моя досада. Ты пишешь, что его открыл «Новый мир». Это не так. Его открыла «Нева» в то время, когда я был гл. редактором. Это я напечатал его первый рассказ «Ермак», после этого роман «Последние хутора», который был разруган Г. Радовым в «Лит. газете»... <...> Он обвинял Костю в шовинизме. Была напечатана его широко известная повесть «Крик», был напечатан в «Неве» его сценарий. И не была напечатана его повесть «Убиты под Москвой» только потому, что в пей отдавало духом пораженчества. Вот после этого повесть была напечатана в «Новом мире». Полагаю, он поработал над ней. Но дело не в этом. Обиды на меня Костя не имел. Дружба у нас была прочная. В Пушкинском доме хранятся его 29 писем ко мне, которые свидетельствуют об этом.

В свое время на каком-то съезде мы разговорились с тобой, и ты сказал, что собираешься писать о К. Воробьеве. Тогда я пообещал тебе выслать свою книгу «Время итогов», где был довольно большой материал о Косте. Книгу я выслал. Не знаю, получил ли ты ее, читал ли — ни слова. А жаль. Тогда бы ты не допустил такой неточности в своей статье.

Думаю, если будешь включать эту статью в книгу, то исправишь эту несправедливость. Память о Косте Воробьеве мне не менее дорога, чем тебе.

Кстати, даря мне книгу «Седой тополь» в 1958 году, он написал: «Правильному другу моему, честному писателю матушки-Руси — Сергею Воропину. С любовью.

К. Воробьев».

Будь здоров! Желаю тебе самого доброго. Почитай все же мою книгу «Время итогов». Она включена в 3-томник.
29 июля 1978 г. (С. Воронин).

Дорогой Виктор Пегрович!

Пишу, как видите, вдогонку за предыдущим письмом, потому что была в Вашем письме фраза, которая очень меня зацепила. Я постарался скользнуть по ней глазами и как бы пренебречь ею, однако вот два дня только об этом и думаю. Это та, где Вы пишете, что боитесь, что статья может нас «развести».

А я, думаете, не боюсь? Еще как! Случаи такие на моем веку бывали. Я не о тех говорю, кто, так сказать, на тебя рассчитывает, а потом, как напишешь, так уж для него и не существуешь, а про очень даже умных людей.

Так вот было у меня с Твардовским. Очень он ко мне

как-то расположился, тогда я только задумывал о «Теркине» писать, и вроде бы мы нашли взаимопонимание. А потом чем дальше, тем больше расходились — сильный и властный он человек и не мог переписать, что я не тютелька в тютельку, как он, думаю, и когда напечатал я «Прозу поэта», где от души восторгался его прозой, через два дня в «Известиях» появилась статья Андриюши Туркова, где тот упрекал меня, что якобы я говорю какие-то двусмысленности. А никаких двусмысленностей там не было, а очень явно говорилось, что Ал. Триф. бывает не всегда искренен, вернее, что вот то, что он почувствовал на родном пепелище — желание воссоздать этот ушедший мир, — и есть его подлинное желание. Или что-то в этом роде, я уже и не помню. И с Межелайтисом тоже — пока писал книжку, была оживленная, хотя и редкая переписка, откровенные разговоры о литературе, а вышла книжка — повогодные поздравления, где в конце приписка, мол, читаю Вашу книжку, «благодарен скромно и благородно». Один только человек, что бы там ни писал, всегда сохранял ровное ко мне отношение — Симонов, и ни на йоту его не изменил. Умен Костя, гораздо умнее даже, чем о нем думают. Только ведь ни один из них, и даже Костя — одноклассник по институту, не был для меня тем, чем стали Вы. Мой старый учитель, правоверный приспособленец Бровман, сказал мне однажды: «Вы живете правильно, одиноко, ни с кем особой дружбы не водите, так и должен жить критик». Знал бы он, чего мне стоит эта одинокость, вернее, ничего она мне не стоила, потому что никакой охоты заводить дружбу среди литературных людей, равно высоких и малых, у меня ни разу не возникало. Как у того эстона или финна, который до десяти лет слова не вымолвил и немым в семье почитался, пока на сенокосе матери не сказал: «Что ж ты, так твою мать, воду-то не похолодила?» И на изумленный вопрос: «Что же ты раньше молчал, десять лет?» — ответил: «Потребности не было». Вот и у меня — потребности не было в литературных друзьях. Это ведь не объяснишь, почему к одному человеку всей душой и сказать ему о себе можешь все, чего и жене не скажешь, хотя и не обязательно говорить, но знаешь, что есть человек, которому все можно сказать, и хорошо тебе, что он существует на свете. Только ведь редко встречается такой человек. И не статья меня пугает. Кабы Вы только один ее прочли! Ну, сказали, тут ты, мол, врешь, не то, что думаешь, пишешь, а это

вообще ерунда, может быть, даже где-то воскликнули: «Продает, стервец! На ходу продает!» и т. п. Но ведь ее и другие прочтут. Один скажет: «Что это о тебе там Макаров пишет, ты ему не верь». Другой: «Что уж это он тебя расхваливает, па два помера разогнался!» Третий: «Ну, ты теперь кум королю и сват валету! Вон уже о тебе какие длинные статьи пишут!»

И вот тут-то и возьмет Вас чёмер, и скажете Вы про себя: «Черт бы побрал этого Макарова со своей статьей! Лучше бы ему не родиться, а мне с ним не знаться. Толку от его статьи ноль, а я только и отвечай — что, как и почему». И озлитесь Вы на меня злостью самой неприязненной. Вот чего я боюсь — разговоров вокруг да около. А Вы думали, не попимал я этого? Чутки уж очень Вы, родной мой, и сразу почувствовали, чем грозит нашим отношениям такая вот статья, как бы друг от друга глаза отводить не стали, любезно при этом друг другу руки пожимая и улыбаясь. А вы думаете, не хотелось бы мне бросить треклятую эту статью на половине, не подсказывало мне что-то: берегись, мол, сам понимаешь — слишком дорогое па карту ставишь. Только не мог я этого сделать, и не потому, что Вы бы потом сказали — вот сволочь, натрепался, а сам хоть бы хны, и опять некоторая неловкость возникла. Это-то я бы сумел Вам объяснить, и Вы бы поняли, а потому не мог бросить, что меня уж повело и есть в нас что-то, что нашим желанием не покоряется и водит рукой помимо воли. Я ведь поэтому и начать долго не мог, и начал даже старой статьей, цитатой из нее.

Но Вам, в конце концов, что? Ну, с месяц посердитесь, а потом и забудется. У Вас вот хоть Евг. Носов есть да еще кинорежиссер какой-то. А вот мне какво? Были люди, которые мне были дороги, да уходили, жизнь разводила, да и пет уж их на свете.

В юности, пока в Москве жил, был у меня друг на год моложе меня и очень дорог он мне был, да пришлось мне уехать из Москвы в деревню, а когда вернулся в институт, он по дурости в 19 лет женился, у него уже ребенок был, да и сами знаете, никто так не разбивает людей, как молодая жена, которая ко всему прошлому ревнует отчаянно. И пришлось махнуть рукой на эту дружбу. Потом его убили на войне.

Был и в деревне золотой паренёк, только тут нас жизнь развела, и хоть он жил последние годы в Москве, но с семьей, на войне стал инвалидом, да и дороги-то наши уж очень

разошлись, кроме как о прежнем и поговорить было не о чем, я вроде писатель, а он — сторож, вахтер. Только очень он мной гордился и тепло его меня грело. Да сгорел он спящу, в той самой сушилке, которую сторожил.

В институте тоже завязалась хорошая дружба с поэтом Б. Лебедевым¹, уже покойным. Правда, чего-то в ней все же не хватало, она больше интеллектуальной была, но и тут я в армию уходил, он уже был безнадежно болен чахоткой, как всякий человек, знающий и не желающий понимать, был уже чуть-чуть не от мира сего. И этот умер. А последний, по годам-то вроде и неровня мне, погиб вот в той аварии, про которую Вы от меня слышали, в 57-м году. С его уходом для меня как-то все померкло, цвета, запахи, звуки, и природу я стал видеть как-то общецветно, как в кино. Лет восемь, должно быть, прошло, пока я опять стал видеть и слышать. Спасла меня работа, я тогда за год целую книжку накатал, да еще больше, пожалуй, после него мальчишка остался и очень почему-то ко мне привязался, я его по всем местам свозил, куда с его отцом ездил, — и на Кавказ, и в Крым, и даже снимал там, где бывало, с его отцом снимались, чудил, словом. Только вырос теперь этот мальчишка, ему уже двадцать лет и своя у него жизнь.

И вдруг свалилось на меня это наше заочное сначала знакомство, как говорится, Бог послал. И вот за каким-то дьяволом дернуло меня мину под него положить. Ну что ж, как говорится, сапер один раз в жизни ошибается, и это уж в последний. Взорвется аль нет? Вообще-то, жизнь сделала меня фаталистом и, полагаю я, что в испытаниях нам, грешным, уж ничего не остается, как положиться на волю Божию. Тургенев вои девизом жизненным избрал французскую поговорку, приблизительно означающую «Пусть идет как идет». Теперь уж не остановишь.

А сны мне тоже все деловые спятся. Только еще более

¹ Речь идет о поэте Борисе Лебедеве, авторе замечательного стихотворения «Сердце» — «Двадцать дней и двадцать ночей он жить продолжал, удивляя врачей...», которого, при всех наших заверениях «никто не забыт и ничто не забыто», забыли-таки напрочь, и стихотворение это начал сперва приписывать Алексею Лебедеву — поэту-подводнику, погибшему в 1942 году под Ленинградом, а потом помечали: «Стихотворение неизвестного поэта», и только такие большие знатоки поэзии, как Александр Николаевич Макаров или Михаил Дудин, назвали мне автора.

Но вот вышел четырехтомник советской поэзии и там, наконец-то, опубликовано стихотворение «Сердце» без искажений и под подлинным именем автора.

страшные. Вам вот Ася Берзер приснилась, а мне несколько дней назад моя редакторша Малхазова — пришла и говорит: «И зачем мы с вами эту книжку выпускали (не ту, что теперь, а «Серьезную жизнь»), все равно ее никто не покупает». И проснулся я в холодном поту, тем более что наяву никак не идет моя Малхазова и верстка прочитанная на тумбочке у меня валяется, то ли ее корректоры читают, то ли цензор обдумывает, а я пока все ее порчу, нет-нет да что-то, что кажется крамольным, вычеркну, а крамольным теперь уж и самое безвишнее кажется. А позавчера приспились Брежнев и Косыгин, будто присутствуют они на каком-то партсобрании у нас, в «Знамени», и Косыгин речь произнес. Я говорю кому-то: «Вот видите, Косыгин сказал, что можно». А что он говорил и что можно — этого и не помню.

А вчера уж совсем страшный сон привиделся, будто обвиняют меня, что я приписал себе высшее образование, а документа на это нету. Документа у меня и в самом деле нет. Нам выдавали вместо диплома в красных рамках удостоверение за подписью Ставского. Многие потом их обменяли на стандартные дипломы, такой я у Чаковского видел, а мне и менять-то было нечего. Еще до войны, когда я был в армии, Наташа, думая перетащить меня из-под ружья в газету, в Москву, отнесла мой «диплом» тов. Дедюхицу, он в ПУРе комсомолом ведал, все обещал найти, уж когда я из армии вернулся, а тут война началась и уж какие там Дедюхицы. Так и живу без диплома, благо, все здесь знают, что был он с отличием, тогда нас только пять с отличием госэкзамены сдали и вообще на круглые пятерки четыре года тянули: Симонов, Бор. Лебедев, В. Высоцкая, Н. Верейская да я. И всех это наше подвижничество удивляло, хотя не знаю, как дамам, но мне, Борису и Косте оно без труда давалось. И в жизни у меня никто этого диплома-удостоверения не спрашивал, а вот во сне как с ножом к горлу пристали какие-то чудища. Вот тут я проснулся в пять тридцать. Смотрю, храпят кругом, вылез потихоньку в столовую и стал писать Вам вот это письмо. Глядишь, время и к завтраку подошло.

Обнимаю и целую Вас, пока это еще возможно.

Марии Семёвны целую ее руки, нагруженные домашней работой и перепиской мужских сочинений (своя же ноша, как известно, не тянет).

Привет домашним.

Ваш А. Макаров.

Мне снова хочется процитировать Аннинского, хотя, честно признаться, хотел я эту цитату употребить в конце книги, но в ходе работы мне сделалось ясно, что там сия цитата прозвучала бы как оправдание «нижесказанному», а здесь она, мне думается, в самый раз и к месту.

Еще добавить от себя хочу, что написанное Аннинским о Макарове, пусть и к юбилею, очень искренне и с любовью, очень меня растрогало, ибо по торжественным дням в торжественных словах часто у нас говорят и пишут так, что уловить невозможно, как относится лично пишущий к юбиляру, хотя вроде бы пишется и говорится с любовью и о любимом. Я вообще охотно читаю Аннинского-критика, хотя и стervenел когда-то от его вызывающей переученности и интеллектуальности. Но с годами это проходит, да еще при таких учителях, как А. Н. Макаров. Жаль, что Аннинский ныне редко выступает в печати, шаверное, преподаст где-нибудь, учит людей уму-разуму, хотя и понимает небось хорошо переделанное некраповское: «Дураков ничему не научишь, а на умных тоску наведешь...»

Итак, слово Аннинскому: «И еще он (Макаров) позволил себе сомневаться в своей правоте, не боялся показаться слабым, сознавался, что не знает ответов. Сам тип письма его: живой, кипящий, захватывающий все поток «лирики» со всяческими отступлениями, возвратами и сопереживаниями — был не очень целесообразен на фоне иных тогдашних литературных схваток, полных жестокой и беспощадной казуистики. Макаровская критическая речь смутно напоминала какие-то давно прошедшие времена — то ли Белинского, то ли «до Белинского», или адресовалась каким-то читателям «будущего», как сам А. Макаров говорил, — идущим вослед.

И вот прошло время, и стало ясно, что стилистика его впрямь была обращена в будущее, причем довольно скорое. Сейчас, в начале восьмидесятых годов, среди критиков весьма в ходу такая вот легкая, летящая, свободная манера разговаривать с читателем, и мало кто вспоминает, что именно Макаров утверждал ее за двадцать лет до того, в условиях, для вольности не слишком пригодных».

Вот, слава Богу, хоть Аннинский сказал о «стиле» критика, а то уж слово «стиль» как-то и улетучилось по отношению к критике, прозаику стиль необходим, поэту вроде бы тоже, даже и режиссеру или артисту надобен, критику же он вроде бы и ни к чему, он и так, без «стиля»

критиковать может, а если буквально принять, что стиль — это характер, то выходит, и характер критику — лишний груз? И надо заметить, очень и очень заметна на современной критике бесхарактерность, отсюда и расплывчатость мысли, да и самого критического лика — каков он сейчас, в начале восьмидесятых — я лично не берусь обрисовать, ибо «не улавливаю».

У Льва Апшинского, к сожалению, ничего не сказано о языке критика, может, он, как само собою разумеющееся, считает, что раз есть стиль, то и толковать не о чем больше, но ведь стиль-то определяется прежде всего им, языком, строением речи критика, его интонации. И, думаю мне, много зауми, витиеватости, «терминов» и «ученых» вывертов — как раз и есть та ширма, коей и прикрывается отсутствие языка, значит, и стиля, не у отдельных — у многих критиков; ну зачем, скажите на милость, критику, владеющему родным языком, маскироваться, коли он может доступно сказать читателю, что хорошо и что дурно написано в книге, определить настроение литературы на данном этапе, не прибегая к словесным ребусам, а наоборот, сложное явление или сложности самого процесса объяснить по мере своих сил и возможностей, сказавши, допустим, что и сам я, критик, не всемогущ и пока не знаю, как определить это направление, как объяснить процесс современной художественной мысли. Но вместо ясного, по-человечески объяснимого признания всадыт слова, как костыль в шпалу — по самую шляпку — «амбивалентная» литература, и ломай себе голову — с чем это едят, понимай как хочешь, не понявши, сам становись в угол и майся очередным самоистязанием: «Вон люди какие умные с тобой рядом работают! А ты чё? Куда залез-то?»

Дорогие Виктор Петрович и Мария Семеновна!

С Новым годом вас! И дай Бог и вам, и ребятам в новом году всего, в чем все мы нуждаемся: счастья, здоровья, творческих успехов и презренных ассигнаций тоже, ибо некий минимум таковых необходим, дабы были покой и здоровье, и счастье. С годами в этом убеждаешься.

С «Где-то гремит...» Вы меня просто подрезаете. Ну кто же держит рукопись в одном экземпляре? Надо же, как Кармазинов, — одну иметь в поместье, другую в П-бурге, третью в Карлсбаде, а четвертую при себе. А тут на тебе!

Я еще в статье кручусь где-то вокруг «Следа» и никак

не выкручусь. Вообще я очень рад, что Вы, по крайней мере, узнаете, что критику не всегда легче, чем прозаику, — ибо Вы имеете дело с людьми обыкновенными и примитивными, какими-нибудь дядями Левонтиями да фэзошниками, а нам приходится разбираться в организмах тонких, сложных и капризных, каковые называют себя художниками, чувствиллицами и т. п. Но нет худа без добра, сконспектировал Вашу повесть и еще раз пришел к выводу, что весьма недурна она. Да, надеюсь, что вычерки, которые там сделаны, вызваны, как Вы говорите, только для печатания отрывками.

Передайте искреннее мое сочувствие Марии Семеновне. Конечно, «Кража» — не «Война и мир», но все же Софья Андреевна своего супруга творение лишь шесть раз переписывала, а тут 13!

Очень рад, что Малогин Вам написал. Я писал Вам в предыдущем письме, что Вы что-то не так поняли, у меня не было впечатления, что он нас в чем-то подозревал...

На улице у нас потеплело, окна занесло совсем как в деревне, а так хочется куда-нибудь в снега. А куда и как? Вчера еще одно бедствие свалилось — Карай порезал лапу в сугробе, порвал сухожилия, сегодня зашивали, говорят, через месяц, может быть, заживет. Только этого нам и не хватало. Теперь не только по комнатам, но и в передней большой с бинтами, совсем как в образцовой клинике.

Ну ладно, все пройдет, как говорил Соломон. Ну, конечно, я приеду на собрание, если позовете, обязательно приеду, и будет у меня с Вами совсем как в пародии на Симонова:

Опять уеду я, опять приеду
И уж тогда доеду Вас совсем.

Обнимаю и целую. Ваш А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович!

Очень мне Вас не хватает, хорошо, что хоть письма приходят.

Сначала о себе: последний месяц я что-то расхворался: то ли после гриппа, то ли сам по себе разнылся живот и ноет, как проклятый, лишая всякой возможности серьезно работать. Больше всего меня огорчало, что статья о Вас застопорилась, двадцать восемь страниц, включая «Стародуб», написались с ходу и на взлете, а потом пошла тягомотина еще страниц двадцать. Почему? Во-первых,

живот болел, во-вторых, чувствую, что начинаю применяться к носящимся в воздухе веяниям, пытаюсь объяснить Вам так, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Зачем? Сам не знаю — внутренний редактор и воспитание. И понимаю, что с этого места надо начинать сначала, а тут хворь усилилась.

Родной мой, что же я буду делать без «Сумерек» и «Ясного дня», а особенно без «Где-то...». Не дай Бог, ведь у меня вся концепция рухнет, особенно без повести. Там, мне кажется, все лихо задумано, а Вы тут со своими поправками, и Бог знает, в каком виде появится «Где-то...», а к «Ясному дню» Вы, кажется, прилагаете все усилия, чтобы он не появился. Вам-то что, Вы на потомство можете рассчитывать, а что делать бедному критику? Ну да все равно, как оклемаюсь, все равно статью добыю так или хотя бы приблизительно так, как хотелось бы.

Теперь об обстановке. Она для меня не совсем ясна. Кулуарных разговоров лучше не слушать, с одной стороны так, с другой этак. Вот вчера появилась в «Правде» моя рецензия о Светлове. Пока писал, внутренний редактор подсказывал: не цитируй строк «расходясь после общих собраний, на особое горе взглянуть», не напирай на то, что Светлов непавязчиво говорил с молодежью, не навязывал ей сковывающих норм — все равно вычеркнут. Развертываю вчера газету — все осталось, ни словечка не изменили, и в редакцию меня не вызывали для чтения гранок, и дали ровню через день. Вот тут и пойми! Выходит, что сидящий в нас «внутренний редактор» куда пугливей. Беда же в том, что он особенно силен в т. н. средних звеньях, которые и не пишут, и не руководят, а исполняют указания, трепеща за свой стул. Заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет. А тут, что касается дураков, так еще Некрасов скорбел:

И побольше нас были витии,
Да не сделали пользы пером,
Дураков не убавим в России,
А на умных тоску наведем.

Ведь на том же совещании, как слышал я в официальной передаче, говорилось: не умаляйте трудностей, не скрывайте, только пишите так, чтобы было за Советскую власть, чтобы показывать ее силу, преимущество строя. Но пока это докатится донизу, остается лишь хвостик. Но положение серьезное, боюсь, что даже очень: Китай-то

пока языками бряцает, но явно добивается первой цели — единства страхом внутри. Вот тут и подумаешь, действительно ли современные рассказы моего однофамильца Макарова, зовут его, однако, Артуром. И по воспитанию, и по среде человек он городской, интеллигентный.

В «Новом мире» освободили Дементьева и Закса, но пока, не подобрали замену, хозяин не соглашается с кандидатурами. Последние номера, 10-й и 11-й, жалки, прозы нет. Каверин написал подлые воспоминания, я же все-таки был на съезде, помню, что основной бой шел вовсе не о манере писать, а вокруг доклада Бухарина за гражданскую поэзию, что доклад Горького слишком выпренытым показался многим и оторванным от реальности, что речь Жданова в кулуарах обсуждалась горячо и доброжелательно. Что же касается выступлений читателей, перед коими расшаркивался Каверин, то они были на редкость примитивны. Главное же, что съезд был боевым, бурным и не литературным, а литературно-политическим.

Прочтет Вен. Ал. какой-нибудь вынош, которому к стенограммам съезда подступа нет, и составит о нем совершенно превратное представление. Может быть, Каверин и не виноват в том, что не упомянул бухаринского доклада (хотя у меня в книге спокойно пропустили и упоминание, и смысл), недавно в газетах почему-то старую фальшивку, известную как «письмо Зиновьева» почему-то стыдливо назвали письмом Коминтерна. Но уж в чем он виноват, так в том, что весь съезд скособолил в одну сторону любезных только ему писателей. А мы еще кричим о группировке «Октября». Вот и повод перекосить в другую сторону. Кстати, о моем «Разговоре по поводу». Писал я его с одной-единственной целью — предупредить разгром этих книг, который не только готовился, но и был предписан. Писал торопясь, понимая, как важно успеть, пока не стукнули. Уже потом появилась разгромная рецензия — статья Архипова, но она уже не возымела действия, только все — и другие, и даже противники моей статьи ставили меня в пример. Статья, конечно, не о писателях, а об авторах предисловий, но писателями поневоле пришлось оперировать и они не могли не пострадать. Предисловия меня попросту возмутили. В самом деле, почему Лескову мы ставим каждое лыко в строку, Достоевскому тоже, о живых и говорить печего, со сладострастием выискиваем описки, а тут молебен, литургия, осанна... И от кого? От брюзгливого Ильи Григорьевича (Эрен-

бурга. — В. А.), писавшего политические романы, угождавшего вкусу и вдруг выступившего в роли защитника «чистого искусства». От Чарного, в свое время выступившего против 4-й книги «Тихого Дона» и порицавшего Шолохова, что он не привел Григория в стан борцов за Советскую власть. От лукавого Зелинского, вдруг изобразившего Павла Васильева то ли эдаким рубахой парнем, то ли отроком Варфоломеем, а он, насколько я знал Васильева, был уже совсем не золотой и ужасно раздражал и своим внешним видом, и кокетничаньем под Есенина.

Разумеется, личное в статье сказалось, может быть, я не прав, но всегда меня возмущала односторонность и паиграшность, а авторы предисловий явно играли на конъюнктуре не политической, а на общественном настроении. Помню, Ольга Берггольц сказала мне: «Зачем вы это написали и уж если написали, почему не тронули и Корнилова?» Я не стал ей объяснять, отчего и почему. А не тронул я Корнилова именно потому, что предисловие к нему писала Ольга Берггольц, и не было в нем никакой игры, оно было выстрадапо. Но все же, конечно, «Разговор» — временная статья, и я не включил бы ее в сборник, если бы издательство не считало, что сборник избранных не может обойтись без этого «шедевра»¹.

Видел первую серию «Войны и мира». Неплохи только военные сцены. Все остальное — движущиеся иллюстрации, сделанные художником, не понявшим Толстого, ищущим типы не в романе, а в актерском материале, что оказалось под рукой. Князь Андрей маленького роста, Долохов — тоже. Разве это уж так случайно у Толстого! Маленькие люди самолюбивы, даже если умные, князь Андрей мечтает возвыситься подвигом. Долохов — выделиться среди аристократов, он же унижен и бедностью своей, и тем, что живет за счет Анатоля. А мне показывают жребцовские ляжки Тихонова и дылду Ефремова. Наташу в детском платье с мускулистой спиной, какие бывают только у балерин. Да ведь и пет Наташи, потому что пет ши того, как она поет с Николаем, ни предложения Денисова, пет всего того, что подготавливает сцену в окне, пет и

¹ В одном из писем я сделал Александру Николаевичу упреки по поводу этой статьи. Какие упреки — я уж сейчас не помню, но помню, что говорил о благородной привычке россиян — о покойниках только хорошо или ничего, да еще о таких покойниках! Вот Александр Николаевич поэтому так подробно и, по-моему, убедительно объяснил свою позицию в этой статье.

этой сцены, потому что вместо сияющих глаз Наташи мне показывают какой-то сад, залитый малоправдоподобным светом. А дом Ростовых? Это же Юсуповский дворец! Но раскройте, ради Бога, второй том, приезд Николая — у дома отбит карниз, в сенях, не в вестибюле, а в сенях покривившиеся ступени, нечистая дверная ручка, горит сальная свеча. И т. д. и т. п. И это страшное желание как бы охватить все, звучащие с экрана цитаты в то время, как Тихонов поводит ноздрями и напускает умность. Ни один актер, кроме Кторова (Болконский) и Тушина (не знаю, кто) (Трофимов. — В. А.), не естественен, все скованны, старательно держатся аристократами. Ну да Бог с ними, жалко только денег да усилий и стараний.

В пятницу А. читал в Союзе новую повесть (отрывок был в «Лит. газете»). Я пошел и не без удовольствия слушал. На обсуждение не остался. Не могу сказать, что в отрывочном чтении понял замысел, но он чертовски любопытен. Ну, при случае расскажу. Повесть уже три года как написана, никто ее не берет, а теперь и подавно.

Ну, хватит. А то Вы скажете: больной-больной, а вот как расстроился! Так это потому, что это не статья, а письмо, и не кому-нибудь, а Вам.

Низкий поклон Марии Семеновне. Привет Ирине и Андрюше. Аннета, Юра, Толя шлют Вам привет. Ну, а Наталья Федоровна уж само собой разумеется.

Обнимаю Вас. Ваш А. Макаров.

Дорогой мой Виктор Петрович!

Я даже не смог сразу ответить на Ваше последнее письмо, погрузился в очередной припадок меланхолии и, подобно гоголевскому Поприщину, целыми днями лежал «на постеле». То ли потому, что была температура и отчаянно ныл живот (обожрался жареных пирогов), то ли температура была от отвратительного настроения, «пахонтерий», как говорила одна старушка у Островского.

Горю я, родной, по всем статьям. Горю потому, что где-то заколодило статьей о Вас, и я же понимаю, что чем дальше я с ней тяну, тем меньше у нее возможностей появиться в предпраздничных номерах такою, какою мне ее хочется видеть, а как только пытаюсь применяться, так опускаются руки. Горю за прошлые грехи. Вы меня чиховстите за «Разговор по поводу». А Яков Ухсай прислал восторженное письмо о моей книжке о Межелайтисе. Прямо пляшет от радости, что я так вежливо высек его за

ложное новаторство и повторение задов нынешних запад.-европ. декадептов. Вот так здорово! А я-то думал, что, наоборот, я восхвалял этого поэта, не в меру, может быть, но искренне. Неужели в самом деле пишешь одно, а получается другое? Спасибо за отзыв о чеховской статье. Право же, она не дурна. Во всяком случае, мне удалось в нее вписать те места, которые мне так дороги у него и насчет «сволочного духа», и «либералов», и «свободного художника», и того, что народу нужны вера и красота, а не только материальные блага. Вот это писалось прямо в современность, только этого никто, кажется, не заметил, статья затерялась в толстой книге, а мое исповедание веры по Чехову — словно глухая исповедь. А ведь это действительно исповедание веры, только, как говорится в послании апостола Иакова: «Вера без дел мертва». А ни у кого так не расходится вера с делами, как у современного литературного критика, вернее, не осуществляется в делах. Вам-то что, художникам, у вас всегда есть возможность написать о росинке, трепетно поблескивающей румяным утром в чашечке полураскрывшегося цветка, но не может же критик писать о росинках. Вот и буду писать о «боевых трубах поэзии» в «Красную звезду», благо заказали рецензию на сборник военной лирики. Жить же ж надо ж! Вспоминаю разговор с тем же Эдуардасом. Я как-то сказал ему: «Меня немного пугает, что в последнее время вы совсем ушли в воспевание предметов искусства, разве нет других вопросов?» А он мне: «Вы, — говорит, — дайте мне возможность писать о других вопросах». Тут я и расхохотался. Сидит передо мной секретарь Союза писателей, депутат Верховного Совета и говорит: «А вы дайте мне». Во-о! «Думающих людей у нас не любят», — пишете Вы. Господи! А где и когда их любили? Читал недавно 24-й том Золя — его литературные статьи, что ни строчка, то прямо о нас — грешных. И что самое обидное, что в отношениях к художникам никакие мы не марксисты, а самые отчаянные последователи Прудона, желавшего, чтобы розы употреблялись в салат. И к тому же невежды. Вот Вы пишете о том, что мало знаете. А я, думаю, много? До жути обидно, оскорбительно даже, что в 55 лет остался темным полудеревенским парнем, так, кое-что кое-где похватавшим, «как бежала я через мосточек, ухватила кленовый листочек». А когда было хватать? Только в ранней юности в результате бессистемного чтения. Лег в 19-ть я пытался и Гегеля читать, и в Кагга лазить, что

уж я там пожимал — другое дело, но хоть читал, а потом работа, работа, работа. Ну вот в деревне избачом года полтора — тоже время было, но ведь и девки были. В Литинституте первые два года тогда были вечерними, днем на работе: успевай лишь то, что по программе, прочесть, потом армия, где не до чтения, работа в армейской печати лет шесть, в «Лит. газете» — еще хуже, при Ермилове газету раньше семи утра в печать не подписывали, в «Знамени» — первый зам. — рабочая лошадка! Наконец вот уж десять лет я «вольный рабочий». И что же я читаю? Рукописи, чужие рукописи, как окаянный, одну за другой — нужно на что-то жить! Я не жалею, я просто выясняю, почему остался темным. И, честно признаться, даже культуры чтения не развил в себе — все больше беллетристику, а как что-нибудь серьезное, так оказывается мозга слаба, скоро утомляется, и выходит: и жить в свое удовольствие не жил, и читать не читал, и ни хрена пугшего не сделал. Только все утешаем себя, что потомки наши подвиг оценят. Черта лысого! У этих потомков своих бед будет — не оберешься. Только им и думать, что о наших подвигах. И еще скажу: в Ваши годы, молодой человек, у меня еще ни одной книжки не вышло, а у Вас во-он их сколько! Так что печего передо мной своей необразованностью щеголять, во-первых, у Вас еще время есть многое наверстать, а во-вторых, по части темноты я, может, от Вас на сто очков вперед ушел и только свой убогий багаж научился хитро выказывать. Так сказать, приспособляемость человеческого организма. В последних письмах я, наверное, много брюзжу. Что поделаешь? Как писал некогда Ваш Павел Васильев:

Вот уж к двадцати шести
Время близится годам,

А мне не с кем отвести
Душу, милая мадам.

Ну, а если к 56-ти — и на внимание мадамов рассчитывать не приходится? Вот я и вышужден вцепиться, как энцефалитный клещ, в Вас, мой родной. Вы уж простите, благо Вы человек добрый и не удастся Вам озлобиться. Чего Вы, кажется, боитесь, даже если общие обстоятельства не будут особо благоприятствовать. Где уж нам уж. Посердимся, пофырчим, на близких сердце сорвем, да на том и успокоимся — гори все пропадом!

Ну что Вам сказать о московских новостях? Не такие они уж веселые, хотя и столичные. В «Октябре» погорел роман... Бабаевского. В «Москве» — Елизаара Мальцева и,

кажется, стихи Винокурова. У Перцова в статье выкинули упоминание о каких-то стихах Смелякова. Пришла верстка Наташиной книжечки, а по пути из редакции в типографию еще один острый рассказец полетел. Но она теперь у меня после болезни умная стала — я, говорит, решила не волноваться, хушь что ни случись, жалко, конечно, что после всех утрясений вместо восьми листов всего около шести осталось, и денег меньше будет. Вот это я понимаю, очень правильный, я бы сказал, даже идейный подход. Будем следовать гегелевскому «все действительное разумно» и радоваться тому, что пока действительны и речка Быковка, и затаившиеся подо льдом харьюзы, и «снег до окошек деревни лежащий», и «зимнего солнца холодный огонь», и мы с Вами...

Да, вот и отрадная новость, статья в «Правде» от 20-го января — письмо какому-то проработчику из ПЭИ, обвиняющему своих коллег в безыдейности, нарушении принципов марксизма и т. д. Очень меня порадовала эта статья, очень она своевременная, ибо уж вострыя зубы те, кто любую попытку что-то по-своему осмыслить объявляют враждебной пропагандой. <... >

Низкий мой поклон Марии Семеновне, очень я рад, что у нее с Наташей какие-то свои печки-лавочки, своя переписка. Привет Андрюше и Ирине, и Вашему старшенькому, с которым, рано или поздно, я теперь, видимо, познакомлюсь.

Наташа и все мои домочадцы, включая самого благо-разумного из них — Карая, желают Вам поскорее появиться у нас. Так-то.

Ваш А. Макаров.

Глупо так подписываться, как на ведомости, а одним именем страшновато. Вам-то хорошо, Вы молодой, а про меня подумаете небось: и чего он в друзья лезет? Поздно. Все равно уж влез, а?

Если не видели японского фильма «Гений дзюдо» — посмотрите. Стоит.

Хотя Александр Николаевич утешал себя и меня в отношении дремучей нашей отсталости, ссылаясь на прошлое страны, на безграмотность ее, радоваться и удивляться, мол, надо, что еще и столько-то знаем, ведь как и где учились-то — утешение ох какое слабое! Война сбила нас с ноги, справедливо, однако ж это все нисколько не оправдывает, по-моему, наших читателей, которые не просто не знают, а исключили из обихода своего таких заме-

чательных писателей, как Лесков, Мамин-Сибиряк, Салтыков-Щедрин, обоих Успенских, Горбунова, Гаршина, Андреева, Писемского, Слепцова, Телешева и многих-многих других, нашу дивную провинцию, которая составила бы честь иной, даже европейской пации, а у нас, по выражению моего знакомого критика, загороженную гениями прошлого и заваленную пынешним мусором, да и тех, что вроде бы знаем, но только кажется, что знаем, их большей частью проходили в школе.

Александр Николаевич однажды грустно мне признался:

— Хвалил недавно товарищей поэтов на Высших литкурсах, на Высших! А они плохо знают батюшку Крылова, да что там плохо, совсем почти не знают, помнят несколько басенок из школьной программы — и все. Даже такой блистательной басни, как «Сочинитель и Разбойник», большинство не только не читали, а и слыхом не слышали...

Тут и я скромно признался, что об этой басне ни слухом, ни духом, хотя Крылова вроде бы с детства люблю.

— И вы?! — остановился против меня Александр Николаевич. — Ну, вам-то и вовсе непростительно... Да в этой басне, отец мой, ярче яркого проявилась одна из самых устойчивых особенностей русской литературы — говорить о своей профессии с иронией, с добродушнейшим или злым юмором, и вообще русской, пожалуй, только русской литературе дано говорить о своем и всеобщем горе с юмором — этакий пашенский доморощенный смех сквозь слезы. Ну а это, блоковское-то: «За городом вырос пустынный квартал на почве болотной и зыбкой, там жили поэты, — и каждый встречал другого надменной улыбкой...». Это-то хоть слышали?

Я сказал, что слышал, да и то совсем недавно, на курсах уже.

— И вообще, — заметил я, — многое впервые познал на курсах, как из области интимы, так и в пределах литературы, городского транспорта, торговли, редакционных тайн.

— Во, язва! — расхохотался Александр Николаевич. — Однако же слушайте батюшку-то Крылова. — И Александр Николаевич прочел, как всегда на память, действительно выдающееся сочинение баснописца и действительно мало известное читающей публике, в том числе и литературной, в чем потом убеждался, и потому, хотя басня и длинная, перепечатываю целиком, в паизданис, что ли.

СОЧИНИТЕЛЬ И РАЗБОЙНИК

В жилище мрачное теней
На суд предстали пред судьей
В один и тот же час: Грабитель
(Он по большим дорогам разбивал,
И в петлю, наконец, попал);
Другой был славою покрытый Сочинитель:
Он тонкий разливал в своих твореньях яд,
Вселял безверие, укоренял разврат,
Был, как сирена, сладкогласен,
И, как сирена, был опасен.
В аду обряд судебный скор;
Нет проволочек бесполезных:
В минуту сделан приговор.
На страшных двух цепях железных
Повешены больших чугунных два котла:
В них виноватых рассадили,
Дров под Разбойника большой костер взвалили;
Сама Мегера их зажгла
И развела такой ужасный пламень,
Что трескаться стал в сводах адских камень.
Суд к Сочинителю, казалось, был не строг;
Под ним сперва чуть тлелся огонек;
Но там, чем далее, тем боле разгорался.
Вот веки протекли, огонь не унимался.
Уж под Разбойником давно костер погас.
Под Сочинителем он злей с часу на час.
Не видя облегченья,
Писатель, наконец, кричит среди мученья,
Что справедливости в богах нисколько нет;
Что славою он наполнил свет
И ежели писал немножко вольно,
То слишком уж за то наказан больно;
Что он не думал быть Разбойника грешней.
Тут перед ним, во всей красе своей,
С шипящими между волос змеями,
С кровавыми в руках бичами,
Из адских трех сестер явилася одна.
«Несчастный! — говорит она, —
Ты ль Провидению пеняешь?
И ты ль с Разбойником себя равняешь?
Перед твоей ничто его вина.

По лютости своей и злости,
Он вреден был,
Пока лишь жил;
А ты... уже твои давно истлели кости,
А солнце разу не взойдет,
Чтоб новых от тебя не осветило бед.
Твоих творений яд не только не слабеет,
Но, разливаясь, век от веку лютееет.
Смотри (тут свет ему узреть она дала),
Смотри на злые все дела
И на несчастья, которых ты виною!
Вон дети, стыд своих семей, —
Отчаянье отцов и матерей;
Кем ум и сердце в них отравлены? — тобою.
Кто, осмеяв, как детские мечты,
Супружество, начальство, власти,
Им причитал в вину людские все напасти
И связи общества рвался расторгнуть? — ты.
Не ты ли величал безверье просвещеньем?
Не ты ль в приманчивый, в прелестный вид облек
И страсти, и порок?
И вон, опоена твоим ученьем,
Там целая страна
Полна
Убийствами и грабежами,
Раздорами и мятежами
И до гибели доведена тобой!
В ней каждой капли слез и крови — ты виной.
И смел ты на богов хулой вооружиться?
А сколько впредь еще родится
От книг твоих на свете зол!
Терпи ж; здесь по делам тебе и казни мера!
Сказала гневная Мегера
И крышкою захлопнула котел.

В тот же, по-моему, раз, после письма, где я хвалил статью о Чехове, действительно великолепную, лучшую, на мой взгляд, статью из всего написанного А. Н. Макаровым, бредящего Чеховым, заявил, что хотя статья мне и понравилась, но Чехова самого я не люблю и вяло читаю.

— Да вы что?! Шутите?

— Нет, не шучу, Александр Николаевич, считаю этого классика скучным, однообразным нытиком. Из пьес его приемлю только «Иванова», из нее, по-моему, и выросли

все остальные его пьесы. Из прозы — «Степь», «Каштанку», «Ваньку Жукова» да «Человека в футляре». А все эти дамочки и молодые лоботрясы, восклицающие: «Хочу работать! Дайте мне работы!» — надоедны и неправдоподобны. Все его взлохмаченные, умно рассуждающие доктора, везде одинаковые, рассказ «Невеста», который вы и многие другие понимают шедевром, напишет нынешний средний писатель, а Гоша Семенов, Юра Казаков да Сережа Никитин — так еще и лучше.

— Да как вы можете! Я вас приблю! Провинциал! О чем, о Чехове, эшелон литературы написан, им зачитываются во всем мире!..

— Знаю, — отвечал я. — Хорошо об этом знаю. Сомерсет Моэм в своих воспоминаниях говорит, что в двадцатых годах кто не подражал Чехову, не принимался в Англии всерьез как писатель, особенно в новеллистике.

— Вот-вот. А вы?!

— Что я? Что, мне тут же и менять свое мнение, что ли? Толстому вопи Шекспир не нравился...

— Так то Толстой!

— А я, значит, топкий? — съязвил я.

— Ага, ага, без Чехова-то не можете! Ага... Он, братец мой, уже в костях у нас, в крови, как известь, как железо. Как эти самые, как их? Лейкоциты или гемоглобин, растворены. Без них и жизни нет!..

— Подковали вас в больнице-то!

— Чего?

— Медицинскими терминами дуете!

— А Чехов доктором был и бесплатно больных лечил, вот вам!

— А зачем он тогда бедного провинциального учителя обкакал, если он добрым был?

— Какого такого учителя? Что вы голову морочите!

— А вот какого! — И тут я достал записку, припасенную мной специально для такого разговора. Записка вырезана и прислана мне товарищем все из той же Тульской области, из газеты «Заветы Ильича» города Кимова, и называется она «Человек в футляре». Записка настолько любопытна, что я ее приведу целиком.

«Подшивку допской газеты «Приазовский край» за 1903 год. В одном из февральских номеров читаем: «На днях схорошили инспектора Таганрогской мужской гимназии, Александра Федоровича Дьяконова. Та самая гимназия,

где учился А. П. Чехов, и тот самый инспектор! Да-да, прототип «человека в футляре».

Чехову было о чем писать. Александр Федорович — зануда и скупердяй. О нем говорил весь город. Достаточно было гимназисту поклониться начальству или на слишком близком, или на слишком далеком расстоянии, инспектор сажал его под арест. Достаточно было Александру Федоровичу встретить гимназиста на улице после захода солнца, как на другой день смущенный гимназист уже стоял перед инспектором. «Вчера вы шли по Петровской улице с видом искателя приключений, это, безусловно, безнравственно. Извольте сесть в карцер и выучить наизусть все гимназические правила!»

Он не разрешал гимназистам ходить в публичную библиотеку, потому что она имела безнравственное название.

Он состоял гласным Думы, но вся его деятельность выражалась лишь в одном — Дьяконов следил, чтобы его коллеги курили в курительной комнате, но отнюдь не в ретиреде. Человек владел сотней тысяч рублей и двумя большими домами, а сам обедал не каждый день, его сюртук, пальтишко и рубашка не менялись двадцать лет; в его комнате были стол, два стула, кровать и больше ничего. Он никого не принимал — если к нему раздавался звонок, Александр Федорович выглядывал в дверь и сердито бросал: «Завтра в гимназии». И дверь захлопывалась.

Таким был инспектор Дьяконов. Сам просился в литературу.

Но когда он умер, то оказалось, что свои сто тысяч он завещал народному учительству, а оба дома — под городское училище. По словам нотариуса, у которого хранилось завещание, Александр Федорович говорил:

«Ну зачем деньги были нужны мне, одинокому человеку? Я мог прожить и без них. Я думал о бедном учителе. Сплошь и рядом большая семья, жена и за хозяйку, и за кухарку, и за горничную, и за няньку, да еще, поди, больная. Вот кому нужны-то деньги».

Все учительство вышло провожать Александра Федоровича в последний путь, вся таганрогская интеллигенция была на похоронах, чтобы снять шляпу перед этим человеком».

— Ну как? — припирал я примолкшего критика к стене. — Хорошо было Вашему любимому писателю! А напиши-ка сейчас кто из нас подобное — все сов. учитель-

ство на дыбы поднимется: «искажает действительность!», «грязью облил благородную профессию!», «надругался над светлыми чувствами!..»

— Опасный вы человек! — махнул на меня рукой Александр Николаевич. — Опасный и коварный. А до Чехова вам еще расти да расти. На старости лет еще плакать будете над его страницами и у меня извинения просить, целуя вот сюда, — показал он на маковку.

А далее говорили уже без шуток, и не только о мировосприятии художника, но и о формировании его характера и вкуса. Не моя вина, а беда в том, что я, допустим, равнодушно воспринимаю архитектуру, в том числе и древнюю, ничего не понимаю ни в церквях, ни в иконах, ни в монастырях, ни в росписях. Смотрю на них, слушаю о них и не нахожу того высокого, волнующего искусства, которое заключено в творениях Дионисия, Рублева, хотя охотно верю, что приседающие перед ними с благоговейным придыхом, переходящим в шепот, искусствоведа, очевидно, правы, утверждая, что это не просто искусство, но величайшее из всех искусств.

Как говорил Достоевский, пусть по другому поводу, но соответственно и к предмету моего рассуждения: «Есть такая тайна природы, закон ее, по которому только тем языком можно владеть в совершенстве, с каким родился, то есть каким говорит тот народ, к которому принадлежите вы».

И где же мне, выросшему в полудиком сибирском селе, в котором была одна деревянная церковь, и ту сперва приспособили под пекарню, потом и вовсе свели на дрова, раз или два бывавшему в городской церкви с бабушкой, пока непримиримо настроенные атеисты не рванули динамитом ее так, что во всех городских кварталах вокруг стекла в домах повывлетали, когда на моих глазах второй собор на нынешнем проспекте Сурикова куда только и как ни приспособляли, а в караульной часовне на горе Караульной попросту оправлялись и писали непристойности на стенах, — где же и как мне было научиться восприятию мира в том виде и чувстве, как его «слышит» и «видит», допустим, художник Борис Горбунов, родившийся и выросший в городе Кириллове, возле стен монастыря, и с раннего детства, еще когда он, может, и говорить-то не мог, впитывавший все это благолепие.

Естественно, что и в чтении я не мог «подбортнуться» к тихому Антону Павловичу, ибо рос на литературе сибир-

ряков: Петра Петрова, Вячеслава Шишкова, Лидии Сейфуллиной, Всеволода Иванова; естественным путем пришел к Горькому; Бунина открыл для себя лишь в сорок лет, по не зависящим от меня причинам; сейчас вот кумир мой — Достоевский, начинаю серьезней вчитываться в Гоголя, Льва Толстого.

— Эстетический вкус и всякая прочая культура, Александр Николаевич, на голом месте не возникают и от одних лозугов и маршей, даже если они называются маршами энтузиастов, не приходят. Как это там у товарища Менделеева? «Искать что-либо, хотя бы и грибов или теорию зависимости, нельзя, не смотря и не пробуя». Ваше, кажется, любимое изречение?

— Мое любимое?! Да-да! А с вами, Вик Петрович, не заскучаешь! — после долгого молчания с грустной задумчивостью произнес Александр Николаевич.

Стоит обратить внимание, что ни в одном из писем Александр Николаевич не сделал мне упрека по языку, и, когда я спрашивал его, не перебираю ли с этими самыми областными речениями, он говорил, что да, конечно, переборы местами есть, но они не очень режут слух и выглядят вполне естественно, во всяком случае, на его «деревенское ухо и взгляд», вполне естественно. И потом, столько народу сейчас в нашей литературе «недобирает», что один «перебирающий» как-нибудь сойдет, «стерпится», посмеялся он, и я, чтоб еще больше повеселить критика, рассказал ему о том, как дочка прозаика Анатолия Знаменского, того самого, который был однажды здесь и заговорил нас, утверждая, что мы еще встретимся не раз и наболтаемся, а ему такая возможность предоставляется редко, так вот, дочка Знаменского, по имени Оля, поступая в первый класс, дала нам «урок» языка.

Как и всякое современное, рано развитое дитя, Оля бегло читала до поступления в школу и «Букварь», ей купленный, тут же «проработала». И когда мы, сидя в комнате Знаменского в общежитии Литинститута (литературных курсов), о чем-то говорили и заспорили, девочка остановила нашу полемику возгласом: «А я вот вам сейчас прочитаю из букваря — и вы ничего-ничего не поймете!»

И девочка прочтала: «У Калиныча в хлеву завелся хорь. Калиныч поставил в хлеву капкан. Хорь попал в капкан».

«Ну как? Ничего не поняли?!» — почему-то радостно спросило дитя.

Мы и приутихли в горячем споре. В самом деле: како-во-то ребенку? Городское дитя, она не знает слов «Калиныч», «хорь», «хлев», «капкан». Не знает не только слов, но и предметов, означенных в тексте, но ее заставят зубрить этот и подобные тексты. Потом она сама выйдет в учительши, и вышла уже, наверное¹, и тоже заставит кого-то зубрить, да не исключена возможность, что и люди, составлявшие «Букварь», тоже не знают многих слов и предметов, означенных в нем, ведь они тоже учились языку в городе, грамоте — по таким же вот учебникам. И получается замкнутый круг: с одной стороны, поношение народного языка, особенно «диалектизмов» и всяких там областных словечек с непрменной ссылкой на статью Горького против засорения литературного языка (думаю, будь Горький жив, он бы давно раскаялся в содеянном), ибо кому только не служила щитом или дубиной эта самая злополучная статья, ведь дело доходило до того, что в изданиях Детгиза вычеркивались «Ванька», «Санька» — как слова грубые, вульгарные, «деревенские», слово «дурак» почиталось чуть ли не матерщинным, и от него редакторы валялись со стула в обморок, что совсем не мешало им, однако, во время перекура, где-нибудь в конце коридора, в глухом уголке, крыть самым натуральным матом тогдашнего главного редактора товарища Камира за какую-либо оплошность или графоманов, тучами слоняющихся по коридорам этого огромного, вполне приличного издательства, первым в Москве напечатавшего и сего многогрешного «аза».

Ханжество, брезгливо-барское отношение ко всему отечественному, «сермяжному» — это уже было, и не раз, в истории нашей, и партизаны российские во время далекой Отечественной войны не одного дворянина русского, изъясняющегося только по-французски, но не умеющего говорить на родном языке, порубили в «котлету» как злодея-«мусью».

Жаль, что горькие и смешные уроки истории воспринимаются у нас как-то слишком легкомысленно и как-то замкнуто, а вопросы языка — как что-то стоящее в стороне от главных вопросов жизни. Ох, заблуждение-то какое тяжкое и давнее!

¹ Вышла! Вышла! Когда я напечатал отрывок из этой книги в журнале «Смена», Оля, теперь уже учительница Ольга Анатольевна, откликнулась умным, добрым письмом — учу, мол, учу, куда же деваться-то?!

Вот послушаем-ка, что говорил почти двести лет назад радетель и хранитель русского языка Владимир Даль: «Нет, языком грубым и необразованным писать нельзя, это доказали все, решавшиеся на такую попытку, и в том числе, может быть, и сам составитель словаря; но из этого вовсе не следует, чтобы должно было писать таким языком, какой мы себе сочинили, распахнув ворота настежь на запад, надев фрак и заговорив на все лады, кроме своего, а из этого следует только, что у нас еще нет достаточно обработанного языка и что он, не менее того, должен выработаться из языка народного. Другого, равного ему источника нет, а есть только еще притоки; если же мы, в чаду обаяния, сами отсечем себе этот источник, то нас постигнет засуха, и мы вынуждены будем растить и питать свой родной язык чужими соками, как делают растения тупеядные, или прищепой на чужом корню. Пусть уже всяк своим умом рассудит, что из этого выйдет: мы отделимся вовсе от народа, разорвем последнюю с ним связь, мы испошлешм еще более в речи своей, отстав от одного берега и не пристав к другому; мы уьем и погубим последние нравственные силы свои в этой упорной борьбе с природой, и вечно будем тяпуться за чужим, потому что у нас не станет ничего своего, ни даже своей самостоятельной речи, своего родного слова.

Не трудно подобрать несколько пошлых речей или поставить слово в такой связи и положении, что оно покажется смешным или пошлым, и спросить, отряхивая белые перчатки: этому ли нам учиться у народа? Но, не гаерствуя, никак нельзя оспаривать самоистины, что живой народный язык, сберегший в жизненной свежести дух, который придает языку стойкость, силу, ясность, целостность и красоту, должен послужить источником и сокровищницей для развития образованной русской речи...»

Но послушаем и современного идеолога «из отсюда», к сожалению, фамилию его я не записал, и, может, пропикнемся страшной серьезностью того, что он проповедует:

«...Все назначение состоит в том, чтобы сузить границы мысли. В конце концов мы сделаем преступление мысли буквально невозможным, потому что не останется слов для его выражения. Каждое необходимое понятие будет выражаться одним и только одним словом с совершенно определенным значением, а все побочные понятия сотрутся и забудутся... С каждым годом все меньше и меньше слов и все уже и уже границы знания. Революция будет

завершена, когда язык станет совершенным. Приходило ли вам в голову, что к 2050 году, самое позднее, не останется в живых ни одного человека, способного понять разговор, который мы сейчас ведем?»

Вот так напористо, «весомо и авторитетно «проповедует» совершенство языка» один из многочисленных западных теоретиков. Уверенно, с загадом в «историческую перспективу», рассуждает фашиствующий «мудрец», а у нас седовласые дяди с учеными степенями рубахи рвут друг на дружке, споря о том, понятно ли современному, особенно молодому читателю, слово «кубыть» и как с этим «кубыть» быть? Включать его в словари только академические, чтоб не засорять им все остальные, или уж махнуть рукой на «чистую науку» и оставить в обиходе «кубыть», ведь у самого Шолохова встречается. И как же все-таки не надоест людям это самое «читатель не поймет». Сейчас есть категория людей, и не малая, которым слово «лажа», «бормотуха», «саяковать», «балдеж» и «хипшеж» — понятней и ближе, чем, скажем, такие древние слова, как «совесть» и «работа», так что же, писателям присесть перед ними: «Ах, вам непонятно? Простите!»

Следующее письмо Александра Николаевича мне бы хотелось как-то выделить. Наверное, его, это письмо-исповедь, следовало бы поставить в начале книги, но раз уж я стал придерживаться хронологии, по которой видно движение и мысли критика, и времени нашего в какой-то мере, и наших с ним отношений, то и не стану нарушать ее, эту самую хронологию.

Дорогой Виктор Петрович!

Получил вчера Ваше прельстительное письмо и вдоволь набродился вместе с Вами и Вашим волкодавом Спирькой по коса-линым ямкам и наледи, вроде бы даже и морозным воздухом подышал, и тишину послушал. Лежа. Что-то я совсем разладился, уложили в постель, советуют на три недели лечь в клинику, да ведь Наташа все равно не отпустит. Порадовался было тому, что Вы приедете в начале февраля на пленум, а вчера вечером пришла Евгения Федоровна и сказала, что пленум перенесли на март.

Ночью с 28 на 29 умерла моя мачеха. Мне сказали утром, ибо после всяких уколов я наконец заснул.

Что вам сказать? Странное какое-то ощущение. Конечно, ей уже было 86 лет, а все же жалко, какая-то часть жизни — лет десять было прожито вместе. Она была хо-

роший человек и не обижала меня, а уж когда стал взрослым — и ценила. Любила ли? Не знаю. Да и столько уже ушло людей, которые были мне ближе и дороже, я как-то привык к тому, что все «мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тишь и благодать». Вот лежу и думаю — вспоминаю. Думаю о том, что каждый из нас постепенно уходит, когда уходят люди, составляющие как бы часть тебя, и постепенно среди новых поколений начинаешь себя чувствовать как незваный гость, докучный и чужой; вспоминаю свое отрочество — невеселым оно было. В детстве я оцепь был избалован лаской и добротой. Мать умерла, когда мне было две недели. Взяла к себе бабушка — школьная сторожиха, в которой много было схожего с тем образом, какой Вы восстанавливаете в своих рассказах. Взяла со страхом, боялась учительницы, очень строгой, а в прежние времена сторожиха, в сущности, была и прислугой при учительнице. Страх тем более был силен, что в школу она поступила лет за 15 до того с дочкой, моей матерью, и учительница то и дело корила ее этим. А тут опять. А что было делать? Отцу 23 года, его мать служила где-то экономкой у богачей в Кимрах, отец в Москве, и меня отдали отцовской тетке в деревню, у которой своих был целый выводок.

Там я и пребывал первый год жизни, пока бабушка не пришла навеситить и увидела запаршивевшего младенца, завопила, завернула в полушалок да и пошла, как рассказывала, все шесть верст шла да Бога молила: «Прибери, Господи, Шурку». Но Бога, как известно, нет, либо он плохой помощник.

К счастью, учительница, старая дева, воспылала любовью к брошенному ребенку, и остался я при школе. В сущности, этой учительнице, Софье Дмитриевне, я и обязан и воскрешением своим, и материальным благополучием в детстве. Куда же было бабушке с ее пятью рублями жалованья? Видел я от нее только доброту и ласку, а ведь были годы тяжелые, бесхлебные (1913—1923), и только за одно она, бывало, на меня дулась, что, когда бабушка уходила в город, я ревел, а когда она — нет. Словом, в детстве я был и облелеян, и облизан, и всякое благо в меня вливалось. Бабушка носила в лес, на козлах, да в поле (по летам она работала у попа на косье да жнивье), а учительница приучала к книге. Собственно говоря, я сам выучился с малых лет. Как любимчик Софьи Дмитриевны, в любое время мог заходить в класс, и даже место

на первой парте было мне отведено, вместе с ребятами орал буквы-звуки и в три с половиной года начал читать бегом, даже не по слогам.

Вроде бы я помню этот вечер, сижу с бабушкой на кухне, где мы жили, и читаю ей какую-то сыгинскую книжку (их у меня было много), вдруг вихрем влетает С. Д. — была она резкая, рослая, красивая, совсем непохожая на учительниц, в литературе изображаемых, ее и ученики, и отцы (бывшие ученики) трепетали — и спрашивает: «Анна! Что это Шурка тут у тебя разговорился, я из-за стенки слышу?» — «Да вот, — отвечает бабка, — говорит, что читает, так, болтает что-то». Я обиделся и тут же продемонстрировал свои возможности. Учительница в ужас пришла и наутро повезла меня в город, к врачу, которого обычно вызывали ко мне — в раннем детстве я хворый был.

«Андрей Петрович! Он читает». — «Читает?» — «Да, читает». — «А вы, С. Д., заставляете?» — «Что вы! Помилуй Бог!» — «Ну, тогда вам-то какое дело? Пусть читает». Хороший был врач и человек. Да за что-то расстреляли его в 1918 году, это когда на Волге готовился эсеровский мятеж. А тут гражданская война, приехала сестра учительницы, бывшая начальница гимназии. Стала второй учительницей и от скуки принялась меня обучать немецкому и французскому. Бабушке, конечно, лихо приходилось, из сил рвалась, чтобы угодить, всякое бывало, но на меня-то одна благодать изливалась!

И после такой благодати и деликатного женского воспитания попал я к отцу, в Москву. А что было делать? Сельскую школу кончил и благодаря ей грамотным навек сделался, ходить в город далеко, а напимать квартиру средств нет. А отец года с 1918 по летам к нам наезжал, он рыбной ловлей увлекался. А за ним и новая семья стала приезжать. Очень милая, ласковая учительница с бабушкой напополам в голодные годы корову завели и отца привечали — авось Шурку возьмет, в Москве будет учиться.

И взяли. И по-доброму взяли. Только уж больно кислым мне, пабаловапшному, московский рай показался. Отец уже пил, в деревню приезжая, он держался, а тут стесняться было не перед кем, мачеха разрывалась от хлопот, сестренке два года, а через три года еще Анатолий родился — я и в мальчиках: я и в пяньках. Учиться они мне давали и даже гордились успехами, и все же не родной. И обувать, одевать приходилось все тем же учительнице с бабушкой, уж как они это на свои пенсии (40 у одной, 28

у другой) ухитрялись, не знаю. Помню только, приехала бабушка в Москву и говорит мачехе: «Марья Федоровна, да как же у тебя Шурка в школу-то ходит, ведь у него задница голая». Но это еще все с полгоря. Первые годы так и сяк, отец, бывало, и протрезвится, книжки зачнет читать, а дальше худо пошло. Очень хотелось ему в нэповские годы «хозяином стать», ан ничего не вышло, и он опускался как-то очень быстро, и тут все на мачеху, она тоже портнихой была, легло. А у нее своих двое. Главное, уж очень атмосфера-то была куда как не тепличная. Помню, после первого года приехал я в деревню на лето и такие песенки учительнице пропел, что у нее глаза на лоб вылезли. Нет, без охальщины, конечно, охальщина-то, впрочем, ею в деревне не удивишь, а что я все эти слова знаю, они знали. Но вот чтобы их нежный Шурка, еще до отъезда сентиментальные стишки сочинявший, вдруг с восторгом открывателя пел про пьяного, обнявшегося со свиньей, — это было выше разума.

Ну, понятно, чем больше я подрастал, тем конфликт обострялся, кончил (вернее, не кончил, но этого никто не знал) девятилетку, потянуло бродяжничать, года два работал где попало, и на меня махнули рукой. Мачеха говорит: «Он только романсье почитывает», отец нет-нет и ляпнет: ни <... >, мол, из тебя не выйдет. Потом, слава Богу, это уже в тридцатом году, год проучился в ЦИТЬе на слесаря, послали в Березники, ан там слесари еще не нужны были, да за год нас ничему, кроме «ласточкина хвоста», не научили. И сбежали мы всей группой, опять, значит, к отцу, бабка в деревне сама голодает, она жила уже в доме отца, куда все на лето ездили, но коровы уже не было, да и ничего не было. Хорошая соседка пристроила счетоводом в бюро заборных книжек — пошла зарплата приличная, а все же через года полтора удрал, как Ваш Илька, только уже взрослым, в деревню, к бабушке, стал избачом и нежданно-негаданно в 1934 году был премирован на олимпиаде колхозной самодеятельности учебой в Литинституте. И опять в семье отца — ну, правда, тут уж все по-иному, стипендия 225 рублей, в те годы деньги приличные, дома уж вроде защитника мачехи от пьяного отца, тут-то и сложились те хорошие отношения, что держались до конца ее дней.

А когда в 37-м женился, ушел к теще, совсем стало хорошо — всего ведь две комнатки было, мне пора «за-

муж» выходить, Анатолий тоже подрастает, и мой уход был очень кстати. А отец умер еще в 1935 году. Наверное, во многом я тоже немало ей досадила, тоже ведь не сахар мальчик, с претензиями, который вместо того, чтобы шить с отцом, пропадает где-то днями по библиотекам. Единственное, что меня утешает, что последние лет десять она прожила спокойно, мы ее избавили от Анатолия — он весь в отца вышел, пьет, буянит, дерется с ними, бывало, а тут его в руках держали маленько. Пока трезв — все ничего, пьяный — словно подменили. И устал я маленько от него, устал. Вчера напился с горя, закатил скандал, ты, мол, мать не любил, а она тебя любила и все мне тобою в нос тыкала — вот, мол, Шурка хороший, а ты пьяница, пропащий человек. Уж не знаю, действительно ли она меня любила больше его, все это чепуха, но в нос мною действительно тыкала, и зря. К матери, пока была жива, его, бывало, и не прогонишь навестить, а сейчас чуть не в истерике бьется. Сложна душа человеческая.

Ну вот, дорогой Виктор Петрович, разговорился я, может, о чем и не надо, ну да ведь поговорить-то мне не с кем. Наташа, как окаменная, посится в связи с организацией похорои, сестра от горя расклеилась, Анатолия одного отпустить куда пельзя, папнется, не дай Бог, в вытрезвиловку попадет, а я лежу и поговорить не с кем. А что делать дальше — не знаю, теперь у него своя комната, не отпустить туда мы его не можем, а там ведь пропадет. И удерживать его теперь в рамках некому, все же, бывало, мать и попугает его — живи, мол, там, ты мне не нужен, что я с тобой делать буду. А вот он десять лет жил — и не помогло. Неужели все-таки наследственность — такая преодолимая штука и прав Золя? Да и не только наследственность тут — пятнадцати лет ушел он на войну, какой-то генерал в госпитале, где он работал электромонтером, смаил его, сделал там личным шофером, хватил он и генеральских объедков, и жизни легкой в Германии первых послевоенных лет, и вернулся, в сущности, человеком без воли и характера: скажут — сделает, а дума одна — как бы выпить.

Вот видите, никак не могу остановиться, а давно пора перестать выдавать «семейные тайны». Трепач я, да?

Так нет же, не совсем. О нашей общей с Вами немочи — литературе я тоже думаю. Сколько ее ни посылай к черту, все равно не даст покоя эта болячка.

Раскрыл вчера «Юность» — Боже ты мой! Роман Ав-

деенко: «Я люблю». Вторая часть, написанная через тридцать лет после первой, — рабочий Шолохов объявился! По правде говоря, я первую часть когда-то читал, но убей меня Бог, чтобы хоть что-нибудь сейчас помнил. А открывается журнал повестью Титова «Всем смертям назло» — в послесловии Полевой объясняет, что она написана бывшим шахтером, потерявшим обе руки, как Ваш герой, что карандаш он держал в зубах и счастлив с женой и ребенком. Прочитал несколько страниц — по-моему, это страшно, фразы одна бапальшей другой, думает герой только правильно и только о бригаде и об озеленении. Господи, конечно, то, что сделал этот парень, — подвиг мужества, даже если он понимал преимущество своего положения, только ведь литературе-то пужны страстотерпцы духовные, а не физические.

Ну, будя. Наскулил столько, что Ваш Спирька, небось, за все отсутствие хозяев не наскулил.

Марии Семеновне сердечный поклон. Все — Наташа, Аннета, и Юрий, и Анатолий — всем кланяются. И пудель тоже.

Давайте лапу.

Ваш А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович!

Не хотел я Вам писать по причинам, о каких сообщал Марии Семеновне: дабы не заслопал для меня Виктор Петрович писателя, о котором пишу, кажется, уже семидесятую страницу. Но приходится, поскольку Вы пребываете в мерехлюндии послегриппозной, в таковой и я пребываю добрых месяца полтора. Видите, как получается. У меня мерехлюндия пока прошла, хотя положение в общем не изменилось. Неделю назад меня опять прихватило, да так, что пачался повый круг исследований, теперь подозревают, что какая-то поджелудочная железа шалит. Конечно, я предпочел бы, чтобы у меня селезенка екала, как у юного жеребчика, но увы, года не те. Это и помешало мне закончить статью хотя бы начерно — один день даже с воды тошило, а два дня отлеживался в каком-то полусонном состоянии, столько в меня всяких утопяющих вкачили. Но, как видите, духом не падаю.

Вы — умница, что в марте не поедете. Дюмы потому и писали много, что на плепумы не ездили и редакторов не ждали. Сколько мы убиваем времени на то, пока кто-то прочтет да извлечет из себя всякие замечания. Не очень-то Вы поддавайтесь редакторам. Ну как Вы могли согла-

ситься, чтобы после слов: «У бабушки на все свои объяснения» все эти объяснения при перепечатывании выкинуть? Эко дело, старуха измену подозревала. Это же естественное для нее объяснение. Что Вы даете оципывать себя, как курицу? Вон Горькому на просмотре «Булычова» перед выпускном спектакля какой-то чин, тогдашний председатель комитета по делам искусств (забыл его фамилию), заметил: «Уж очень он, Булычов, у вас, А. М., хорошим получается». А Ал. Макс. ему в ответ: «А они и были хорошие». Конечно, мы с Вами не Горькие, но думаю, в Вас еще не выгорела вера в то, что редактор — помощник писателя и улучшает рукопись. Провинциальная это вера, и Вы достаточно твердо на ногах стоите, чтобы при случае и в морду дать. Ведь иногда Бог знает что бывает. Лет пять-шесть назад пришлось мне редактировать однотомник Марка Колосова. Читаю его «Комсомольские рассказы», те, какими он в литературу вошел, и вижу, Боже мой, это же преснятина и мура какая-то, а насколько мне по юным годам помнится, в них искорка и живинка была. «Марк Борисович, — говорю, — что же это такое? Я ведь чего-то другое помню». — «Так ведь, — отвечает он, — они с двадцатых годов раз десять переиздавались и каждый раз редактировались». — «А ну-ка, давайте самый первый вариант». Еле-еле отыскали, даже из Ленинской библиотеки одну книжицу вытребовали. Гляжу, нет, не подвела меня память, как ни слабы литературно рассказы, неумелой рукой писаны, но жизнь в них есть, атмосфера времени, язык не прилизанный. Так я ему и восстановил все по первым изданиям. Старик сначала ужасался, потом примирился. А вышла книжка, так все рецензенты как раз и писали, как-де, мол, хорошо, что от ранних рассказов веет ароматом эпохи. По правде сказать, кроме ароматов, в них ничего и не было, а в том, что он потом писал, ароматом вообще уже не пахло. Так-то. Я над столом каждого редактора вешал бы плакатик: «Осторожнее с писателем!»¹

И зря Вы себя умяете. Чем больше я думаю о том, что Вами написано, я все больше прихожу к выводу, что Вы не только талантливы, но и умны, а что не столь и сильны в том, что Горький называл «литературной грамотой», так это общая беда литературы нашей. Писать «мы

¹ Журить-то за «обрезоны» журил меня Ал. Ник. и правильно делал, но и сам не мог без них обойтись, сам порой себя «резал», а там еще, глядишь, и в редакции чего помогут подчистить, подправить, выровнять. И чем старше он становился, тем больше переживал вмешательство в текст и устало синкал, идя на сокращения.

все учились пощеппогу чему-нибудь и как-нибудь». В чем Вы безусловно правы, так это в том, что приблизились к какому-то рубежу, через который надо перешагивать. Вот кончите свои рассказы о детстве, напишете еще одну повесть, и для меня ясно, что какой-то круг будет исчерпан. Пока все это в одной системе. А вот куда шагнуть из круга, Вам и мне пока не ясно. Над этим, в сущности, я и бьюсь, уж очень хочется в статье что-то подсказать, да ведь чувствую, нет, не подскажу, не знаю.

Все, что Вы написали, как-то улеглось и осмыслилось, конечно, субъективно, паверное, так, как мне это видится, а будущее пока тумашно. И пеужели Вы серьезно думаете, что Вам читатели это па конференциях подскажут? Ни хрепа они пе подскажут, будут укорять за то, что о современном молодом человеке ничего не написали да требовать нового Корчагина. Читатель-то у нас традиционалист. Выступать я, конечно, с Вами буду, очень рад, хотя и не умею делать вступления, расхожусь обычно только в заключениях, когда уж очень обозлось. У современного писателя положение вообще не ахти. Толстые и Тургеневы с описываемой ими средой экономически были связаны, они и свой круг дворянский, и мужика не просто знали, а чувствовали. У нас же человек, становясь писателем, входит наглухо в круг: лишь таких же, как он, пишущих да по ресторанам бегающих, а весь остальной мир для него, как для соглядатая из земли Ханаанской, видит, что несут гроздь винограда па шесте, а кто эти песущие и что это за гроздь, и чем они отличаются от него прежнего, когда он гроздь носил, для него почти загадка.

Мне кажется, Вы пе совсем правы в оценке второй части Булгакова — ее очень порезали, говорят, но не в этом дело — мысль-то ведь ясна: всего два человека в этом мире, да и то им тут пе место. Да еще мысль «рукописи пе горят». Оказавшаяся по отношению к его наследству даже пророческой. Но об этом как-нибудь потом. Не все, конечно, хорошо, полет на метле прелестен, а бал отвратителен, замогильный какой-то.

Ну вот пришла сестра вливать мне в вену десять граммов новокаина. Надо кончать. Кланяюсь Марии Семеновне и ребятам Вашим.

Обнимаю Вас. А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович!

Сейчас, в 11 часов, отправил в «Знамя» вторую часть статьи и теперь могу свободно говорить с Вами опять как

с человеком, а не как с анатомируемым мною «больным писательством».

Получилась у меня какая-то литературно-критическая повесть, за которую Вы будете меня нещадно ругать, буде она появится в журнале. Я же понимаю, что резал я по живому телу, а это всегда неприятно и когда больно, и когда щекотно. «Знамя» ко мне так благоволит, что набрало первую половину, пока я еще не кончил второй, и я успел даже прочесть грапки.

Жил я последние две недели в вечном страхе, что вот меня схватят и поволокут, и не успею я закончить, ибо вокруг загорелся пожар. После того, как 9-го мая опять прихватило, врач развел руками и категорически потребовал, чтобы провели клиническое обследование. Меня хотели упрягать в университетскую клинику по знакомству, сразу же, но мне во что бы то ни стало надо было в 7-й корпус Боткинской; во-первых: это привилегированное заведение, где можно работать; во-вторых, и главное: рядом с нашим домом; в третьих: в этой же больнице лежит Толя со своей язвой, и Наташе, которая остается одна, хоть передачи носить в одно место. Но попасть туда, как в царство небесное. Пришлось звонить Чаковскому, чтобы написали соответствующую бумагу. «Ты — чужак! — ответил он, — бумагами это не делается, а делается звонками. И потом, почему в 7-й корпус? Там хорошо отдыхать, но ни хрена не понимают. Надо лечь куда-нибудь в заведение, где существует школа. Вот позвоню профессору Рыжих, он тебя посмотрит и решит куда, а тогда я приму меры — во вторник буду у Демичева, и все завертится».

Пришлось ехать к знаменитости, который сам меня, конечно, не осматривал, а поручил своему помощнику. Моя же цель была одна — чтобы написали они мне этот проклятый 7-й корпус. И, слава Богу, мудрый семидесятилетний старец — светило науки не обнаружил при помощи своего помощника во мне того, что могло их интересовать, то есть рака, что ли, и любезно продиктовал послание следующего содержания: «Дорогой Александр Борисович! Мой помощник, опытный врач Левитан, поговорил с А. Н. Макаровым, осмотрел его. Я тоже поговорил с ним (нет-нет! — вдруг вежливо закричал он машинистке, — «Я тоже осмотрел его»; понимал все старик, чудесный старик!). Опасений нет. Считаю целесообразным произвести обследование в 7-м корпусе Боткинской больницы». Словом, добились того, что хотели. Вышли с Наташей и

крестились всю дорогу. Имя этого Рыжих в медицинском мире прямо-таки всех потрясает. «Ах, вас сам Рыжих смотрел! Ах-ах!» И Чаковский примирился и соответственно доложил Демичеву. И вот тут-то и вспыхнул пожар. Во вторшник же звонок. Открываю дверь — и вваливаются трое в белых халатах, с огромным количеством аппаратов: и для кардиограмм, и прочие, и даже с каким-то подобием двухстороннего прогнвогаза с гофрированной трубкой для вдвувания кислорода. Они были потрясены и тем, что больной сам открыл дверь, и скудостью нашей квартиры. Звонок был столь сверху, что они, наверное, решили, что едут по крайней мере к высокому начальству.

«Уволокут, — думаю, — как пить дать уволокут». А статьи-то хоть уже и копчена, но не отделана еще. Стали с Наташей их уговаривать — не надо, мол, сразу хватать, он и сам дойдет, поставьте на очередь, предварительный диагноз известен, опасности нет, сам Рыжих смотрел.

И опять этот Рыжих помог! Да и Карай тоже. Показали мы им все собачьи фокусы его, после чего они и подобрили. Ну, говорят, коли так, пусть нам в клинику 4-го управления Министерства РСФСР пришлют медицинское заключение, пусть нам его пришлют, а направить вас в 7-й корпус в нашей власти. Но бумага нужна.

Опять звоню Чаковскому. Он говорит, что заключение осталось на столе у Мелентьева, которому и поручил продвигать дело Демичев.

«Ну, Мелентьева я и сам знаю, думаю, завтра позволю.» А утром, не успел проснуться, звонит какой-то начальник из 4-го управления министерства. «Мне, — говорит, — все доложено, что у вас вчера были. Только пришлите медзаключение, и мы немедленно». И т. д. Говорит лобезно и вроде даже просительно. Звоню Мелентьеву — Юрий Серафимович, дорогой, золотой, перешлите мою бумагу в министерство, дабы отправить ее в свою клинику, а я уж сам буду звонить в их отдел госпитализации — телефон они мне сообщили. Господи, думаю, денька четыре бы протянулась эта канитель, мне бы и хватило! Тем более, что с 9-го никаких приступов не повторялось, и я даже поправляться начал, сидя на самой строгой диете. Мне бы вроде уж и ни к чему ложиться-то. Но все равно придется, уж больно высоко залез.

И вот сегодня впервые позвонил в этот проклятый отдел госпитализации. Отвечают: бумаги есть, все в поряд-

ке, мест пока нет, но, может быть, даже сегодня будут, звоните после обеда.

Так вот все-таки и запрут меня, а па сколько, одному Богу ведомо, — буду папирать па то, что ведь па обследо-вание, а не па лечение, и что чувствую я себя вполне прилично. Наташу жалко, она больше всего страдает, как же вдруг я без нее окажусь, а она одна. Беда. Бред!.. Она совсем замучилась, и Толя в больнице, и к нему бегай, и очерк, объявленный по радио, не задался (да и как тут задаться, когда живем, как па пороховой бочке) — пере-давали старый.

Вот и все мои труды и дни.

Вы-то как? Здоровы ли? Преодолели ипохондрию?

Пермь все время вторгается в наш дом. Вчера переда-вали от вас КВН. Юра был очень разочарован — он ожи-дал, что Вы обязательно будете в жюри, хотя я и уверял его, что Вам это ни к чему. Очень я надеюсь, что к тому времени, как о Вас пойдут конференции, я ускользну от эскулапов.

Низко кланяюсь Марии Семёновне. Привет Вашим потомкам.
Обнимаю Вас. А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович!

Упрятали-таки меня в лечебницу. И вот уже неделю все исследуют, но пока ничего, кроме «ужасного колита», не пашли. Но пайдут, они такие дотошные. Лежу я в Бот-кинской, все-таки в том самом седьмом и даже в 7-м «А», что здесь, кажется, высший класс. Во всех палатах одни нач. отд. министерства да заммины республик — все лица важные и в годах.

Мне повезло. В нашей палате всего трое: один зам. мин. с/х Мордов. АССР — чудесный, милый, тихий чело-век. Он болел, видимо, серьезно, его уже и оперировали, но держится он молодцом, хотя... Читает Гроссманн «До-стоевский» и вечерами беседуем об эрозии почв и других с/хоз. бедах.

Второй — старый мой приятель Сергей Наровчатов. Этот погрузился в Льва Толстого и за «Войной и миром» поедает «Аппу Каренину». И, естественно, удивляется. Я уж ему говорю: «Вот папишу в мемуарах, как меня вместе с неким поэтом в больницу положили, а он впервые читал Толстого». Сам же я все еще задавлен рукописями, кото-рые не успел прочитать, и они залежались месяца два (а все Вы виноваты), и теперь читаю огромный том вос-

поминаний о Маршаке. Как прочел страниц 200 — это одна четверть — воспоминания всяких двоюродных, чetyрехюродных сестер и каких-то пенсионеров, которые когда-то, в 1918 году, однажды видели Маршака. Бог знает что, о Маршаке два-три абзаца общих, справка, как и когда встречались, а о себе страниц десять, а то и больше: кем когда был(а), краскомом или гимназисткой, с кем во-евал или какие преподаватели были в гимназии...

Прервал писание, поскольку таскали еще на обследование и опять ничего пока не нашли. Ей-богу, врачи похожи на критиков, о коих Твардовский писал:

Что мне критик, умник этот,
Что читает без улыбки,

Ищет, нет ли где ошибки,
Горе, если не найдет.

Но это я зря. Все же здесь чувствую себя лучше. И надеюсь, что к Вашему приезду в апреле буду на свободе.

Вторую часть статьи из «Знамени» еще не получил, судьбы ее не знаю, волнуясь, а по ночам просыпаюсь в холодном поту, вспоминая, что то не так и это не так, — нет, не по поводу их мнения, а самому кажется, что что-то недоговорил, не те слова нашел.

Вот Вы пишете, что перед переизданиями все перелопачиваете, а у меня это как-то не выходит, а ведь, наверное, надо бы уж уметь.

Размеренный порядок, установленный здесь, волей-неволей приучает к какой-то растительной жизни, ни о чем путем не думается, ни одной гениальной мысли в голову не приходит, и слухи никакие не доносятся извне, разве что узнаешь, что вот один именитый поэт до того заездил по заграницам, что попал к Ганнушкину — у него мания преследования (очень жалко мужика, он хороший, хотя как поэта я его не особенно люблю — рационалистичен очень). Да еще одна поэтесса и ее супруг подрались в ресторане и избили того, кто принялся их разнимать, а теперь жена избитого на них в суд подает. Не везет братьям-писателям.

Понимаете ли Вы, что я скучаю о Вас, вдвойне теперь скучаю — пока писал — все Вы были рядом, а...

Теперь вот, когда бумаге
Известна и грусть моих слов,

Вы с мальчиком, может, на тяге
Подслушиваете тетеревов...

...Черта лысого! Оказывается, Вы не тетеревов подслушиваете, а пишете «критических статей». Только что при-

шла Наташа и принесла «Комсомолку» с Вашим «Добрый словом». Эту статью я воспринял как урок себе — вот, мол, пока Вы там копдепаете свои статейки... Хорошая у Вас статья, и очень я пожалел, что не знал ни Якубовского, ни повестей его. Почему, ну это Вы поймете, если появится моя статья. А статья у Вас хорошая, сразу узнаешь Астафьева с его верой, с его убеждениями. А про чернолесье — это здорово, неужели правда, что это слово стали переносить на хвойные леса — мне как-то не попадалось.

Погода у нас какая-то дрозглая, сырая, то серый снег повалит, то дождь пойдет. Да и у вас, наверное, не лучше. Кончилась весна света, пошла весна воды. А все-таки она весна... И все-таки скоро можно будет ловить рыбу. Зимой-то так и не пришлось, а я завидовал Вам, Вашим ершам, и утешался тем, что Ваш потомок все же обставил Вас по этой части.

А все же скучновато здесь и главная беда — голова какая-то, на холостом ходу. А посему кончаю. Не забывайте.

Кланяйтесь Марии Семеновне и всем потомкам.

Обнимаю Вас. А. Макаров.

Дорогой Петрович! Родной Вы мой!

Спасибо за доброе письмо. Я, кажется, помаленьку налаживаюсь, но спасают, думается, не столько врачи, сколько работа: свалилась на меня тут в больнице верстка книжки, проверка цитат во второй половине статьи о Вас и, наконец, за два дня до сдачи в набор, сама статья с замечаниями мудрой Л. И. Скорино. Но как раз к сегодняшнему дню я от всего отделался, даже от внутренних рецензий, которые задерживал для «Сов. писа». Теперь трепещу. Редактор с версткой книги еще не приходила, и кто знает, что она там подумает в связи с указаниями свыше. Статья же должна появиться в двух номерах — майском и июньском. Говорю — должна, потому что до тех пор, пока не увижу журнал в киоске, обычно не верю, что все благополучно. Статья получилась большая, с разными выводами и отступлениями, и я не думаю, что в ней Вам все понравится. Мне и самому далеко не все нравится, и кое-что писал с оглядкой на юбилейный год, стараясь, чтобы лик Ваш был достойно светел, и обходя острые углы. А Людм. Ив. мне в этом всемерно помогала, вычеркивая и снимая слишком острые цитаты. «Что это значит?» — спрашивала она меня (т. е. С. А. Дмитриева —

зава критикой). — «Это он (Толя) понял па своих боках в милиции». — «Его что, там били?» «Да», — упыло подтверждал Муля. «Так зачем же нам об этом писать? Достаточно, что об этом писатель написал».

Словом, правка шла за счет всяких неприличностей, какие Вы в своих писаниях допускаете. В конце же она потребовала, чтобы я раскрыл Вам «духовные очи» и указал цель и путь. Что я по своему разумению и учитывая обстоятельства и выполнил. Получилось что-то вроде того, чего требовала от Вас и оппонент Ваша в «Урале» по поводу статьи «Алмазы», только, разумеется, чуть тоньше.

Но вот что я и в самом деле подумал, когда присочинял конец. Хотите Вы или не хотите, но путь Ваш пролегал в направлении современного сегодняшнего романа, и Вы очень пужны. Когда-то Вы отгрохали роман, не будучи еще писателем, а теперь самая пора. Я понимаю, что легче всего, может быть, сказать «правду о войне», которой никто не говорил, только кому эта правда пужна сейчас, будущая война вряд ли будет на нее похожа. Это не относится к «Пастуху и пастушке». Я говорю не о ясной уже близи, а о даях Ваших.

А современный роман, где бы действовали люди разных поколений, и старушки, и Ваше, и молодежь, ой как пужен. Мы же все время жизнь берем в створе того или иного поколения... А пужен роман, где бы о молодежи писал человек с опытом. Вспомните, как менялись поколения в романах Достоевского, он и Алешу Карамазова, и «Подроска» стариком почти писал. И Базарова подметил не кто иной, а человек сороковых годов — Тургенев.

Но я, кажется, начинаю пересказывать конец собственной статьи. И меня, ей-богу, не страшит, что Вам в ней понравится али задепет; чего бы я в пей ни говорил, мне думается, каждый поймет, что я Вас очень люблю. И очень хочу, чтобы Вы стали большим и замечательным. На статью-то в том отношении я никаких надежд не возлагаю, ну прочтут, увидят, что я Вас прочитал, по ведь даже Вас-то прочесть не могут, настолько Вы как писатель рассыпаны по разным изданиям. Но это ужасно, и в этом отчасти «Мол. гв.» виновата. Вам падо, падо уходить, и не в «Сов. Россию», а в «Сов. пис.», где есть умные редакторы, вроде Верочки Острогорской либо Лины Ивановой, Льва Левина, которые и с Лесючевским могут сразиться — сцепиться при необходимости, не то что Ваши моло-

догвардейские мальчишки, трепещущие перед своим начальством. В люди-то Вы вышли, а Вам на люди выходить нужно, и вряд ли «Мол. гв.» Вам поможет в этом. Чем дальше Вы отходите от «Перевала», тем меньше становитесь их автором. Дело ведь не в возрасте героев. Мне даже думается, что в романе своем, который я так ясно вижу, как будто Вы его написали, должны быть главные герои — молодые современники. Ведь Вы же их хорошо знаете. У Вас в собственном доме целая троица, и тема отцов и детей должна быть поставлена, только не так односторонне, как ее ставят наши «молодые». Вы же нашли свою интонацию — рассказ от первого лица, и ее не надо бояться. Достоевский вон все романы от первого лица писал, а кто это замечает? Но это давало ему своего рода свободу, объективность освещения, что ли.

Видимо, с апрельской поездкой у Вас тоже разладилось. Я все ждал, что Вы приедете, а Вы еще по льду реку собираетесь переходить. А у нас и лед давно прошел.

Через неделю-полторы я надеюсь из больницы выбраться. Лечащий врач на меня смотрит одобрительно. А к профессорам и консультантам, слава Богу, меня здесь не таскали — так, вливают в вену глюкозу с витамином да рыбий жир впускают с другого конца. Вот и все лечение. Ну, еще порошки какие-то.

Толя лежит в соседнем корпусе. Вижу его каждый день. Он то в веселом настроении, то впадает в меланхолию, когда ему вливают кровь. К маю его тоже, видимо, выпустят. Наташа превратилась в чиновника по особым поручениям при моей персоне, по-современному говоря, в курьера и совсем измучилась, бедняга, Аннета и Юра цветут. Вот и все пока.

Низко кланяюсь Марии Семеновне. Привет всем домочадцам. И помните, Вашей лирической публицистикой, как бы я ни восторгался ею, Вы па люди не выйдете. Подумайте о чем-то большем. *Целую Вас. Ваш А. Макаров.*

В один из последних приездов в Москву я рассказал Александру Николаевичу повесть «Пастух и пастушка» и о том, как возник замысел этой повести. А возник он прелюбопытно, вроде бы и случайно, но и закономерно, совершенно непохоже на другие замыслы.

Я работал на областном Пермском радио корреспондентом по горнозаводскому направлению и однажды, едуци

в город Кизел — центр угольного бассейна, совершенно для себя неожиданно проспал свою остановку и с испугу вышел на каком-то глухом разъезде, с пачкой сигарет и книгой «Мапон Леско» в кармане. Забравшись на гору, я целый день читал эту книгу и курил табак.

Был солнечный осенний день, вдали меланхолично курились копры, тихая гористая земля, ископанная, исковерканная человеком, подрытая, подернутая желтой травкой, испятнанная пнями спиленных лесов по косогорам, исполосованная электро- и всякими другими линиями, грустно молчала под тихим, тоже синопеньким небом, по которому растекалась дымная муть и, словно бы не решаясь грязнить вечную, синопую небесную святость, отслаивалась от неба, припикала к хребтам, оседала на них.

Чем-то древним и грустным прошибало и это «промышленное» небо, и эту старую уральскую землю, изрытую, пустынную, из недр которой люди добывали уголь, руду и всякую всячину, необходимую для того, чтобы крутить колеса заводов и машин, заряжать орудия войны и труда, строить и спосить, сажать и рубить, и поскольку самого человека нигде на этом упылом разъезде не было видно, а сердце пыло от только что прочитанной книги, поведавшей о страдальческой и прекрасной любви Де Грие и ветрепой Мапон, ветреность которой, впрочем, была не оскорбительная, не отгалкивающая, наоборот, даже мающаяся, — то и возникла во мне тоска по человеку чувства, что ли, — по не только работы, еды и необходимого для утоления плоти и продоления рода физического сближения. «Ну неужели мы разучились любить и страдать так же возвышенно, «до смерти», как в те давние годы любили эти вот двое, скорес всего выдуманные аббатом Прево?» — такой или примерно такой вопрос задавал я себе тогда, а писатель, да еще молодой, задавши себе вопрос, немедленно захочет получить на него ответ. А так как вопрос-то возник «вечный», то и ответа на него не было, надо было искать его в жизни людей окружающих и тех, что были с нами и до нас...

Началась внутренняя, довольно мучительная работа, появлялись и исчезали какие-то образы, герои, заголовки будущей повести, сюжетные «ходы и выходы», сперва смутно, но потом все ясней вырисовывалось строение будущей вещи, на строении этом появлялись крыша, труба, крылечко, окна, и в окна эти даже живые люди стали выглядывать...

Александр Николаевич осторожно подвигал меня садиться за повесть, начинать ее «выкладывать на бумагу», ведь уже рассказал наизусть, но нет, чего-то еще недоставало мне, какого-то внешнего толчка или внутренней потребности садиться и писать именно эту, а не другую вещь. Чтоб ее невозможно было не писать. Так как писать вообще очень трудно, а трудности этой работы виделись заранее, то я и оттягивал, отдалял, как мог, так называемые «муки творчества», которые, увы, существуют не только в воображении сатириков и веселых юмористов.

Дорогой Виктор Пегрович!

Твое озорное письмо меня совсем было развеселило. Читал его в саду, куда меня уже выпускают гулять. Иду назад, а навстречу Нилип, мрачный еще больше, чем всегда, на филина похож, буркает: «Комаров накрылся». Я сначала не поверил. Оказалось, в самом деле. И почему-то такая тоска напала, жалко человека, из-за какой-то мелочи и вот... Ну уж о резонансе не говорю, Бог с ним, с резонансом. А вообще-то не везет нам... Никак не удастся нам добиться сплочения. В общем, целый вечер бродил по коридору и был не в своей тарелке. Толя, который все знает, забежал из соседнего корпуса и объявил, что он еще раньше всех знал, у них в палате будто бы лежит какой-то дядя, связанный с этими делами, и во время полета все радовался, мол, и я премию отхвачу. И вдруг ему позвонили по телефону друзья, вернулся в палату, схватился руками за голову — погиб Комаров, что-то нам теперь будет?

Уж не знаю, какое он там участие принимал. Толя-то попал в тот корпус благодаря Наташиным хлопотам, и лежат с ним все какие-то инженеры, люди дела, а меня окружают одни чиповники — начальники, про кого мой сосед, зам. мин. с/хоз. Мордовии сказал: «Все мы здесь шаромыжники и зря народный хлеб едим». Хороший мужик он, и пролежал я с ним бок о бок месяц, да вот вчера выписался, и не на жизнь, а, видимо, на смерть — резали его и зашили — рак печени, как говорят. А мужику всего сорок пять лет, душевный парень, никак не пойму, как он в замминистра угодил? Жена у него, трое парней — один институт кончает, другой на первом курсе, третий — четырнадцать лет. Вот все о пенсии волновался — дадут, мол, шестьдесят рублей, что делать? Болело у него, ви-

дать, крепко; и зуд мучил, но хоть раз бы пожаловался, так улыбается грустно, и все.

А я вот пока еще здесь, и разве узнаешь у врачей правду. Но поскольку не резали меня и на выписку не предназначали, видимо, еще поживу маленько. Врач решила выписать в субботу. Но я упрямился на пятницу — мне, говорю, еще говеть и исповедаться пужно, а в Пасху попы не исповедуют. Не могу же я во грехах остаться. Уговорил. Но только гонят меня в санаторий, видимо, в Малеевку, после праздников, я сказал, не больше чем на две недели, и с пятого обещали. Но я-то вернусь в Москву лишь шестнадцатого, а у тебя первая конференция 15-го. Сегодня Наташа узнает в бюро все — на какие числа твои встречи. Очень мне хотелось бы на них быть.

Вот так-то, дорогой мой Виктор Петрович.

Вылечили ли меня? Подлечили, да, но все же балует мое чрево, урчит и поет на разные голоса. Ну да Бог с ним, лишь бы отсюда вырваться. Вот ты говоришь, редактор не едет, я тоже весь издергался. У меня рядом, да не идет, верстка валяется три недели. Я думал, они хоть цензору сразу дали, не тут-то было, там три полосы не так отгиснули, так вместо того, чтобы за три-то недели из Тулы эти страницы потребовать, редакторша сама еле-еле прочитала, сегодня вечером обещала прийти. Значит, пойдет на сверку, а потом лишь к цензору, а там он что-нибудь накундекает — и новые волнения, и еще одна сверка...

Боюсь за статью о Симонове — много там про культ, а теперь это слово чуть не запретным стало. Только что вышли «Солдатами не рождаются» с моим послесловием, и Симонов мне прислал экземпляр с надписью: «Милый Саша! Спасибо тебе, что помогаешь мне так писать, постараюсь писать так и дальше. Мне очень важно то, что ты сказал, особенно теперь». Вот это «особенно теперь» пугает. А ведь в книжке статья-то хоть и поразвернутее, а все на тот же лад... И вся задержка из-за ленивости редакторши...

Ну вот все и выяснилось. Конференция 15-го и 16-го в библиотеках Лавренева и Володарского, и еще авторское выступление на заводе. Я уж позвонил в бюро, что буду и 15-го и 16-го, и в Литфонд сообщил, что поеду в Малеевку не с 5-го, а с 4-го, если еще вообще туда меня пустят. А нет, черт с ними, уеду на десять дней в Тарусу.

Прочел «Литературную Литву» — альманах. Там рас-

сказ К. Воробьева о детстве. Хороший рассказ, написан хорошо, но так, как будто его Астафьев писал. Знаю, что тебе этот писатель нравится, и пишет он хорошо, и все же вспомнил его книжку и вот этот рассказ, и как-то никак не уловлю, где он сам свой. Пожалуй, все же в той повести о батальоне, погибшем под Москвой.

Ну вот, дорогой мой Виктор Петрович, в письмах-то мы перешли на «ты», а как это при встрече получится?!

Очень я сочувствую Марии Семеновне, желаю ей поскорей окончательно от хвори избавиться и за мужем следить в оба глаза. А то, вишь, разгулялся — от всего освободился — и от Литфонда, и от секретарства отбрыкался, так ведь и просчитаться можно. Ныне должности и печататься, и жить помогают. Разве не так?

Родной мой! А не пора ли свой талант по ветру пускать перестать? Уж больно русский характер! Ты скажешь, я это потому пишу, что самому пить не дают. Эх, если бы ты знал, как жаль мне тех, разделяющих нас лет, из которых добрых десять я тоже попить любил. Спихватишься, ан поздно... Ну-ну, не буду морали читать, лучше еще раз твое письмо перечитаю. Так-то.

Обнимаю.

Привет потомкам. Очень рады будем видеть Марию Семеновну в Москве.

Наташа, Анна и Юра кланяются.

Твой А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович!

Я, как всегда, забыл самое существенное, за что Наташа меня ругательски ругала.

Вы же с Марией Семеновной можете остановиться у нас. Если вас это не устроит, то хоть с вокзала-то ехать к нам, а потом уж искать что-либо более для вас удобное. Нас ведь до 15-го не будет. Дома будут Толя и ребята, у которых есть всегда свой угол. Мы, видимо, вернемся 15-го днем, и все равно часам к пяти-шести тебе надо приехать к нам, ко мне, а машина придет за нами, чтобы везти нас на муку в библиотеку Лавренева. Нужно только, чтобы вы заранее написали, какого числа приедете и в какие часы, чтобы кто-нибудь дома был и вас дождался. В крайнем случае, у соссдей над нами будет оставлен ключ, который отпирает, лишь пажмешь чуть на себя (как английский замок). Карай тебя знает и не удивится. Но по-

стараемся устроить так, чтобы кто-то, Аннета или Юра, были дома, если Толя будет работать. И если не приедете числа 13-го или 14-го, то лучше всего остановиться у нас, а там как хотите. Кто его знает, как там будет со всякими гостиницами. К тому же Наташа очень соскучилась по Марии Семеновне.

Значит, напиши, когда ждать. *Твой А. Макаров.*

Дорогой Виктор Петрович!

Вот видите, до чего доводит пианство — и печенка, и селезенка, и все пугро протестует. Вот будете в Москве, обязательно разыщу письмо Чехова брату Николаю, где он говорит, что человек обязан уважать свой талант, и буду читать вслух — Вам в наказание и назидание. Все-то мы думаем, что молоденькие, ап рапы наши нет-нет и заговорят, и не только к дурной погоде, а и по поводу. Да и только ли физические.

Я понимаю, что очень Вам трудно, только сами Вы мало себе помогаете, гордость заела, а в наше время не гордость нужна, а пробойная сила. Впрочем, только ли в наше? Вот вспомнился диалог из «Леса» Островского (я его наизусть помню. Не «Лес», а диалог), старого лакея и юного Буланова.

Карп: — Ах, барин, барин, молоды Вы очень!

Буланов: — Сам знаю, что молод, я вон гимназии еще не кончил...

Карп: — Другие и гимназий не кончали, а какие ловкия...

Буланов: — Да на что ловкия-то?

Карп: — А на все! А особенно на то, что мимо рук пльвет.

Вот так-то, мой друг! Другие вон свои рукописи в два-три издательства одновременно тащат и ждут, где скорее клонет. Ну да об этом мы поговорим по приезде. А то Вы все спасаетесь тем, что бежите в «обитель дальнюю трудов и чистых нег». А Вам спастись рано, надо сперва стенку лбом прошибить. Да не листовничную, а белокаменную, а потом уж и в скиты уходить или «махнем, мой друг, в шатры с тобой, к цыганам, там не умеют долго горевать». Это уж в зависимости от охоты. Да и цыгане-то теперь где? Все в той же белокаменной, в театре «Ромэн» резвятся.

Из больницы я выбрался в пятницу, а в субботу была верстка второй половины статьи. Так что Пасху и Первое мая я вроде бы с Вами провел. Да и вообще у меня такое

ощущение, что я живу в Перми: то по телевизору показывают Пермский оперный, то состязания пермяков с московским медицинским на КВН, то вот сегодня Пермское хореографическое училище. Открываю сегодня том Добролюбова, и тот открывается на рецензии, которая называется «Пермский сборник».

Раньше я как-то не замечал этих пермяков, знал только, что бабушка звала Горького «пермяк — солёны уши», и этим мое образование ограничивалось.

Чувствую себя вроде ничего, правда, после больницы дня два не мог привыкнуть к дому ни в бытовом, ни в физиологическом отношении, а теперь вроде паладился.

Завтра уезжаем с Наташей в Малеевку, вернемся 15-го днем. Машина за нами на коференцию придет в пять тридцать. Наташа узнала, что Вы заказали гостиницу на 14-е, и что-то там говорила, что, может быть, с семнадцатого — ей уж очень хочется, чтобы Вы и при нас денька два у нас побыли, а до нас-то и Бог велел. Но «устроительница» сказала, что она с Вами еще будет разговаривать. Если дома никого у нас не окажется, ключ будет оставлен под дверью, и в любое время дня и ночи располагайтесь в кабинете, как у себя. Ей Богу, он не хуже гостиничного помера, хотя и захламлен книгами.

Да, что Вы читаете Олдингтона — «Смерть героя»? «Вражду», «Сущий рай» или уж «Дочь полковника»? Господи, до чего же я старый — все это еще до войны читал, и от «Вражды» словно очумелый ходил и все мечтал об острове Эа. Только после нашей войны никаких островов Эа не осталось, из чего логически можно заключить, что после третьей мировой...

Ну да ладно, не буду. А действительно, замечательный человек и писатель. Он ведь у нас побывал года 3—5 назад, да тут же, воротясь в Швейцарию, и помер.

Очень, очень интересно, что Астафьев как мастер эпистолярного жанра расходуется с Астафьевым-прозаиком; в письмах пишет: «Ах, почему хорошие люди мрут, а подлецы живут?» А в повестях пишет, что «не один-де подлец безнаказанным не остается». Где же мы с Вами лицемерим, дорогой мой Виктор Петрович?!

Ну ладно, не буду дразниться, из Санькиного возраста я вышел давным-давно, а распрыгался потому, что на свободе после месячной изоляции себя почувствовал.

Кланяйтесь Марии Семеновне и потомкам.

Обнимаю Вас. Ваш А. Макаров.

В журнале «Молодая гвардия» напечатали мою повесть «Где-то гремит война». В журнале этом в тексте всегда бывала масса грамматических ошибок и обязательно кем-то, уж на последнем рубеже, вырубленные, а то и вписанные фразы.

Так было и на этот раз. И когда дело дошло до публикации этой повести и «Кражи» в издательстве «Молодая гвардия», большие сложности вызвали кем-то и почему-то выброшенные куски и фразы, да и мной самим от усталости и апатии похеренные страницы...

Александр Николаевич был первым редактором обновленного журнала «Молодая гвардия», но ушел от него скоро и с большим облегчением, хотя уже взял разгон в работе, и журнал потихоньку становился на ноги, но не встал и до сих пор встать не может, потому что очень уж бесцеремонно обращаются и с журналом, и с редакторами те, кому надлежит им руководить.

— Как возможно так работать, когда редактора руководящие товарищи не уважают и обращаются с ним, как с мальчишкой. Собрались однажды обсуждать номера журнала, вышедшие за год, ну не Бог весть что в них было, но было, и вместо обсуждения прозы, поэзии, публицистики давай чихвостить редактора. Из ЦК комсомола мальчишки орут: «Он такой разэтакий!»; из секретариата Союза писателей им поддакивают: «Да, да, рассякой и разэтакий», и кто-то из ораторов подает здоровую мысль: «Снять его, выгнать в шею, а Шолохова попросить возглавить журнал!..» — «Вот эт-то да-а! Вот это здорово! Как раньше-то не додумались?!» — «Шолохова! Шолохова!»... И все это в моем присутствии, — горестно качая головой, рассказывал Александр Николаевич. — Не посоветовавшись ни с кем, в том числе и с самим Михаилом Александровичем... А они ведь поорут, подергаются, заранее зная, что Шолохов не пойдет, не поедет в Москву добывать последнее здоровье на этом журнальчике, и уйдут, разбредутся по своим уютным кабинетам, а мне ведь завтра в котле кипеть, журнал выпускать, с людьми, в присутствии которых меня с г...м смешали, работать, не имея кадров, полиграфической базы, даже помещения не имея, не говоря уж о поддержке со стороны товарищей, руководящих этим громоздким органом. С бухты-барухты взяли постановили: «Возобновить толстый журнал!» — и точка! Дальше как будто их ничего не касается. В общем, теперь меня ни

в какую журнальную должность арканом не затащишь, а в редакторы тем более¹.

На похоронах Александра Николаевича была одна-разъединственная представительница журнала «Молодая гвардия» — Лиля Русакова, сотрудница отдела прозы, и та, как выяснилось, по своей, по доброй воле. Никому более из «Молодой гвардии» в голову не пришло почтить память первого редактора. Впрочем, этому журналу и его руководителям из ЦК комсомола, видимо, не хватило одной очень важной штуки, которая зовется коротко, но емко — этикой. И не только в журнале, не только в некоторых издательствах, не только в творческих организациях, но и в общественных предприятиях и службах граница между этическими и элементарными человеческими отношениями бывает размыта до водянистого вида или начисто ликвидирована.

Вот вам два примера из «творческой жизни», которые, уверен, в любом человеке воскресят сразу сотни примеров неуважения и унижения элементарных, обыденных прав гражданина.

Я с детства ценю и люблю старинную нашу киноактрису Елену Алексеевну Тяпкину (напомню ее последнюю роль, замечательно острую роль — эпизодическую! — в кинофильме «Война и мир» — тетушка Наташи Ростовой). Случилось так, что на фронте, посмотрев с ее учас-

¹ Мода постановлять и подавать инициативу открывать новые «органы», студии, концертные залы, театры, культурные помещения на голом месте так и не прошла, она даже укрепилась и получила более широкие масштабы, в особенности на нашей современной периферии, — я был свидетелем и «участником» такого престранного действия, когда при мне сдавали спектакль по моей пьесе «Прости меня» в недостроенном театре, да вот и сейчас, когда я пишу эти строки, в Красноярске открыли «органный зал», в котором нет органа, открыта киностудия, в которой не то что помещения, жилья, транспорта, съемочной техники, в ней даже монтажного столика нет. После того как насмотриться на все это, уж как-то мало удивляет, что сдаются жилые дома, в которых жить невозможно, аэродромы, с которых самолеты не летают, телефонные станции, с которых телефоны не звонят, но за все эти объекты, сданные в срок, а то и досрочно, люди без стыда и совести получают премии, ордена, повышения по должности и все накапывая, накапывая «незавершенку», количество невыполненных или недобросовестно сделанных работ для будущих времен и поколений, накапливают люди и руководители, живущие по принципу: «после нас хоть потоп», и мы уже ощущаем недовершенность, недодуманность, залущенность планов не только на стройках и объектах, но и в душах людей, «халтурно» строивших и сдавших нам их, целое потомство, в незавершенном виде...

тием «Радугу», я загадал себе невероятное: «Если выживу, вот бы встретиться!..»

А известно, если чего пожелаешь, да еще на краю жизни, иногда и сбывается. Елена Алексеевна и ее муж, заслуженный артист республики Михаил Лишин, решили сами меня найти, — была пора, когда старые артисты, деятели кино и театра, мало занятые в кино и на сцене, сами создавали, точнее затевали какие-то студии, филиалы и даже театры. Вот и артист Лишин с женой и сотоварищи задали себе задачу создать театр-студию, которая бы инсценировала произведения малоизвестных молодых авторов, и на глаза им попала моя только что написанная повесть «Перевал», и они решили встретиться с автором...

Из театра того, как и из большинства затей тех времен, ничего не получилось, но зато я побывал в первый раз в жизни! дома! у живых! артистов! — да мало того, что побывал, еще и просидел до полуночи, буквально через час чувствуя себя у них как дома и, совершенно покоренный замоскворецким хлебосольством и говором, милое рассказал о своем житье-бытье, а Елена Алексеевна поведала мне собственную трагедию — у нее погиб в ополчении единственный сын, когда она была на съемках той самой «Радуги» в Алма-Ате...

Прошло не менее десяти лет, прежде чем мучивший меня, занозой застрявший рассказ оказался на бумаге, назывался он «Старое кино» и, конечно же, по всем нормам морали и по моему желанию посвящен Е. А. Тяпкиной. Рассказ печатают в толстом журнале «Север» и просят разрешения перепечатать отсюда в журнале «Советский экран». И каково же мое удивление, Елене Алексеевне потрясение — посвящение к рассказу исчезло. В этом бойком малоквалифицированном и, по этой причине, многотиражном журнальчике малоквалифицированные работники посчитали, что и так много чести сделали Астафьеву, перепечатав его рассказ, «улучшив» самовольной правкой и сокращениями, а уж посвящение какой-то женщине с такой примитивной русской фамилией — вовсе претензионная наглость автора.

А Елена-то Алексеевна, человек очень старый, обросший друзьями и знакомцами, порой и знаменитыми (она, к примеру, училась вместе с будущей мировой кинозвездой Милицей Корьюс в гимназии, и где бы вы думали? В Киеве! И зовет ее по старинке Милкой. Но об этом я расскажу как-нибудь отдельно). Так вот, старушка моя,

живет она в доме престарелых актеров и времени у нее очень много, всем-всем друзьям, вплоть до Парижа, сообщила, что вот дождала, удостоилась рассказа с посвящением, а посвящение-то и тю-тю.

Елена Алексеевна пачинала сниматься еще в немом кино, работала во многих театрах, в том числе и у Мейерхольда, навидалась и патерпелась всего, выносила и не такие удары и несправедливости, но все-таки зачем это? Почему? Рассказ «Старое кино» я, между прочим, много раз переиздавал, и как только недосмотришь, как потеряешь бдительность — пет посвящения, исчезло. Воистину черт горами ворочает, но пакости творит невежда с обычным человеческим лицом, обькповенными человеческими руками и не всегда затрудняется понять и осмыслить, что пакостное дело сотворил.

Вот вам пример обратного порядка — уже с посвящением мне.

Возвратился из поездки по Алтайскому краю Николай Рубцов, возвратился просветленный, сияющий, душевно обогатившийся — человек тихой вологодской земли, он открыл новую и очень красивую, не похожую на его родину ни нравом, ни видом, буйную и пространственную страну Сибирь.

Открытие потрясло и вдохновило поэта. Он привез с собой новые стихи и замыслы и, поскольку жили мы через два дома, сразу же явился к нам поделиться своим богатством и душевной радостью (других материальных благ и богатств у него никогда не было, да они ему были и ни к чему).

Хорошие, уже зрелые стихи читал пам Николай Михайлович. Чувствовалось, что он переживает какой-то внутренний подъем, что в поэтическую зрелость входит душевно обогащенным, готовым решать большие нравственные задачи, жить в поэзии не по заниженной норме, как живут и благополучно прозябают в ней целые косяки посредственности. Жить и творить по завышенным нравственным и гражданским задачам трудное дело, но оно становилось поэту по плечу.

Примерно это я и говорил тогда Николаю Михайловичу, Коле, как всегда до самой смерти дружески и братски называл его я, говорил как старший брат и сотоварищ по перу. Коля зарделся, бормотал какие-то неуклюжие ответные слова и все спрашивал, с какой-то, как ему казалось, тайной, па самом же деле легко отгадываемой детс-

кой многозначительностью: «А какое? Какое стихотворение, Виктор Петрович, тебе из сибирского цикла больше понравилось?» И я ответил: «Шумит Катунь». Коля ушел в мою комнату, сказал, чтоб ему не мешали, оттуда вернулся, сияя своими маленькими, выразительными черными глазками и всем лицом сияя, и протянул мне листок со стихотворением «Шумит Катунь», сверху которого было написано: «В. Астафьеву».

Мне за мою творческую жизнь посвящено немало произведений, в том числе и поэтических. Я всегда пытался и пытаюсь делать людям добро и не только пером, но всем, что и где мне доступно. И мне люди за добро платят добром, какое им доступно.

Не скрою, посвящение Николая Рубцова, в котором я и близкие, сведущие в литературе люди и тогда уже предполагали большого поэта — еще только предполагали! — было мне особенно дорого еще и потому, что мне дарил стихотворение мой брат по жизненной доле, бывший детдомовец, и как человек искренний, внешне колючий, иногда и грубый, он делал подарок с какой-то редко наяву пробуждающейся, точнее, редко кому показываемой нежностью и доверительной непосредственностью.

Не стало Коли, Николая Михайловича Рубцова. Посыпались на него, как у нас часто водится, послесмертные похвалы, пришла давно заслуженная слава, начали выходить одна за другой книги — и снова «сюрпризы»: в одном издании «Шумит Катунь» печатается с посвящением, в другом — нет.

Я понимаю, что не всем людям мое имя и работа моя по нутру, да и есть целая категория людей, которым я совсем не хотел бы быть «по нутру» и пишу совершенно иногда осознанно для того, чтоб растревожить, если не ушибить это самое нутро. Но, кроме меня, есть воля покойного человека, воля поэта, и тут уж, люби, не люби, но, как говорится, почаще взглядывай. Соблюдай хотя бы против своего мстительного норова этические нормы, выполняй волю покойного, ибо для нормальных, уважающих себя людей она всегда была свята, а святого, достойного почитания не так уж много нынче на свете осталось. И кому как не писателям и их издателям дорожить этим, хранить этические остатки и нормы, еще позволяющие человеку чувствовать себя человеком?

В конце марта подались мы с женой в Быковку, решив встретить там весну «от и до», то есть от первых потаек

до полного тепла и ледохода, да и «расходить» неприятную болезнь, которая мучит многих людей при сидячей работе, писателей же в особенности.

Хорошая та была весна, крепкая, днем припекало и даже пекло, на дороге вытаивали пятна серого, все еще вопючего силоса, по крышам текло, выпрастывались из-под снега трупелые, поросшие по оподолью и щелям зеленью тесины, оживились и азартно стрекотали сороки, а вороны, те наоборот — присмирели: у них только что унялись свадьбы, пакаркались, паигрались, пабегались, папалтались и старчески теперь сидели, черными шапками наделившись на колья оград, не то дремали, не то самок на яйцах караулили, не то длинно думали о чем-то. Но по лесам все еще лежали глубокие, чистые снега; речка лишь в излучинах слегка «отпотела», утренники выдавались крутые, и мы радовались — мало будет клеца — он как раз в эту пору окукливается в гпилых пнях и валежинах, но если утренник-другой ударит за минус тридцать, такое здесь веснами случается передко, куколкам клеца и всякой заразной твари копец.

Все было хорошо, уединенно, тихо, все располагало к хорошему рабочему настрою, и я пробовал работать, но мешала проклятая болезнь, которую по причине стыдливости скрывают и от которой мучится немало людей. К ней, к этой болезни, нельзя привыкнуть, но притерпеться можно, если не начнется ущемления. А оно и началось ни с того ни с сего, в самую неподходящую пору, в самом неподходящем месте — больницы нет, от города далеко. Пока я терпел и спасал себя «домашними средствами», наступили раснары, с полей сошел снег, вскипела речка, прилетели скворцы и повыбрасывали из скворечников уютно там устроившихся воробьев. По водохранилищу уже не ездили на лошадях, да и ходить сделалось опасно.

Попали. День ото дня мне становилось хуже и хуже, от боли начало схватывать сердце. Но вдруг снова завернул такой крутой утренник, что даже лучи яркого солнца крошились от мороза и белым цеплом сыпались вниз.

По скользкому, почти зеркальному льду, выбирая пятнышки выщербленной луды, мы с женой кое-как перебрались через четырехкилометровую ширину водохранилища, до станции — еще пять, а я уже идти не могу. Но только миновали кирпичный завод, глядь, вслед нам мчится черная «Волга» и в ней вроде бы знакомый нам большой начальник. Голосует. Жена чуть под колеса машины не

бросилась, но обдав нас газом, бросив в нас крошками мерзлой грязи, «Волга» падменно удалилась.

Какое-то время мы стояли молча и растерянно. Да, в машине был наш хороший знакомый, добрый в общем-то человек, изувеченный на войне. Он не узнал меня в рыбацкой куртке и в старой шапке, ссохшейся от дождей и мокрого снега. Но он же видел, не мог не видеть — сам же инвалид, что на дороге большой, в три погибели согнутый человек с батожком в руке...

Мне довелось потом быть с этим человеком в одной компании, и я загадал ему загадку: «Из пункта «А» в пункт «Б» идут две машины — черная и белая, и на дороге большой мужичонка стоит. Так которая его подберет?» «Не знаю, какая она там машина, черная, белая ли, мне безразлично, я всегда подберу большого и престарелого человека», — заявил он. Ох и «дренно» ему было, как говорят белорусы, когда я его принародно срамил за спесивость и самоздравие, которому, увы, подвержен не один он.

В городе меня подлечили, и я улетел в Москву. В «Молодой гвардии» все еще шла канитель с изданием двух повестей: «Кража» и «Где-то гремит война». Я принадлежу к числу тех неудобных писателей, которые доделывают и дописывают вещи уже и опубликованные; у наших издателей пошла мода печатать произведения в том виде, в каком они появились в журнале. Нелепость, продиктованная в основном чувством перестраховки, боязнь, как бы писатель чего «не навставлял».

Мой редактор сделал двести с чем-то заложек в журнале — столько расхождений он обнаружил между журнальным и книжным вариантом и, казалось, гордился тем, какой он проницательный и как он меня «подловил».

Разговор шел уже не в отделе — а на «высоком уровне», у главного редактора, за чаем с конфетами и печеньем. Я дерзил начальству и хорохорился, было это в тот же день, когда должна была состояться та самая читательская конференция в библиотеке им. Володарского, о которой писал Александр Николаевич. К шести часам он должен был подъехать к остановке метро «Новослободская» и ждать меня там.

На улице валил мокрый снег, было промозгло, друг мой выглядел плохо, был он совершенно болен, но встретил меня с братом в аэропорту. Уж сколько я его ни умолял не ездить, не встречать, он все равно являлся, стоял у железной ограды и, заметив меня, начинал:

— И чья же это папа приехала? — А когда я ворчал на него, отшучивался: — Да что ж, Вик Петрович, такой редкий предлог из Москвы смотаться, на лес посмотреть, покурить в машине и на людей подивиться, позавидовать: летают вот куда-то, шевелятся, а тут сидишь как проклятый, корябаешь бумагу, таблетки глотаешь...

Я где-то и понимал его, и разделял его тоску по воле, по странствиям.

И вот, сидя в кабинете у главного редактора, все более тупея от болезненного и нудного разговора, я уж не столь думал о своем творении, сколь о большом человеке, который, не глядя на педуг, тащится из-за меня в какую-то библиотеку, стоит сейчас, поди-ка, на мокром снегу возле Новослободской.

И спросил я главного редактора, товарища Осипова Валентина Осиповича:

— Скажите вы мне на милость, что это такое? Все серые, даже худешькие романы и повести, напечатанные в журналах до и после меня, уже давно изданы, а мои повести вы сами называете хорошими и вот маете-маете мне и себе первы?..

— Да потому они и изданы, что серы, стало быть, и бесспорны! — воскликнул главный редактор четко и в сердцах.

— Благодарю вас за откровенность! — сказал я и, бунтарски заграбастав из хрустальной вазы горсть конфет — для Александра Николаевича, ушел, зная, как меня снова будет бранить мой «суровый критик» за мягкотелость и уступчивость, а я ему с шуточками конфеток горсть... «Поскольку кончилась игра и унижение постыдно» — как сказал наш поэт-современник.

«Н-да! Живем! Творим! Изворачиваемся! А когда подыхать начнем — ведь и в самом деле стыдно будет за такое проститутство... Так что же? Не работать? Бросить всю эту волюнку? Ах, если б это было возможно!» — И тогда, по уходе из издательства, терзали меня подобные мысли, да и сейчас не оставляют. Усталости добавилось и сил ubyло, да появилась «стенобоязнь» — термин этот принадлежит художникам и означает он, что тот или иной художник стал бояться участвовать в выставках, выставляться напоказ. Не я один уже принадлежу к числу тех людей, которые под любым предлогом удерживают рукописи на столе и в столе, заранее зная, как их, эти рукописи, будут подозрительно читать, что в них потребуют пра-

вить, убирать, обрезать, — и «Зрячий посох» давно бы уж был доработан, напечатан и освободил бы меня для другой работы, но «стенобоязнь» — это сила! Ведь ни одна моя новая вещь, за исключением детских, да и то не всех, не проходила без задержек, придировок со стороны цензуры, без остановок, правок, доделок; и этот «опыт», знание, что ожидает тебя впереди, — «помощь» и «редактура», тебе навязанные, чаще всего уродующие произведения сокращением, дописыванием и латанием дыр на ходу, деформирующие мысль твою; доведение автора до того, что всякая радость первооткровения исчезает и взамен является чувство подсудимого, не знающего собственной вины, — неполноценности, обиды и враждебности к людям, тебя издающим, точнее, терзающим при издании, — все-все это с каждым годом убавляет работоспособность, ибо убавляется оптимизм художника, наполняется его сердце грузом горечи, сознанием бесполезности своего труда, значит, и бесплодности твоей жизни.

Ох, не зря годами ничего не печатают мои друзья-«деревенщики», так хорошо начавшие работать в литературе; некоторые из них и вовсе бросили писать или пишут нерегулярно, «для себя», в стол — кому это надо, хотел бы я знать на старости лет? Неужели до сих пор непонятно, что творческую мысль не остановить! Исказить можно, приглушить можно, довести ее, да и общественное сознание, до апатии можно — это было в России не раз, совсем недавно было, да, видно, ничему не научило.

Однако вот какая любопытная деталь из моей творческой жизни: издавался я и издаюсь всего больше в «Молодой гвардии», и не всегда легко, чаще даже наоборот, но совсем не случайно захотел издавать собрание сочинений именно в этом издательстве. Многие меня к этому подвигало, в том числе и такой вот уникальный документ, написанный тем же Валентином Осиповичем Осиповым, которому немало испортил я крови своим упрямством и петушистостью, и «документ» этот свидетельствует, что не одни авторы мучаются, чувство вины в душе носят и их издатели.

Дорогой Виктор Петрович!

Глубоко уважая Вас, посчитал своей естественной обязанностью сообщить Вам о своем переходе на другую работу — в журнал «Знамя» — пришло время и мне попрощаться с комсомолом (увы, годы!). Но мне хотелось

бы надеяться, что наши творческие связи будут продолжаться. С чувством глубокой признательности за все то, что Вы сделали для издательства, для меня, с самыми добрыми приветами, с надеждами на новые встречи.

Ваш В. Осипов.

Письмо Валентина Осиповича Осипова, в период написания этой книги работавшего директором издательства «Художественная литература», повторяю — уникальный документ благородства и этической воспитанности. Не балуют и не баловали нашего брата письмами и вниманием ни писательские руководители, ни старшие писатели. Подхалимы и прихвостни не оставляют им, видно, времени для общения с нашим братом. Пример Максима Горького ничему их не научил.

За тридцать теперь уж с лишним лет работы в литературе я получил от старших писателей столько писем, что их не составит труда пересчитать: Константин Симонов, которому я послал свою первую московскую книжку, — отозвался на нее большим и добрым письмом. Александр Чаковский, которому поглянулся рассказ «Ясным ли днем», напечатанный в «Новом мире», — написал об этом. Вадим Кожевников поблагодарил за сборник, который я составлял для Пермского издательства к 20-летию со дня окончания Отечественной войны и включил туда его рассказ «Март — апрель», да Михаил Алексеев написал личное письмо по поводу прочитанной им моей рукописи. Леонид Леонов прислал к полувековому юбилею поздравительную телеграмму и подписал книжку своей публицистики.

И как же мне не благодарить судьбы, которая послала мне так ко времени и такого умного и чуткого старшего друга, как Александр Николаевич Макаров.

Но ведь многим писателям судьба не сделала этого «подарка», и они живут и работают одиноко, варятся, как говорится, в собственном соку.

И встреч со старшими писателями, интересных, запоминающихся, не таких, когда тебя похлопают по плечу мимоходом или вяло пожмут руку и торопливо бросят: «Читал, читал. Недурно-с, совсем недурно-с...» — и помчатся куда-то, тут же забыв о тебе и о том, что только что молвилось, а встреч, значительных для жизни и для работы, было немного, а раз немного, думаю, самое место тут рассказать о них.

С Александром Трифоновичем Твардовским я встречался с глазу на глаз только один раз и проговорил всего пятнадцать минут.

Было это в конце пятидесятых или в начале шестидесятых годов, точно не помню, но помню, что тогда еще только начинались, пыле ставшие модными, многолюдные выезды писателей и разных деятелей на периферию и в республики во главе с писательским, а иногда и цеховским начальством — для «изучения жизни в глобальном и широком масштабе», как выразился недавно один речистый вождь Союза писателей, но если откавычить эту патетическую формулировку — просто для показухи и коллективной пьянки. Нынче все это действие называется уже узаконенно и определено — «выездные секретариаты», и даже тема придумывается, допустим, такая: «Человек труда и отражение его героической сущности в советской литературе».

Тот многолюдный пикник, о котором пойдет речь, был назван пышно — форумом, и ребята-остряки переименовали его.

Многословное, шумное было представление и в самый разгар уборочной — тяжелая стояла на Урале осень, снежная, но местные руководители и партийные работники вместо того, чтобы работать, приветствовали и поздравляли дорогих гостей, удостоивших чести их город. Такое же бывает и на больших стройках, на трассах и промыслах; тюменским нефтяникам порой нефть добывать некогда — все гости, гости, в особенности достается ГЭСам, в частности, Красноярской и Саяно-Шушенской. Было дело: стихия разгулялась, на стройке сверхнапряжение, люди аварию предотвращают, а тут гости заседают — и титулованные, и от печати, и от союзов творческих...

Приезжал в Пермь на то знаменитое литературное празднество и тогдашний первый заместитель главного редактора журнала «Новый мир» Александр Григорьевич Дементьев. Человек компанейский, разговорчивый, со стариковской сплсходительной хитрецой, он сразу же стал душой нашей провинциальной творческой молодежи, и в отличие, допустим, от литвождей, которые и беседовать и кушать чаще всего изволили с партийным начальством, а с народом общаться посредством трибуны, Александр Григорьевич потихоньку-помаленьку узнавал, кто тут чего стоит, и днем-то малеько выпивал да пародные песенки с нами попевал, а ночью изучал нашу продукцию, и когда уезжал

из Перми, в его потертом старом портфеле среди немногих рукописей лежали и мои три или четыре рассказа, на публикацию которых я особой надежды не питал, но уже и тем был приободрен, что вот «взяли», и не куда-нибудь, а в «Новый мир», к самому Твардовскому, который — слух шел по России — сам! лично! читал все!!! рукописи, поступающие в редакцию журнала.

Сейчас я уже не вспомню, зачем и почему оказался в Москве, вроде бы и по вызову журнала. Явился на Пушкинскую площадь, к заветной тяжелой двери рано поутру, не зная, что и редактор, и секретарь, и замы приходят в редакцию журналов не ранее двенадцати.

Какая-то сердобольная тетенька, вахтерша или уборщица, спросила, к кому я, зачем, и, видимо, не первый я тут такой был и не последний, пригласила посидеть в полутемном коридоре, пока не появились сотрудники.

Я подтянул галстук на шее, штаны на брюхе, причесался, жду. Нет и нет моего Дементьева, кроме него, я тут никого не знаю. Но журнал «Новый мир», кроме всего прочего, всегда отличался еще и журнальной этикой, привитой, как я теперь понимаю, деловым человеком Симоновым и укрепленной строгим Твардовским, — это я испытал на себе и в качестве безвестного автора, и в качестве уже широко печатающегося. Мимо меня раза два промелькнул молодежавый, румяный мужчина с волнистой прической, и не то я ему надоед, глаза намозолил, не то ему жалко меня стало, может, в силу той же редакционной этики, он наконец обратил на меня внимание и спросил:

— Простите, вы кого ждете?

Я поднялся со старого креслица, одернул пиджак и сказал, что Александра Григорьевича Дементьева.

— А вы откуда?

— Из Перми.

— И давно здесь?

— С утра.

— Так ведь...

Скоро я оказался в кабинете, где стояло несколько старых столов, заваленных бумагами, папками, гранками. И сам кабинет был стар и мрачноват из-за давней покраски и чего-то черного вокруг, видимо, древней отделки из черного дерева. Мне дали чаю. Принесла его та же тетенька, что приветила меня утром и сейчас вот ободряюще улыбнулась, вынув из кармашка фартука два кусочка сахара. А человек с волнистым чубом все носился по за-

коулкам и лестницам, бросив мне на лету: «Простите, сдача номера...», однако он не забывал обо мне, как оказалось, и скоро положил передо мною сцепленные скрепкой гранки:

— Вот ваши рассказы. Посмотрите. Что-то тут не то... Мы уже хотели их ставить в номер, но... Словом, надо поговорить...

Набраны были три рассказа из четырех, но в каком виде! Я уже печатался к той поре несколько раз в толстых журналах, испытал на себе редакционный произвол и бесцеремонность редакторов, однако такого...

Человек с волнистым чубом, еще более раздумявшийся от хлопот, беготни и забот, наконец рухнул в кресло за стол и сочувственно поглядел на меня:

— Ну что, удручены, расстроены?

Я покивал головой. Он набрал номер внутривнутриредакционного телефона и позвал редакторшу, фамилию которой не хочу здесь называть, ибо видел ее в «Новом мире» первый и последний раз. Я ее потом нигде не видел.

Вошла женщина, тощая, коротко стриженная, неряшливо одетая, с сигаркой в зубах.

— Вот Астафьев, — указал на меня мужчина. — Тот самый.

— Н-на, — разомкнула обляпанные помадой губы редакторша и, вынув изо рта красный окурочок, бросила его в пепельницу, под нос, как я догадался, своему начальству.

— Может, вы побеседуете с автором?

— Беседовать? С автором? О чем?

— О рассказах.

— Это слишком смело сказано.

— Н-ну...

— Ну-ну, я уже набеседовалась насчет несчастных творений. Я сделала все, что могла. Может, вы сами продолжите работу с автором? Но предупреждаю — это бэспэрс-пэктивно! — и с этими словами дама удалилась.

И человек с волнистым чубом, и я, автор, смотрели в пол. Мы оба были унижены бесцеремонностью и подавлены напористым хамством.

— Вы это... не обращайтесь внимания.

Я ничего не мог ответить. Я и без нее, без этой дамы знал, что с суконным рылом забрался в калашный ряд, то есть в литературу, да вот еще в «Новый мир» меня занесло! Печатался в альманахе «Прикамье» и продолжал бы печататься, и «мэтром» бы стал, пусть и провинциальным,

и хвалили бы меня в местных газетах, и никто «бэс-пэрс-пэктивно» не посмел бы сказать — там рука руку моет: ты похвалишь, тебя похвалят, и, глядишь, пи шатко ни валко идет личдело — плодятся книги, продолжаются «традиции».

Пришел Александр Григорьевич, обнял меня, по спине похлопал, раздеваясь, переглянулся с женщиной, скользнул взглядом по гранкам, которые я держал в руках.

— Побеседовали, Алеша?

— Побесе-едовали! — махнул рукой Алеша.

— Прогонять надо ее, змеину.

— Давно пора. И этот тоже хорош, писать еще не научился, а уж лезет пальцем в чирей.

Я тогда не понял, о чем говорит Алеша, то есть второй зам. редактора Алексей Иванович Кондратович, очень хороший и добрый, мужественный человек, с которым не раз мы потом беседовали, тепло общались, и до самой его смерти в короткие и редкие встречи не отворачивались друг от друга.

В одном из рассказов, а он единственный только и мог называться рассказом, и его я впоследствии дотянул-таки и напечатал в столице, остальные попросту отложил и после некоторых доделок тиснул все в том же многотерпеливом «Прикамье», — была упомянута фамилия отрицательного персонажа, списанного с натуры, а так как «отрицательных» я и по сию пору писать ладом не научился, то было в той фигуре много сарказма, иронии и пр., пр., но толку и смысла было мало. По пынешнему рассуждению, так и вовсе там шутного ничего в этой жалкой фигурке не было, и надобности в ней не было, и выкинул я ее потом насовсем в литературный мусор. Но весь смысл происходящего постиг я ой как не скоро. У фигуры той и фамилия была натуральная еврейская, но плохие люди, гады, сволочи, продажные шкуры, ловкачи и рвачи по кем-то установленным и ревниво, даже болезненно соблюдаемым правилам должны носить в современной нашей литературе русские фамилии, ну, в крайности, украинские или белорусские. Но я ж еще работал по методу классицизма: что вижу, то и валю на бумагу, текущих «тонкостей» соц-реализма не знал. Редакторша знала, вот и подвергла меня уничтожению. И поделом! Думай, что пишешь, понявши, научись так писать, чтоб все, даже отрицательные евреи, выглядели в твоих произведениях не только натурально, но и убедительно.

К двум часам в редакцию приехал Твардовский. Все как-то подтянулись, построжали. Александр Григорьевич забрал мои гранки, сказал: «Посиди», и они с Кондратовичем ушли к главному редактору. Долго там были. Явились улыбающиеся. Александр Григорьевич пригласил меня с собой, в коридоре полуобнял и так вот, полуобнявши, ввел меня в большую, почти пустую комнату, скорее похожую на зал.

Я потом узнал, что у Твардовского в старом здании не было постоянного кабинета, и он мог оказаться в любой из комнат редакции. На сей раз он оказался в этой, большой, и, улыбаясь, шел мне навстречу, но я к месту прирос — смотрю на живого Твардовского и сам себе не верю.

Мне говорили после, что бывал он и зол, и нелюдим, и нетерпелив, и нетерпим, и резок с людьми, и отталкивающая ироничен. Но я же везунчик! Я попал к хорошему Твардовскому и хорошим унесу его образ в могилу, и сколько бы ни читал и ни слышал о нем худого, ничему не поверю. Этому неприятию худого в великих людях я научился среди людей и от людей.

Вот характерный пример: после утомительной осенней охоты лежали мы у костра на уральском разъезде Вереинском и ждали пригородный поезд. Человек нас пятнадцать собралось на огонь, и все чусовляне, всех я знал, и они меня тоже. Поезд опаздывал, темь наступила. Шел треп о том о сем, как вдруг на литературу перекинулся. Я тогда работал в газете «Чусовской рабочий», издал уже одну или две книжки в Перми и внимательно вслушивался в то, что говорит народ. Были здесь почти сплошь металлурги, и один из них, вальцовщик с мелко-сортного стана, довольно начитанный, что-то прочел вслух из Некрасова, другой, не менее «начитанный», стал говорить о том, что все они, писатели, большие притворы, делают одно, да пишут другое. Вот тот же Некрасов — картежник был, гуляка, бабу у друга своего отбил и увел...

— Это неправда! — твердо заявил вальцовщик.

— Так пишут же! В книжках.

— Мало что. Да мне сам Некрасов, приди он вот сюда, к костру, и справку с печатью принеси, что да, картежник, бабник, а я и ему не поверю, потому что во мне живет мой Некрасов. С детства живет! И он лучше всех людей на свете. Может, лучше того, какой был на самом деле...

Коротко и сильно пожав мне руку, Александр Трифо-

пович отступил на шаг и внимательно на меня посмотрел. Какой выразительный и пристальный был взгляд, и глаза-то вроде белесые, круглые, но так много в них вмещалось! В тот день сверх всего светилось радушие во взгляде поэта, приветливость и желание делать добро, пусть и первому встречному, коим, к моему счастью, оказался я. А глубже и дальше лежала усталость, уже необратимая, пооща я, усталость и печаль. И эта печаль проступала все явственней и ближе по мере того, как он вглядывался в меня.

— Воевали?

— Да.

— Где и кем?

— Солдатом. На Первом Украинском.

— Солда-атом!

— Он и сейчас ведет себя, как солдат в бою — не соглашается печатать отредактированные рассказы! — вступил в разговор Александр Григорьевич. — В «Новом мире»! — перешел он на привычный для него, несколько ироничный самозащитный тон, который соседствовал и с ерничеством. — Ну, я пошел! — почувствовав мою и Александра Трифоновича неловкость, заторопился Дементьев.

Мы остались с Твардовским вдвоем.

Александр Григорьевич, видимо, позаботился о том, чтобы какое-то время нам не мешали и Твардовскому не звонили.

Я сел напротив Александра Трифоновича на стул, а он — в старое кресло с деревянной массивной спинкой, тоже крашенное черным или из черного дерева. Пиджак его висел на спинке, был он в чистой-чистой глаженной рубашке в светлую полоску, рукава рубашки были засучены до локтей, обнажая крупные крестьянские руки с утончившимися уже пальцами и чуть полноватыми предплечьями. Волосы, видимо, утром только мытые, топорщились, были они тонкие, даже на взгляд мягкие, и, привычный на портретах, моложавый, с гладкой строгой прической вбок, был сегодняшней, пожилой, Твардовский с этим вольным седым волосом — как-то ближе, доступней, родственней.

И хотя вид у него был деловой, чувствовалось его расположение к беседе, к общению, он не смотрел на ворох бумаг и на мои графки, положенные сверху, не рукоприкладничал, не хватался за телефон, он тихо расспрашивал про житье-бытье и незаметно повернул разговор на войну.

— Да, это хорошо, что бывшие рядовые пачинают пи-

сать. У них совсем нетронутый материал. Пишет о войне наш брат, военный журналист, офицеры, генералы, тыловые работники. Вы Быкова читали? Знаете?

— Читал. Но лично не знаком.

— И что же вам хочется написать о войне?

— Прежде всего хочется написать о запасных полках. Задать вопрос хочется — что это такое было? Зачем?

— Да-а! Запасные, запасные, — посмотрел куда-то в сторону Твардовский. — Кормили там так и доводили до такого состояния людей, что все они добровольно на фронт просились.

Заявление по тому времени не только откровенное, но и весьма смелое. Но это же Твардовский! Для него, понял я, состояние правды — естественная необходимость, его дыхание, его пища и суть жизни — ох какую силу духа, какое мужество надо, чтоб в наше время сохранить себя для правды! И хотя говорят, что раз солгавший уже не остановится, Твардовский и это смог, преодолел тяжкую, пусть и единственную ложь в своей жизни, когда, будучи молодым и удачливым поэтом, не заступился сразу за сосланных родителей, но, во искупление этой слабости, этого, столь обычного для тех времен, малодушия, тем самоотверженной боролся до конца дней, до последнего вздоха с ложью, и если литература наша хоть как-то и насколько-то продвинулась вперед, разрывая путы лжи, — пример Твардовского, его работа сыграли здесь и по сей день играют огромную роль.

Но мне иногда приходит в голову такая парадоксальная мысль: а не будь такой беды, такого нравственного проступка в жизни поэта, был ли бы он тем Твардовским, какого мы знаем? И отвечаю себе: нет, не был бы и уж наверняка не было бы самой горькой и самой чистой его поэмы «По праву памяти»¹.

Испытание на прочность люди, прежде всего творческие, проходят не только закаливанием организма, но и ломкой его, перевоспитанием души.

У нас в литературе сейчас много людей, видящих и помнящих себя в виде пасхального кулича — сразу он явился свету круглым, пышным, сладким и праздничным. Но есть восхождение хлебного колоса на кем-то, чаще всего отцом и матерью, вспаханной земле. Именно с хлеб-

¹ Поэма опубликована в журналах «Знамя» и «Новый мир» в 1987 году.

ным колосом, на ниве русской словесности, мне кажется уместным сравнить жизнь и деяния Твардовского — от уровня стихов далекой смоленской «районки» к Моргунку, к этому откровению молодого поэта, да и поэзии тех нелегких лет, еще и осложненных разгулом страстей преобразователей всех сфер жизни, и прежде всего крестьянской жизни, — ко всенародному, всем необходимому как хлеб, Василию Теркину, к лирике военных лет и, последовательно, к мудрой, весомо-спокойной роману-поэме «За далью — даль», а от нее к вершинам своим — поэзии последних лет и, наконец, к предсмертному крику гнева и боли «По праву памяти», долго скрываемой от народа, от того народа, плоть от плоти которого был поэт, может быть, последний русский поэт, заслуживший почетное и великое звание — народного.

Мы еще сколько-то поговорили о войне, но я не давал себе разойтись, лишь немного поведал о послевоенной жизни, стараясь выбирать самое «смешное», и от этого «смешного» Александр Трифонович поскорбел, опустил глаза и не то переспросил, не то подумал вслух:

— Награды в ящики заперли! А один вояка, говорите, медаль «За отвагу» на блесну переклепал. Хороши! Все хороши! И вояка! И генералы, на произвол судьбы его бросившие. И генералиссимус наш дорогой...

— Но так всегда было, Александр Трифонович, после всякой войны бросали и предавали тех, кто добыл победу и спас шкуры власть имущих. Вон «Возвращение» у Ремарка. Да что Ремарк? С Римских времен...

Да что там Рим и римские времена. Наполеон, бросивший сотни тысяч французов на медленное умирание, так и остался Великим императором. А солдат, им преданных, кто помнит? Или наш русский полководец таскал по весям и странам сотни тысяч русских мужиков. Может, великий генералиссимус и другие сиятельные лица сосчитали, сколько нищих, калек-солдат бродило по Руси, собирая милостыню, они, добавив очередную славную победу своему Отечеству, возвращались под надзор и батоги крепостника-барина все теми же невольниками и рабами, какими уходили в «освободительный поход», или в очередную кампанию по спасению союзников, жирующих среди Европы. Было время, когда по приказанию русских воевод и их царствующих покровителей стрельцов, изувеченных в бою, и прочих ратных людишек выгоняли за ворота крепостей и острогов, ими же срубленных на от-

воеванной дикой земле — на Божью волю и мирское пропитание, то есть на съедение волкам, поскольку царская казна не предусматривала и не отпускала провианту и денег на содержание инвалидов; «милости» ее распространились только на тех слуг, которые могли еще служить отцу-осударю, большим же и поувеченным — «Господь Судья и Спаситель».

«...Разделен издревле труд; города сдают солдаты, генералы их берут»; как «брали города» — я знаю, и поэт, сказавший эту дерзость, знал, какой кровью брали, какими жертвами...

Не просто «из-за войны» опустела паша исконно русская земля, ибо потери России не восполнены и невозполнимы, они продолжают из поколения в поколение и будут продолжаться при таком браконьерском отношении к русскому народу и русской земле.

Запустение того и другого, одичание, уход в междомки ныне прикрывается хитрой, убогой и привычной уже демагогией, и то, что было исконной Россией, центром ее и душой, уже поименовали термином — Нечерноземье. Не земля, не страна, не родина, не народ, не нация, а НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ, на котором живут, точнее, доживают, не русичи, не славный и многотерпеливый народ, народ — победитель во многих войнах и в Великой революции, обретаются какие-то, мало кому ведомые, новые племена печерноземцев, которые от деревни не ушли и к городу не пришли.

Был дом и поле на два дышла.
Там ни двора и ни кола.
России нег. Россия вышла
И не звонит в колокола.

О ней ни слуху и ни духу,
Печаль никто не сторожит.
Россия глушит бормотуху
И кверху задницей лежит.

И мы уходим с ней навеки,
Но уяснив свою вину,
А в повгородские узбеки
Уже корчуют целну.

Эти стихи появились на свет уже после смерти Твардовского, их написал очень благоверный поэт, и Россию переименовали уже после того, как не стало Твардовского — при нем не смели, видно, так широко и удачно развернуться с преобразованиями и новшествами на ниве сельского хозяйства.

— И так всегда было, — повторил я вслух то, что прошло-промелькнуло в эти минуты во мне.

— Да мы-то не всегда были, — будто упреждая мои слова, тихо и горько произнес Твардовский. — Мы, создатели нового общества, новой армии. И войны такой не было. Здесь, — ткнул он пальцем в гранки, — есть то, о чем вы мне говорили.

— Немного. Остальное здесь, — постучал я себя кулаком по голове.

— Вот и берегите ее, — мягко улыбнулся он, пододвинул к себе гранки и начал их листать. — Зачем же вы так делаете? — я напрягся, подался вперед. — Зачем так неряшливо, а то и нарочито сплетаете авторскую речь с повествовательной?

Я чуть было не ляпнул, что в этом «моя особенность», что за это меня хвалят периферийные критики и редакторы... некоторые... Но тут он прочел пример из текста, что я обрадовался — слава Богу, не успел ничего сказать.

Потом он наткнулся на описание дерева без вершины, дерева, сломленного давно бурей.

— А у дерева, да еще сломленного бурей, да еще такого сильного, как лиственница, которую вы описываете, много вершин должно быть! — И рассказал, что в Пахре, где он живет, есть поломанная ель, и что у нее, у ели, признающей вроде бы всего одну лишь острую верхушку, пошло несколько отростков и который-то из них станет вершиной.

Это он говорил со мной о рассказе «Бурелом» и коротко, по в то же время очень убедительно доказал, что не буря и бурелом в рассказе главное, а столкновение людей под бурей, столкновение светлого с темным, человека пропадающего вроде бы и сволочного потрясает не столько буря, сколько незапутанная, простая и честная жизнь такого же, как он, существа.

Я внял советам Александра Трифоновича и несколько лет спустя с большим трудом доделал тот рассказ. Называется он «Восьмой побег».

Конечно же, в короткой беседе с Твардовским были моменты, когда меня, человека норовистого, охватывало желание поспорить с Александром Трифоновичем, не согласиться, повозражать ему, да я сдерживал себя, поспорить-то я и потом, в уме, еще успею, но вот послушать многоопытного человека мне, может, более и не доведется. К той поре я уж темного понимал, что характер писателю нужен не менее, чем талант, однако норов ему ни к чему и, видя, как иногда из кожи лезет иной молодой

автор, доказывая свою «правоту», я про себя вздыхаю: «Э-эх, деревня-мама! Да он же старше тебя по всем статьям, значит, и мудрее. Учись, внимай, бери, пока дают! Не упускай счастливых минут драгоценного и редкого общения, подаренного тебе судьбой». Но и на это пужно умение, нужна внутренняя культура, которая пачинается со сдержанности, с умения слушать и выслушивать вещи, иногда и неприятные, и разбираться в них, в себе и про себя, а не разводить словесный базар, да еще в присутствии людей старших, оторвавших время от себя, которого у них уже в обрез и которое читателю дороже, чем твой горячий спор, часто являющийся не чем иным, как молодецким торканьем в открытую дверь.

— Вы поработайте еще над рассказами и приходите к нам, да напечатайтесь так, чтобы сразу было заметно и достойно. — Твардовский вопросительно глянул за мою спину — там стояла седая женщина с ворохом сколотых бумаг. — Потом, потом, — приподнял он руки и как бы загородился ими.

Я поскорее стал подниматься со стула, чтобы откланяться Александру Трифоновичу, ибо в дверь просунулась уже седая голова Дементьева, еще кто-то там замаячил. Александр Трифонович улыбнулся мне ободряюще и чуть виновато, видите, мол, сами. А я твердил: «Спасибо! Спасибо!» — и делал какие-то торопливые, мелкие и тоже виноватые полупоклоны.

Александр Трифонович вышел из-за стола, подал мне руку и, не выпуская ее, как бы загородив меня плечом и левой рукой от кого-то, довел до двери.

— Ну что? Как? — спросил в дверях Дементьев. — Договорились?

— Договорились, договорились, — отозвался Твардовский, выпустив меня и уже с кем-то здороваясь. — Молодой человек поработает еще, подумает, и тогда уж...

— Ну вот и хорошо, вот и хорошо! — еще сильнее окая от волнения, принял меня Дементьев и проводил в коридор. — Витюша, ты хоть ел сегодня? Не ел. А подожди-ка ты меня, братец, а коридоре, и мы вместе пообедаем. Автора надо кормить. Ко-ормить-ить. У него и деньжонок-то небось нету.

— Ну как это нету? Как это нету?! — захорохорился я, думая, что мы пойдем в ближнюю столовку. Но мы часа через два пошли в ЦДА. Александр Григорьевич занял

отдельный столик, чтоб не мешали, не привязывались чтоб: «А то ведь пожрать не дадут...»

И за весь вечер — мы просидели допоздна — никого за стол не пустил, кроме своего друга Владимира Викторовича Жданова, человека симпатичнейшего, собеседника умнейшего. Несколько лет спустя он подарил мне свою книжку «Некрасов», выпущенную в серии «Жизнь замечательных людей», с трогательной подписью, и книгу эту я хранию, как дорогую мне реликвию.

Много мы переговорили тогда и о многом. О моих рассказах и гранках, оставшихся на столе главного редактора, даже не упоминалось, к моей радости, и они, наверное, ушли туда, куда им и следовало уйти, — в корзину.

С тех пор мои отношения с «Новым миром» были очень добрые, почти дружеские. Дважды со мной заключали договор на повести «Кража» и «Пастух и пастушка», дважды поддерживали авансом и дельными советами. Но обстоятельства складывались так, что замордованный журнал не смог их опубликовать, однако оба раза, сперва Деметьев, а затем Лакшин добивались того, чтобы я не возвращал аванса и, более того, всякий раз журнал откликался на публикации этих повестей в других журналах добрыми рецензиями и статьями, а в 1967 году напечатали и рассказ «Ясным ли днем», который, как я узнал из статьи Алексея Кондратовича, понравился Твардовскому. Публикация получилась достойной журнала «Новый мир», во всяком разе, я не краснел за нее и долгое время ей радовался, равнялся в работе на этот рассказ.

Нет Александра Трифоновича на свете, к сожалению, нет, и люди работают в журнале другие и по-другому, но «старые повомирцы» мне по-прежнему родны и дороги.

Как-то в толчее писательского съезда юркнул я в буфет Колонного зала, а буфет там шире иного железнодорожного вокзала, и столы в нем из плах, модные столы, барачного фасона. Мчусь к стойке с питьем и бутербродами, как вдруг вижу за торцом стола одиноко попивающего кофе седого, но все еще свежего лицом человека. Я уж было промчался, да вдруг стукнуло:

— Александр Григорьевич! Голубчик! Сколько лет, сколько зим!

— Здравствуй, Витюша, здравствуй! — Мы обнялись. — Какой ты был отсталый, такой и остался! — с горькой стариковской усмешкой молвил он и пояснил: — Сейчас ко мне никто не подходит — не пужон. Это когда в «Но-

вом мире» правил — хвостом таскались, в ботинок от любви мочились, как щенята. Ноне отворачиваются. Смотрю, и ты мимо мчишься. Думаю, и этот хлюст!.. — Мне показалось, что у старика и голос дрогнул. — А Володя помер. Помнишь Володю-то Жданова? Ждали мы тебя в Пахру, ждали. Следили за тобой. Не суетишься. Не суетишься. Много работаешь. Держишься. Рад за тебя. И Володя радовался. С Урала-то пошто уехал?

Посидели мы в сторонке, поговорили, чайку попили. А в Пахру, навестить старика, я так и не собрался. Москва эта, как только изредка в нее попаду, возьмет меня в такой оборот...

Не увиделись, не поговорили. Умер старик, еще одна виноватость в жизни моей, еще одно раскаянье. Сколько их еще будет!

Впрочем, раз оправдываюсь, значит, виноват, и нечего красивые покаянные турысы разводите. Не так уж много настоящих, бескорыстных, «бесплатно» в тебя верящих и поддерживающих людей встречается на творческом пути, особенно в начале его, — «новомирцы» были ко мне именно такими.

А пятнадцать минут, потраченных на меня великим поэтом и гражданином нашего времени, я буду отрабатывать всю жизнь.

Когда я учился на Высших литературных курсах, семья моя оставалась в Чусовом — городке, как я писал, не только чадном, дымном, но и вечно бедном — культуришкой, развлечениями, достатком, провиантом, транспортом, хозяйским доглядом, жилищным устройством. Зато он был богат смертоубийствами, пьянством, дебошами, ранним износом людей, особенно на металлургическом заводе.

А я еще суровость свою и принципиальность проявил, отдав детей в пятую школу, «татарскую», как ее называли в городе. Стояла она, пошатнувшись корпусом в лог, подпертая со стороны лога спаренными бревнами, полом вросла в землю, окна перекосились. «Татарской» она звалась по причине того, что половина ребятишек в ней училась татарского происхождения — в Чусовом жило много татар. Работали татары на высокооплачиваемых, но и самых тяжелых работах, большей частью в горячих цехах, жили меж собой дружно, сплоченно, во все времена справляли свои национальные праздники и обряды. Чувство собственного достоинства, трудолюбие, кристальная честность, порядочность и добрососедство татар вызывали к

шим самое искреннее уважение русских людей, и можно смело утверждать, что жили они воистину по-братски, всеми силами помогая друг другу во времена бед и тяжких испытаний, коим явилась только что отгремевшая война.

Вот и захотелось мне, чтоб дети мои учились не в «образцовой» — семнадцатой школе, а с рабочим классом, пусть в гнилой, холодной школе. И не раскaiваюсь, что я их туда отдал — гениями и вундеркиндами они не стали, да и в семнадцатой школе из них таковые не получились бы — задатков нет, но честными людьми мои дети сделались, и в этом немалая заслуга пятой, «бедной» школы.

Однако это я сейчас так рассуждаю, но тогда, учась на ВЛК, живя в хороших условиях, бывая в театрах, на концертах и в лит. обществах, покупая в магазине из продуктов все, чего душа пожелает, я чувствовал себя несколько смущенно, и хотя отправлял посылки с продуктами на Урал, все же угрызения совести терзали меня. И решил я — уж баловать так баловать — свозить свою семью в Дом творчества, аж в Дубулты, куда зимой принимали писателей с детьми, детей постарше — даже без пап и мам.

И вот поднарядились мои дети и жена, сводил я их в Москве кой-куда, даже в Большой театр — до се они это вспоминают, и катанули мы на поезде в заманчивую даль.

Приехали в Дубулты. Поселили нас в дальнем корпусе, среди сосен и кустов, всех четверых в одной комнате — мы и радехоньки. Напротив поселилась пожилая интеллигентная женщина и смущенно представилась тещей Лазаря Карелина. Почему-то в комнатах не оказалось лампочек, но скоро их выдали. Я ввинтил себе и теще Лазаря Карелина в комнаты лампочки, слышу — брашится кто-то в соседней комнате женским голосом, но матюки мужские. Тут является моя девица, пребывавшая тогда в самом что ни на есть любопытном возрасте, и сообщает, что тетенька почему-то ходит в обуви по столу и по всему, что есть в комнате, и кроет всех и вся, «как в Чусовом на улице». Я сказал дитю, чтоб она не совала нос куда не просят и не слушала бы того, что слушать в детстве не полагается. Дитя посопело носом и унялось. Тетенька, побрашнившись, забрала жилье и ушла в другой, более удобный корпус, более светлую и просторную комнату. Тетенька, как выяснилось, была не простая, но золотая — жена драматурга А., — не та жена, что у него пышче, совсем другая жена. Она была вечно чем-то недовольна, го-

ворила громко, вела себя везде и всюду мягчежно, и однажды в Риге, в фирменном магазине, спяла и стала отряхивать порковую шубу на витрину с пирожными, и когда латышка-продавица закудаhtала: «Что вы делаете? Как можно?», жена знаменитого драматурга дала ей четкий отлуп: «Погода у вас мерзкая. Спеет. Шуба моя памокла. А мне она дороже ваших виливых пирожных...» Латышка и заткнулась, слезы у нее па глаза паверпулись, жена знаменитого драматурга уж громко, па весь магазин крыла современней театр, выворачивая его, как старую шубу, драпой и грязной изпанкой паружу.

Съехались еще несколько писателей с женами, в том числе и не менее великий, чем А., драматург Ш. с женою — пара тоже колоритная.

Толпами и в одиночку пачали прибывать на отдых угонленные писательские дети. Мои чада, паряженные в Чусовом и па чусовской мапер, тут же и померкли, ибо те дети, скорее, главные среди «тех», меняли костюмы и платья по три раза на день. Никита Михалков, красивый, урклмордый паршишка с лучисто мерцающим взглядом — так и по четыре. Да костюмы-то все по повой моде шиты, все с заграничными нашивками и фасонным покроем. Девчонки вокруг того Никиты вились роем, и он их тоже отмечал. В ту пору мне и в голову не могло прийти, что из этого шумного баловня и шалопая вскорости получится такой серьезный кинорежиссер и артист.

Прибыл с женою и забалованным нежным дитем мой земляк Б., известный в ту пору писатель, лауреат Сталинской премии, громивший в центральных газетах неудобных ему литераторов, — сейчас я не пазываю его фамилии только из жалости к нему, ибо стал он совсем безвестным, одиноким, и даже когда в своей квартире что-либо говорит — оглядывается па дверь. Работал паездами в Доме творчества и славный мужик Нагишкин, катая очередную толстую книгу про Боливура, бывал он то в Дубултах, то в Риге, и от усталости или по какой другой причине тою же зимой погиб под электричкой.

Приехал, наконец-то, и такой человек, с которым мне хотелось познакомиться, — Ярослав Васильевич Смеляков. Но случая познакомиться все не было, да и повый, 1961 год пакатил, и я подумал, что уж в Новый-то год, в праздник-то, все мы и перезнакомимся, поговорим, может, и повеселимся вместе — никогда еще с писателями не гуливал ни я, ни жена моя.

Теща Лазаря Карелина очень подружилась с моими ребятами, умно улыбалась, слушая их, радовалась тому, что несколько они пока не избалованы, что само по себе удивительно в наше время, да еще при виде резвящихся писательских деток, слишком уж рано, как ей кажется, созревших для амурных дел и вольных поступков.

Теща Лазаря Карелина спросила у нас, как мы думаем встречать Новый год. Мы бодро ей ответили, что, наверное, купим бутылку коньяку, бутылку вина да и придем в столовую, там в малом зальчике соберутся все взрослые обитатели Дома творчества, ну, выпьем, поздравим друг друга, поговорим, может, и споем. Теща Лазаря Карелина сказала, что все это очень мило и что она тоже купит бутылочку вина и с нашего позволения присоединится к нам и побудет совсем-совсем немного, и незаметно уйдет, — она умела быть ненавязчивой. «Конечно, конечно!» — поторопились мы с женою приободрить пожилую женщину, которой тоже не хотелось в Новый год сидеть в комнате одной. Да и кому хочется?

Днем произошел в столовой прелюбопытный эпизод: из Риги на крепком газу явился Ярослав Васильевич и доложил своей жене, Татьяне Стрешневой — человеку столь же крупному, сколь и добродушному, — как он здорово договорился с таксистом: быстро приехал, к обеду вот успел, и вообще он человек удачливый, и таксисты здесь не чета московским — дал вот человеку всего лишь четвертную — и все в порядке!

«А сколько на счетчике-то было?» — тихо спросила жена у мужа. «Два рубля, помнится, плюс полтинник на чай», — четко ответил муж жене. «Ты, Ярик, дал этому честному таксисту двести пятьдесят рублей... старыми деньгами!» — сказала мужу жена, судя по одежде и манере держаться, лишних денег в доме не имевшая. «Как это двести пятьдесят?! Как это двести пятьдесят?!» — «А так вот. Двадцать пять рублей нынешних — это двести пятьдесят старых. А на счетчике было два рубля нынешних, а ты дал двести пятьдесят прошедших, старых денег, понимаешь?» «Я правильно ему дал. Два рубля на счетчике, плюс полтина на чай!..» — все больше закипал поэт. «Нет, неправильно! — возражала упрямая жена. — Ты передал этому человеку-хапуге двадцать два рубля с полтиной новыми деньгами, что в переводе на старые деньги значит — двести двадцать пять рублей...» Тут поэт Смеляков все вскипел, бросил вилку с наколотой на нее сосиской,

вскочил на ноги: «Взгляните на эту дуру! — воззвал он к публике, которой в столовке, слава Богу, почти не было. — Я дал таксисту двадцать пять рублей, а она говорит — двести пятьдесят! Это как?! Это ж... Во дура! Во дура!..»

Жена слушать мужа далее не стала, вихрем вылетела из столовой. Когда мы вышли на улицу, она первую курила на крыльце и говорила чете Ш.: «Вместо двух с полтипой высадил, идиот, четвертную этому честному латышу, и я же еще дура!..»

Ну, думаю, сейчас Ярослав Васильевич одумается, извинится перед женой. А он — шапку в охапку и, надевая на ходу пальто, все еще ворча и ругаясь, мимо жены, на берег студеного моря, в ларек, чтобы там объяснить мужикам сложную финансовую ситуацию, в какую он угодил, и успокоиться за стакапчиком винишка.

Вечером поднарядились мы с женою и пошли в столовую. Теща Лазаря Карелина сказала, что подойдет позднее, уж к двенадцати ближе, чтобы никого собою не связывать.

В зале-столовой стояла нарядная елка для ребятишек, которые собрались в Доме творчества уже давно, и они, кто в парадном, кто еще в будничном, спаряжали елку к празднику, накрывали столы, были возбуждены, как все дети в ожидании праздника.

Лишь в нашем зальчике было спокойно и безлюдно. Мы с женою сели за стол, выставили копыак и вино и стали дожидаться остальных писателей.

Время близится к десяти, переваливает за десять. Ребятишки в большом зале уже танцуют, гремит музыка. А мы все одни.

Накопец появилась официантка Анечка, поставила перед нами сосиски с капустой, чай, по кусочку сыра и что-то подзамаялась, стала с места на место переставлять посуду и все поглядывала на бутылки, нами выставленные. Я и копыак-то какой-то дорогой отхватил — гулять так гулять! «Я тэж сибирака», — как говорит мой фроптовой дружок Петька Николаенко, хохол, уроженный в Сибири. Он и нынче живет и здравствует в Алтайском крае, на должности зама председателя крупного колхоза. А я ведь не только «сибирака», но и член Союза писателей, пусть и молодой, однако уже издавший несколько книг, печатающийся и в московских журналах, даже толстых, и жена у меня не на помойке найдена, на войне найдена, там и в партию вступила, да и работает, пусть и чусовским, но все же журналистом!..

— Ви, чьго, купили вина, да? Для повый гот, да? — спросила Апечка.

— Да, — говорим, — да! Почти всегда встречали Новый год дома — на людях-то некогда было, чаще — и не на что...

— Я дольша вас огорчить, — опустив глаза и не зная, куда деть руки, продолжала Анечка. — Эти люти, — обвела рукою вокруг себя. — Эти люти решили вас не прикладывать, решили кулять пес вас, уже купили вина, точнее скасать, сакасали ужин и вина, давали кухня теньги.

— Как же так? — растерянно произнес я. — Ну ладно, мы... А как же теща Лазаря Карелина?

— Женщину эту они тоже решили не свать.

— Вот как! — посуровела моя жена. — Они решили! Ну раз они решили, пойдём, Витя, отсюда!

И несолоно, как говорится, хлебавши, даже сосисок не поевши, вышли мы на крыльцо с мраморными колоннами. Стоим. Молчим. Ветер дует с моря, сосны шевелит.

Я много пережил унижений в сиротском детстве, но столько, сколько я их пережил после войны, израненный, бездомный, выкинутый «из рядов», — редко кому даже и приснится.

«Братья и сестры!» — слеза прошибала когда-то от этих проникновенных слов, умереть тут же за «отца» и Отечество желалось, мы: одна — госпитальная медсестра, секретарь комсомольской организации госпиталя, второй — я, молодой, шибко пачитанный железнодорожник, «скинули с себя броню» — откликнулись на отеческий голос, выполнили долг, потом нас за это так отблагодарили, что до сих пор кости от патуги и насады болят.

И, казалось, что все уже миновало, мы выдержали, выстояли, в люди вышли, точнее — выбились, сами выбились, добывая последнее здоровье. И вот...

Я закипел. А закипевши, когда мне ударяла моча в контужешную голову, мог натворить всякое. Жена это знала и тянула меня в лес, на берег моря — успокоиться. Но я не хотел успокаиваться. Я хотел папиться в своей комнатке и прийти сюда, «потолковать» с братьями-писателями. Такой у меня нехитрый, чисто русский план созрел в голове, когда появилась на крыльце Анечка с накинутым на плечи пальцем и сказала, чтоб мы не расстраивались, что «эти люти нехорошие» и гулять с ними нехорошо — «никакого уговольствия не получите», и что пока не поздно, нам надо «пешать ресторан Юрмала и

просить отдельный столик, и тогда будет хорошо». И еще она сказала, что они «перешивают всей кухней са нас, таких скромных людей, и всей кухней притумали насчет Юрмала».

— Спасибо, Анечка! — крикнули мы и бегом бросились с территории Дома творчества, будто свалили мешок с солью с плеч. Анечка нам помахала рукой.

Ресторан «Юрмала» уже был закрыт. Мы постучали, и когда нам открыли, попросили позвать администратора или директора ресторана. На зов пришла крупная белая латышка, уже празднично причесанная и одетая. Мы ей в два голоса объяснили, что только что приехали, нам негде встретить Новый год, и просили нас приютить.

Латышка поначалу сказала: «Что вы! Все столики куплены еще са полмесяца». А потом на нас посмотрела пристально и вздохнула: «Что делать? Что делать? Знать что! Есть столик для четверых официантов. Я пойду их просить. А вы молитесь, чтоб они сговорчивы были...» — и, обворожительно улыбнувшись, дама удалилась.

Не прошло и пяти минут, — дама спускается по лестнице и так улыбается, будто не нам, а ей тот столик уступили. «Все порятке! Все порятке! Только вам надо найти еще пара. Столик на четверых. И быстро, быстро!..»

Новый год — чудесный праздник, и чудеса в этот праздник заготовлены для всех людей на свете. Только мы вышли из ресторана, навстречу нам пара, он и она. «Здравствуйте!» — говорят. Мы говорим: «Здравствуйте!» «Вот мы, — говорят, — молодожены из России. Сегодня только приехали на курорт, и нам негде встретить Новый год...»

«И Господь воздаст мне полной мерой за недолгий мой и горький век...»

Это был самый памятный праздник в нашей жизни. Я другого такого шумного, веселого и дружного праздника не помню. Латыши тогда еще мало были поражены ржавчиной национализма. Играл ладный оркестр, и мы вместе плясали, пели, за полночь и столы сдвинули, молодожены, действительно оказавшиеся молодожепами, все твердили: «Ну и везучие мы! Ну везучие!»

Из ресторана мы с женою ушли в пять часов утра, многие, в том числе и молодожены, остались догуливать.

Проснулся я часов в десять с ощущением праздника в душе и подался в столовку. Вся кухня навстречу: «Ну как было? Хорошо? Хорошо?» «Во!» — показал я женщинам большой палец. «А стесь было очень плохо, — сказала.

осушившаяся лицом Апечка. — Отин человек рукался насчет вас, пил посута...»

Слегка позавтракав, отправился я по парку, решая вопрос: опохмелиться или не падо? Иду, посвистываю. Навстречу мне Смеляков, смурной такой, сердитый. «Здравствуйте, Ярослав Васильевич! С Новым вас годом!» «Здорово! И тебя тоже! — пробубнил в воротник Ярослав Васильевич и, спустя время, слышу сзади: «Эй, парень! Погоди!» Я остановился. И Смеляков остановился. Смотрит на меня издали, и вижу. — неловкость его какая-то пнетет. «Опохмелиться хочешь?» — «Почему бы и пет». — «Тогда пошли!»

Идем. Молчим. Ярослав Васильевич впереди, я немного сзади. Вышли к морю. На дюнах ларек стоит, синий и пустой, единственый еще из всех не закрытый на зиму ларек, доскопально освоеный Смеляковым, как я сразу же догадался.

— Здорово! С Новым годом! — сказал Ярослав Васильевич и бросил деньги на прилавок. Ларечник подал бутылку хорошего вина, поглядел вопросительно насчет закуски. Ярослав Васильевич отмахнулся и взял лишь тарелку с конфетами.

Мы выпили вина, и я спросил, берясь за кошелек:

— Может, лучше коньяку?

— Кто же с утра коньяк жрет, деревня! У тебя чё, денег много? Погоди, пропьем.

Допили мы бутылку вина, пошли по песчаному приплеску. Молчим.

— Ты откуда приехал-то? И чего пинешь? — спросил Смеляков.

Я ему коротенько рассказал о себе. Он сбоку глянул на меня, как бы удостовераясь, что я ему не наврал, и, не отводя глаз, сказал:

— Ты это, извищи за вчерашнее. Свинство какое, в бога и спаса мать!

— Да ладно, чего там!

— Ладного тут мало! Не будь всепрощающим... они на голову нас... Еще выпить хочешь?

— Давайте. У меня в компате невыпитые стоят коньяк и вино, да и жепя заждалась.

В компате, при жепе, Ярослав Васильевич снова замкнулся, лишь сказал, входя: «Извините!» — да, взглянув на ребят, спросил: «Ваши?»

Потом мы снова ходили по берегу моря, уже обняв-

шись, и я все пытался затянуть: «Если я заболею, к врачам обращаться не стану, я к друзьям обращусь...» и, кажетя, плакал. Смеляков потряхивал плечом и бурчал:

— Да ну тебя! Пой чего-нибудь другое. — И ободрял: — Голос у тебя еще ничего! Могуч!

Долго мы тогда ходили, говорили, пели, точнее, пел я. К сожалению, память подгулявшего человека коротка, и запомнил я из рассказов Ярослава Васильевича лишь то, как в юности он писал стихи. Но читать их некому, так, скараулив мать у печки, когда ей некуда деваться, он читал стихи, мать удивленно восклицала: «И откуда чё берется?! И откуда чё берется?!»

Вскоре уехала домой теща Лазаря Карелина. Я помог ей нести чемодан до автобуса. Она сказала какие-то добрые слова о моих ребятишках, мне пожелала, чтоб я оставался самим собою и никогда бы не сделался от славы и денег таким, как те, что обидели нас и за которых ей так стыдно, — они ведь тоже москвичи.

Погода стояла хорошая, редкая для Прибалтики в зимнюю пору, без дождей, без больших ветров и бурь, иногда даже солнце выглядывало. Хорошо работалось после московской толчеи и так славно встреченного Нового года. Я катал каждый день вчерне по короткому рассказу и написал их одиннадцать подряд, и один из них до сих пор переиздаю, а это уже удача.

Население Дома творчества стало убывать. Уехал Смеляков с женою, как выяснилось, единственный, кто заметил наше отсутствие в новогоднюю ночь и вдруг спросил у гулявшей писательской публики: «А где же тот парень-фронтовичок-то?» «А черт его знает! — ответили ему. — Напился уж небось, валяется где-нибудь...»

Может быть, и удовлетворился бы этим ответом поэт Смеляков, но в действие вступила официантка Анечка и отчетливо так сказала на весь зал:

— Эти люти, Ярослав Васильевич, — медленно обвела она рукой столовую, — решили не прикласить тех люти на прастник...

Вот тогда-то поэт Смеляков зарычал, как лев, наладился опрокинуть стол, но Татьяна не дала, и, хряпнув тарелку, другую, он ушел и долго искал парня-фронтовичка, да не нашел.

Интересно было видеть, что население Дома творчества не испытывало никаких угрызений совести. Драматург Ш. разговаривал с нами весьма миролюбиво и, узнав, что

на Урале у нас есть свой домишко и огород, воскликнул: «Что вам не жить?! Своя ж картошка! А тут воп Артур Миллер приезжал — принимай его, он же нас припимал в Америке! И мы с другом высадили за раз три тысячи рублей...»

На Смелякова народы сердились, говорили, что испортил он праздник, что вообще человек он неспособный и грубый. Впрочем, никакого на них внимания Ярослав Васильевич не обращал, вдруг расписался, повеселел, совсем перестал ходить к морю, в ларек, и лишь перед отъездом прогулялись мы с ним туда, да и то на короткое время.

Более ничего выдающегося в тот первый мой приезд в Дом творчества не случилось. Я притерпелся к колкостям, глупостям писательским, понял, что они «как все», есть умные, есть и глупые, есть воспитанные и хамы, есть и те, что «свои в доску мужики» — таким отпыше для меня сделался Ярослав Васильевич.

Уезжали мы с остатком взрослого населения одним и тем же поездом до Москвы, и коли нас было четверо, купили четыре места, то есть все купе, и радовались тому, что будем вместе, что отдохнули ребятишки и жена, я хорошо поработал. Ребятам хватит рассказов об увиденном на всю зиму, мне — сил на учебу и московскую суегу.

Ярослава Васильевича я встречал потом не много, но и не мало раз, все больше на семинарах, в работе с молодыми. Был он на этих семинарах строг, остроумен, порой резок, но молодежь все равно таскалась за ним хвостом, и я сам видел на читинском семинаре, на повом крыльце новой гостиницы, как, «по-русски рубаху рванув на груди», молодой дальневосточник-поэт кричал на всю округу: «Я теперь плевать на всех хотел! Меня сам Смеляков поэтом назвал!..»

«Смотри, не замастерись, — сказал мне как-то в кафе Дома литераторов Ярослав Васильевич. — Воп их, мастеров-то — полон рестораи! И у всех грудь вперед и башка задрана!» «Постараюсь, Ярослав Васильевич», — ответил я ему. Через короткое время после той встречи узнал, что тяжело он болен и, большой, из больницы пишет самоиропичные, как всегда «доходчивые» и совершенно какие-то по-детски искренние стихи. Одно из них меня особенно поразило. Это «Ответ» на то самое самопадеиниюное, ярчайшее и в поэзии Смелякова, всеми, особенно молодежью, любимое: «Если я заболею, к врачам обращаться не стану, обращаюсь к друзьям...»

Поскольку «Ответ» отчего-то не пошел в народ и его мало знают, стихотворение же это достойно того, чтобы его знали: меж первым и вторым стихотворением — целая жизнь! и какая жизнь! — я воспроизведу его здесь:

Я на всю честную Русь
заявил, смелая,
что к врачам не обращусь,
если заболēju.
Значит, сдуру я наврал
или это снится,
что и я сюда попал,
в тесную больницу?
Медицинская вода
и журнал «Здоровье».
И починик, а не звезда
в самом изголовье.
Ни морей и ни степей,
никаких туманов,

И окно в стене моей
голо без обмана.
Я ж писал, больной с лица,
в голубой тетради
не для красного словца,
не для денег ради.
Бормочу в почном бреду
фельдшернице Вале:
«Я отсюда уйду,
зря меня поймали.
Укради мне — что за труд?! —
ржавый ключ острожный».
Ежели поэты врут,
больше жить неможно.

...Сырым, зимним утром, да что там сырым, промозглым, слякотным, Слава Дворжецкий — прекрасный киноартист, поздновато открытый нашим кино и лишь частично реализовавший яркий свой дар, вез нас на своем грязнущем, полуразбитом «жигуленке» на Новодевичье кладбище, где похоронен Ярослав Васильевич, на еще одну годовщину поэта.

Слава не имел жилья в Москве, и Смеляковы приютили его на своей даче, потом и мать Славы приютили, и много кого и чего они тут приютили, одних бездомных собак не перечесать, того и гляди штаны порвут псы — разнопородные, такие же безалаберные, как и хозяева, — от благодарности и усердно, громко выражаемой любви к хозяевам.

Сзади в машине хохлилась от холода и вновь прихлынувшего горя Татьяна Стрешнева, теперь уже вдова поэта Смелякова. Все молчали, лишь иногда, на заносах и хлябях, минуя опасность, Слава нецензурно выражался сквозь стиснутые зубы. Четыре или пять аварий увидели мы, пока добрались с кладбища до Переделкина, где жили в бывшей даче Фадеева Смеляковы. Дача та известна мне по рассказам Александра Николаевича Макарова, и это еще одно подтверждение тому, что судьба человека вообще, творческой личности в частности, развивается по каким-то совершенно определенным законам, — вспомните письмо ко мне странной и умной читательницы, над которым

вместе с Александром Николаевичем посмеялись и поговорили мы. Ну чем иначе, как не изгибом этой самой судьбы запесло меня именно на ту дачу, под застрехой которой стоял и мок когда-то мой друг, ожидая полосы «Литературной газеты»?! Но об этом речь впереди.

Я оглядывался на Таню, она ободряюще мне кивала, ничего, мол, ничего, все в порядке. С нею мы познакомились ближе в поездке по Молдавии. Я ее, Таню, узнал сразу, хотя после Дубула и не видел вроде бы, подсел к ней в автобусе и заговорил об Ярославе Васильевиче и обо всех разных разностях. Таня кивала головой, соглашалась вроде, на одной из остановок и говорит кому-то:

— Где-то тут в нашей бригаде Астафьев едет, я давно с ним хочу познакомиться, а этот кривой меня совсем заговорил!

Таня есть Таня, обижаться на нее невозможно, и, захохотавши, я выступил вперед и представился ей.

С тех пор мы дружим, и я не часто, но все же вижу Таню, бываю у нее дома. Милый, славный человек, умеющий скорбеть и хранить память о любимом муже без привычной московской показухи. Трудно ей вести нелегкую свою семью, много работать над переводами и изданиями покойного мужа да еще и написать стихи, достойные памяти замечательного поэта, — они называются «Вдова».

Ярослав Васильевич похоронен в дальнем конце кладбища, против «парадного» входа, где за нелепым, вычурным памятником покровителю муз, неутомимому борцу за мир и производство кукурузы, суетливому вождю Хрущеву (недоумеваю: чего ему среди монастырских-то древних стен и крестов надо?), — покоятся достойные великого времени и русской литературы писатели Твардовский, Исаковский, С. С. Смирнов, Кирсапов и еще некоторые.

Положили цветы, постояли, насквозь уже промокшие от кислого снега. Таня совсем согнулась, погрузнела, что-то попыталась рассказать и смолкла. Потом сходили к Шукшину — это в другом конце кладбища, положили отделенные от Смелякова цветочки в ворох цветов и красной калины. С мокрого, сиротливо плачущего портрета, обрамленного черными лентами, смотрел Василий Макарович, который совсем недавно был у меня дома, говорил, еще больше слушал, и поскольку на похоронах его я не был, то и не воспринимал его покойным в этой кладбищенской тесноте. Очень, должно быть, неудобно спалось здесь, на престижно-аристократическом кладбище, среди

новоявленных и прежних саповников и знаменитостей, русским мужикам Смелякову и Шукшину, и приукрашено-моложавые их портреты выглядели чуждо среди нагромождения пышных надгробий и позлащенных грузнокаменных памятников. Им бы на травяной холм, в шумные березы...

Домой, на дачу, мы вернулись совсем продрогшие. Невестка и родичи Смеляковых, близкие и дальние, уже накрыли стол. Таня еще с ночи напекла пирогов, прикрыла их в горячей духовке.

Небольшим, но очень душевным кругом мы помянули славного человека и поэта. Я повинился насчет Новодевичьего кладбища, что, мол, мы — растяпы, так и не «достали» там места для Александра Николаевича Макарова.

Таня опустила глаза и заметила:

— Не сожалея, Витя. Пусть покоится там, где покоится. Ярик ведь тоже не зарился на Новодевичье. Он хотел быть похороненным совсем по-другому и в другом месте... — Она протянула руку к полке и уверенно достала, — видно, множество раз ее вынимала и читала, — «Декабрь» — самую, быть может, пронзительную, с трагическим ощущением и все с той же, но уже горькой самоиронией, предсмертную книжку Ярослава Смелякова. Коротко заглянув в нее, заложив палец между листов, Таня откинулась на спинку стула, закрыла глаза и в полной тишине прочитала:

Когда умру, мои останки,
с печалью сдержанной, без слез,
похорони на полустанке
под сенью слабою берез.

Ведь там лежать в земле глубокой
и одиноко и темно.
Лети, светясь неподалеку,
вагона дальнего окло.

Мне это так необходимо,
чтоб поздним вечером, тогда,
не останавливаясь, мимо
шел с ровным стуком поезда.

Пусть этот отблеск жизни милой,
пускай щемящий проблеск тот
пройдет, мерцая, над могилой
и где-то дальше пропадет...

Таня смолкла. И все долго молчали.

— Стихотворение называется «Попытка завещания». Посвящено Т. С. — это значит мне, — как-то отрешенно и далеко-далеко прозвучал голос Тани.

«Что же вы, московские жены, плохо слушаетесь мужей? Не выполняете их последнюю святую волю?» — так или приблизительно так прозвучал мой упрек, быть может, вслух и не сказанный, но еще после смерти друга моего, Александра Николаевича Макарова, возникший во мне.

Таня не просто вдова поэта, сама — поэт, она услышала меня, ибо и самой себе этот упрек, наверное, адресовала не раз, многократно, ежечасно, как я потом понял.

— Горе, сколь к нему ни готовься, все равно застанет врасплох, — тускло, вовсе не оправдываясь, как бы размышляя вслух, продолжала Таня. — Окаменела вся после кончины Ярика, ничего не понимаю, ничего не слышу. Опомнилась, а Ярик уже на Новодевичьем лежит. А я вот здесь. Ну да что теперь? — вздохнула глубоко и протяжно вдова. — Давайте выпьем за то, чтобы земля ему пухом была, и... почитаем его стихи.

И до поздней хмурой зимней ночи сидели мы в теплом доме. Дом шатало непогодой, выло где-то вверху, на чердаке и в проводах, по окнам плыл снег, шумели черные и голые липы в саду, мерцал и плавился свет уличного фонаря, псы дремали под столом, доверчиво положив морды на наши теплые ноги, и было нам вместе грустно и сладостно-больно. Тихо звучали в полутьме тихие стихи.

Я сейчас уже смутно помню, как прошли конференции в библиотеках имени Лавренева и имени Володарского, но помню, что Александр Николаевич говорил очень хорошо и, к моему удивлению, страшно волновался. Я посмеивался над ним: тоже мне грозный критик! И преподаватель Высших (!) литературных курсов. И кстати заметил, что бросал бы он их — мизерный заработок, а трата нервов и времени огромная...

— Ах, Вик Петрович, Вик Петрович! Как же это вы не понимаете?..

Понял «Вик Петрович», все понял, но гораздо позднее, когда сам посивел и вкусил «прелести» человеческого одиночества. Чувство общительности у Александра Николаевича от природы естественное, его тянуло поделиться с людьми теми знаниями, которые его переполняли, и делал он это непринужденно, охотно, как бы ломая пополам ломоть крестьянского хлеба, наделяя людей той пищей, что у него была в «сердечных закромах», — добротой, душевностью, человеколюбием и огромной, заинтересованной страстью к литературе. Увы, с горечью убеждался я, что и «взять» от него, «задаром» взять то, чем он богат — охотников мало, близко их попросту нет. Нахлебников дополна, но душевных, заинтересованных людей — друзей и даже слушателей — нет. Жена, дочь? Но сколь

бы мне ни втолковывали высокоинтеллектуальные писатели, что вот-де он друг с сыном, с дочерью или женой — не разделял я этой, высокопарно говоря, аксиомы, да и Александр Николаевич не разделял. Он знал по крестьянскому укладу жизни, что жена — это жена, дети — это дети, и пеловко, дико смотреть, когда от слов иные папы и мужья переходят к делу, разыгрывая меж членами семьи «друзей».

Вот и были долгие годы Высшие курсы, поэтический семинар на них, — отдушиной, где можно было «выпустить пары», поговорить и пообщаться с заинтересованными в поэзии и литературе людьми, пусть их на курсах бывает горсточка, остальные-то водку пьют, бабничают, бегают по «нужным людям», обивают пороги редакций и издательств. Но уж и горстка хорошо для литературы, за полпешной в пемалом количестве равнодушными и случайными людьми.

Тогда же, с разговоров о курсах, мы как-то совершенно естественно перешли на разговор о человечности. Посмеявшись над мимоходом оброненными мной словами в повести «Где-то гремит война» о том, что злодейство и злодеи не остаются безнаказанными, их, хотя бы и за гробом, но настигает возмездие, Александр Николаевич грустно, с глубоко затаенной болью произнес:

— Ах, Вик Петрович, Вик Петрович, если б это так было...

И начал говорить о том, о чем никогда почти не говорил — о своей работе под началом Ермилова в «Литературной газете».

Я и до того немало слышал о Ермилове, но все разрозненно, все из «вторых рук», а тут очевидец, «соратник». И какой же гнусный, подлый человек открылся мне, а ведь Ермилов был не просто человек, он ходил в «сильных мира сего», правил моралью и влиял на духовную жизнь, пусть не страны, не всего народа, но на часть литературной публики, и часть немалую. Сколь же наплодил он себе подобных, вероломных рвачей, деляг, приспособленцев!

— Говорить по отношению к покойному Ермилову о какой-то морали, совести, порядочности просто кощунственно, — рассказывал Александр Николаевич, — где этим всем вещам следует находиться, там у него волос вырос, а уж кто-кто, но он всегда и всюду качал права за идейность. Пьяница, лодырь, распутник... В самой газете

он почти не появлялся, ну изредка, на редколлегиях, экстраординарных совещаниях и в «пожарном» случае. Полосы подписывал у себя на даче, в Переделкине, чаще всего на даче у Фадеева.

Приеду я с полосами. В дом не пускают. Стою у стены под застрехой полчаса, час, дождь льет, снег лепит, в покоях Фадеева жеребячий хохот, визг, а я под навесом дрожу и думаю: «Хоть бы рюмаху велели вынести, ведь даже ямщику рапьше выносили...» Страшно было то, что Ермилов не был дураком, он был умен, по-своему умен, но погорел, как дурак. Жизни-то не знал, последнее время ничего и не читал. И Сталина, и культ уже изобличили, а он все в пьяном чаду пребывал. Но... дело грешное — круче Божьего: и написал он передовицу во здравие Сталина, когда уже следовало — «за упокой», и поперли его отовсюду, ну не столько уж из-за передовицы, сколь потому, что минула пора таких вот направителей духовной жизни... Чего хмуритесь, Вик Петрович? Чего руки дрожат?..

— Я бы вот раз-другой постоял под дождем, ожидаючи полосы, потом взял бы кирпич и херакнул в окно этой блатной компашки!

— Эх, Вик Петрович, Вик Петрович! Я, может, за то вас и люблю, что вы бы вот херакнули, а я все чего-то боялся, наверное, зарплату потерять — ведь на мне челяди кормящейся рота, стоят, в затылок дышат, жрать хотят. Впрочем, какие это оправдания? — махнул рукой Александр Николаевич.

Уже после смерти Макарова довелось мне услышать о Ермилове многое такое, от чего, как говорится, уши вянут, по один факт, как мне думается, наиболее точно и ярко характеризует демагога, «главного героя нашего времени», как заключил в одном из разговоров незадолго до смерти злой и честный Шукшин.

По ехидному ли умыслу, по простоте ли душевной вздувалось тогдашнему редактору многотиражной газеты электромеханического завода имени Владимира Ильича, Соколовой Ирине Васильевне, заказать статью к юбилею Маяковского какому-нибудь видному критику (редакторов подобных газет иногда охватывают такие замысловатые «идеи», что диву даешься!). И пал ее выбор почему-то на Ермилова. Дозвонилась и — так, мол; и так, рабочий коллектив завода, того самого, что прежде был Михельсо-

на, где стреляли в Ленина, жаждет прочесть квалифицированную статью о великом пролетарском поэте.

И договорить не дал редакторше «видный критик» — да для трудящихся такого завода он всегда готов! Да он ночи спать не будет!.. Только вот знать ему надо направление статьи... Редактор в недоумении: какое направление? «Я должен знать, — заявил без ужимок видный критик, — чего хотят газета и трудящиеся — чтобы я хвалил или чтобы я ругал Маяковского?..»

Самое подлое в «ермиловщине» то, что такие вот вахляки, провинциалы, как я, всему, ну, может, и не всему, но многому из того, что вещали всякие ермиловы, верили, пытались следовать созданному ими на словах идеалу советского человека.

Я сказал моему другу, что Ермилова не сподобился видеть, но вот Фадеева все же видел один раз, правда, уже мертвого.

— И-и-интересно! Как это вас нанесло? Интересно!

Ехал я в Ялгу, по курсовке, первый раз в жизни на юг ехал — брюхо болело, а я, как всякий мохом обросший провинциал, думал, что раз юг, то там все вылечат, хоть брюхо, хоть душу. Ночевал на перепутье в Москве. Утром встаю — все заборы газетами оклеены, с некрологом — Фадеев застрелился.

У меня тогда уж вышли две тощие книжечки, и я, «как свой», причастный к «литературному цеху» человек, побежал к Колонному залу, где был выставлен гроб с Фадеевым. Трижды вставал я в очередь и трижды прошелся мимо гроба, где весь седой, совсем не моложавый, как в кино и на карточках, какой-то трагически отстраненный, с успокоенным и в то же время, казалось, напряженно-страдальческим лицом лежал Фадеев и словно бы вслушивался в шаги тихо бредущих, кашляющих людей, в их сдержанный говор — оценили ли его поступок? Поняли ли смысл выстрела, которым он хотел предупредить людей и прежде всего меня, только-только вступающего в литературу: «Так, как жил я, — жить нельзя...»

Играла музыка, звучали Гендель, Берлиоз, Моцарт, Вагнер, Глюк, Бах, Бетховен, помогая мне если не разобраться в происшедшем, то хотя бы ощутить сложность происшедшего, трагедию жизни творца, и не только этого, и не только творца, а многих его современников, заблудившихся на расстани двух дорог, с указателями «честь» и «прав-

да», и разорванных надвое вершинами жизни — долгом и совестью.

Но я не мог сосредоточиться на той, как мне казалось тогда, главной мысли — в Перми, в отделении Союза писателей таскалась по столам книга, которую лениво читали молодые уже современники и последователи Фадеева, — книга постановлений секретариата Союза писателей СССР с сотнями фамилий писателей, за малым исключением реабилитированных посмертно. И этот вот седой, благообразный, величественный даже в гробу человек имел прямое отношение к их умерщвлению, затем и к реабилитации. Ему бы хвалить себя за доброту, за то, что вот «осознал», «пожалел» пусть и убиенных, как это торопливо делали в те дни костоломы и насильники всех мастей и званий, а он взял и сам себя реабилитировал. Пулей в сердце. «Нет, лучше откровенный выстрел, так честно пробивающий сердца», — написала в заключении одна из поэтесс (реабilitированная посмертно), и строки эти, думается мне, слуха Фадеева не миновали.

— Я полагаю и так хочу думать — это нас, литмладенцев, предупреждал Фадеев тем выстрелом: не живите, как я, не живите! Не проматывайте свои таланты в речах, на заседаниях, в болтовне и пьянстве, не крутитесь, не вертитесь, не суесловьте, не лижите сапоги вождей, как бы ни были они велики, а сидите за столом, работайте, чтоб не было такого движения, как у меня: от «Разгрома» — честной, долговечной книги, до слащаво-жалких, беспомощных главок о «рабочем классе» в «Черной металлургии», которые лизоблюды тут же начали возносить чуть ли не до масштабов «Войны и мира»...

— Вы это в лесу придумали или действительно тогда, у гроба, уже так зрело мыслили? — сурово, даже зло поинтересовался Александр Николаевич. — Если в лесу, то да будет еще раз благословенна природа, так облагораживающая мысли человека! Только это слишком благородно для того человека, которого вы видели в гробу.

Почему, отчего так неприязненно и раздраженно отнесся Александр Николаевич к Фадееву в том разговоре — не знаю. Может, под влиянием минуты, недомогания, измепившейся «литературной погоды», тем более что ему была известна моя неприязнь ко всякого рода вождизму вообще и литературному в частности, и он эту мою неприязнь не очень-то одобрял, вразумлял меня терпеливо, что надо благодарным быть тем, кто в ущерб своей работе

«везет воз», «направляет» и «заправляет». На что я ему резонно возражал, что ценил и ценю писателя только по таланту, а не по должности, но что, может быть, это действительно большое благо для отечественной словесности, когда некоторые руководящие товарищи не плодят торопливых, напроочь оторванных от жизни книг и «везут воз», как им кажется, общественно полезный. Этой позиции я придерживаюсь и до сих пор, однако с годами пришел к заключению, что если талант руководителя и писателя неразрывны и человек целен в том и в другом, то это не во вред — во благо литературы.

Я не был лично знаком с Николаем Семеновичем Тихоновым, что, однако, не мешало мне, как и многим-многим писателям, относиться к нему с глубочайшим почтением, надежней себя чувствовать в жите и в работе, когда он представлял интересы нашей литературы в международных организациях, да и в наших «высоких сферах».

Думаю, что из потерь последних лет смерть Николая Семеновича Тихонова — самая ощутимая потеря, и это не только мое мнение, это мнение всех здравомыслящих в советской литературе людей.

Такого единого мнения не было и нет о Фадееве, и тем нужней, мне кажется, всякое, не выборочное слово о нем, его лично знавших. Повторяю давно известную российскую мудрость: «О покойном только хорошо или ничего» — и тут же повторю еще одну известную истину: женщины, особенно литературные вдовы, любят писать о своих близких только во благостных тонах и в светлых красках, «принаряжая покойных», оттого становятся благостнее, высветленнее, а то и святее сами. Тем не менее я воспользуюсь любезно мне предоставленными дочерью Макаровых, Аннетой Александровной, воспоминаниями Натальи Федоровны об отношениях между Фадеевым, Ермиловым и Макаровым, хотя, повторяю, сам к ним отношусь с некоторой осторожностью, ибо думаю, что Наталья Федоровна далеко не беспристрастный в данном случае автор.

«Шел недобрый 49-й год. Я была в одной партийной организации с Сашей — организации Союза писателей, и волей-неволей оказалась свидетелем того, как все больше расходились пути-дороги во взглядах на литературу между Фадеевым и Ермиловым. Не было, кажется, ни одного собрания, на котором бы не стоял вопрос о том, что

«Литературная газета» не сделала того-то или не так-то сделала другое. Словом, обстановка была накаленной, тревожной, да кто ее не помнит. Отрутали Макарова за положительный отзыв о романе Симонова «Дым отечества».

К декабрю 49-го года отношения между Ермиловым и Фадеевым дошли до апогея: причиной их было различное отношение к критике, к писателю, к борьбе за него.

События разворачивались очень стремительно, драматично.

Владимир Владимирович жаждал во что бы то ни стало разгромить панферовский роман «Высокое искусство». Фадеев воспротивился. Конечно, он видел недостатки романа, но трагедия Федора Панферова-художника не могла не вызвать в нем сожаления и сострадания.

В. В. Ермилов отнесся к этому иначе. И он решил действовать через голову Фадеева, адресуясь к пленуму Союза писателей, который должен был вот-вот собраться. Статья под названием «Дурное сочинительство», написанная со страстью и блеском, как и многое, вышедшее из-под пера Ермилова, была готова накануне пленума. Ермилов хотел, чтобы его выступление стало «гвоздем программы», но газета выходила в среду, а пленум начинался во вторник. Владимир Владимирович добился, что номер вышел на день раньше. С мокрыми оттисками «Литературной газеты» приехал на пленум и собственноручно развесил их в зрительном зале на спинки стульев делегатов.

Макаров был глубоко огорчен происходящим.

— Жестокий цирк,— сказал он тогда,— прямое избивание. Почти вся редколлегия была против этой статьи, но Владимира Владимировича понесло!

Однако «гвоздь» не получилось: пленум шел как обычно, доклад Фадеева был спокоен, касался многих, волновавших литературную общественность, вопросов.

...Выступление Ермилова было остро критичным — он занял испытанную позицию паступления, обвинял секретариат ССП в плохом руководстве газетой, в раболепстве перед авторитетами и т. д. Во время заключительного слова Фадеева Ермилов кричал с места, перебивал, дошел до оскорблений. И тогда Фадеев сказал: «Ермилов как скорпион — сам себя жалит».

Владимир Владимирович, глубоко возмущенный, покинул пленум.

В следующем номере «Литературной газеты» нужно было напечатать заключительное слово Фадеева. Однако Ермилов сказал: «Пока я редактор — печатать с фразой о скорпионе не буду!»

В тот день я со своей маленькой дочкой поджидала Сашу на улице. И вдруг в дверях возник Владимир Владимирович — в распахнутом пальто, с трубкой во рту. Лицо его было гневным. Он рванулся было к своей машине, но остановился, увидев мою семилетнюю дочку, поставил на тротуар свой огромный портфель и, нагнувшись, погладил ее по голове. И совсем уж неожиданно пропел ей вполголоса:

Маленькая рыбка, жареный карась,
Где ж твоя улыбка, что была вчера?

Девочка засмеялась, но в этот момент хлопнула редакционная дверь, Ермилов выпрямился и мгновенно переменялся — из редакции вышли сотрудники газеты.

— Где Макаров? — сердито крикнул Ермилов. — Я его уже одну вторую часа жду!

Саша подошел.

— Попрошу вас отправиться со мной. В машине поговорим о следующем номере.

Саша сказал мне, что Ермилов едет в Переделкино, к Фадееву.

Домой он явился поздним вечером, замерзший. Мы сели в подъезде на подоконник — место наших душевных бесед. Я приготовилась, как всегда, записать его рассказ.

— Ничего не могу тебе рассказать, — сказал Саша. — Я не был у Фадеева.

— Как?!

— Ермилов всю дорогу ругался, а когда подъехали к Переделкино и оказалось, что говорить о номере уже поздно, выругался еще раз и крикнул мне: «Ждите меня в машине. Через десять минут буду». Исчез. И вернулся через три часа. Я сидел, сидел, замерз! Вышел побродить, погреться. И сквозь двойные рамы услышал такую перебранку, какую могут позволить себе только очень близкие друзья. Стало неловко — словно подслушивал. Пошел было к машине, тут дверь настежь. Появился Ермилов, за ним Фадеев. Он посмотрел на меня невидящим взглядом, и я от неожиданности забыл с ним поздороваться, думаю, он этого не заметил.

Дорогой Ермилов долго молчал, а потом сказал тихонько: «Ну, Ангей, конец. Прощайте...»

...Больше Владимир Владимирович в редакции не появлялся, хотя следующий номер был подписан еще его именем¹.

Пока не назначили нового редактора, газету вел Макаров. Седьмого февраля он получил от Фадеева следующее письмо:

Тов. А. Н. Макарову

Посылаю заключительное слово по докладу на пленуме. Правка вынужденно большая, т. к. стенограмма от-вратительно безграмотна.

Очень прошу после перепечатки сверить (считать).

Это единственный «канонический» текст, поэтому прошу после перепечатки один экземпляр послать в ССП Варваре Петровне, а другой мне (можно вместе с версткой, на дачу, так как я весь день сегодня на дачах).

Как Вы думаете освещать прения? Если широко, то, может быть, мое заключительное слово пойдет только в субботу?

С приветом

А. Фадеев

Посылая верстку, пришлите и этот черновик.

А. Ф.

...Одиннадцатого февраля «заключительное слово» Фадеева было напечатано. Без фразы о скорпионе.

Утром, вернувшись с дежурства по номеру, Саша рассказал мне о встрече с Фадеевым. Он заехал в ЦДЛ — купить что-нибудь в буфете к завтраку и решил выпить сто граммов копыяку. И вдруг услышал:

— Саша! С утра! Не закусывая!

Фадеев сидел один, завтракал и пригласил Сашу за свой столик. Спросил:

— С дежурства?

— Да. Приходится иногда эти сто граммов выпить, а то рабочее колесо в голове никак не может остановиться, а от этого шалеешь...

— Понятно... Именно так: не может остановиться — не глотать же с утра снотворное.

¹ По срокам рассказ о снятии Ермилова и написанное Натальей Федоровной не совпадают, но я оставляю так, как слышал от А. Н. и как написано Н. Ф., — пусть время исправит такие «ошибки».

Помолчали.

Фадеев спросил неожиданно:

— Почему, когда вы приехали с Ермиловым в Переделкино, не вошли в дом?

— Ермилов не приказал.

— А-а, боялся нашей коалиции?

— Наверное.

— Но вы же три часа ждали, замерзли небось, что же не вошли?

— Стеснялся.

И тогда Фадеев засмеялся:

— Ну и ну! Пытался я себе объяснить такое невероятное явление — почему это критик Макаров ходит у меня во дворе и даже не соблаговолит войти в дом: презирает ли меня, чуждается ли? А тут, оказывается, так просто — «стеснялся». Ну, Саша, я рад! Честное слово, рад, что ты (он вдруг перешел на «ты») такой простой и свой.

Фадеев задумался, потом снова заговорил:

— А все же устоял ты: не поддался Ермилову!

И опять замолчал.

— А ведь он чертовски талантлив, но... я всегда говорил: у него один тяжелый недостаток — он не верит в загробную жизнь!

Сказал и испытующе взглянул на Макарова.

— Понятно, о чем речь?

— О будущем,— вставил Саша.

— Ну и башковитый же ты мужик! Люблю таких, ей-богу!..

В газету был назначен новый редактор — Константин Симонов.

Симонов внял просьбам Макарова и согласился отпустить его из газеты — предполагалось назначить Макарова заместителем главного редактора журнала «Знамя».

— Там все же больше будет возможности заняться творческой работой,— говорил Симонов.

Макаров и соглашался, и был огорчен: снова чужие рукописи, снова сидение за редакторским столом... «Нет, больше так невозможно!»

И Саша пошел к Фадееву.

Фадеев был занят, и прорваться к нему не удалось. Тогда тут же, в приемной, Александр Николаевич написал генсеку письмо:

Уважаемый Александр Александрович!

Вчера К. М. Симонов поставил меня в известность о

том, что он как главный редактор «Литературной газеты» и руководство Союза считают целесообразным, освободив меня от обязанностей редактора раздела «Литературной газеты» и учитывая, что по моим склонностям и характеру я больше подхожу для работы в журнале, назначить меня заместителем редактора или ответственным секретарем журнала «Знамя».

Около года назад такое же предложение делали мне Вы, как Вы помните, я ответил тогда тоже согласием. Я и теперь вполне согласен с решением освободить меня от должности члена редколлегии «Литературной газеты». Желание же К. М. Симонова полностью совпадает с моим желанием.

Что же касается моего назначения в редакцию «Знамени», то, никоим образом не возражая против подобного назначения в будущем, я очень бы Вас просил, Александр Александрович, не делать этого в течение ближайшего года. И вот почему: я крайне нуждаюсь хотя бы в одном году для творческой работы, для работы писательской, а не редакционной, и просто для того, чтобы соприкоснуться с живой жизнью.

Года два назад я написал книжку в семь листов о поэзии А. Твардовского. В свое время эта книжка рецензировалась в «Советском писателе», была одобрена, и мне предложили внести некоторые дополнения. Однако время шло, я не имел возможности приняться за доработку, а по истечении еще года понял, что хочу написать эту книгу просто заново. Материал для книги в ее новом виде у меня готов, но для того, чтобы сделать, мне нужны три-четыре совершенно свободных месяца, тот «творческий отпуск», который, хочется думать, я заслужил за три с половиной года напряженной, всепоглощающей работы в газете.

Моя литературная судьба складывалась не весьма благоприятно. В 1938 году я окончил Литературный институт и сразу же был призван в армию для прохождения срочной службы. В армии я пробыл два с половиной года, из них только год в многотиражке. Через три месяца после того, как я демобилизовался, началась война, и я, работавший тогда ответственным секретарем журнала «Краснофлотец», пробыл в этом качестве до января 1947 года, то есть до назначения в «Л. Г.». Редактором «Краснофлота» был В. Р. Щербина, одновременно редактировавший «Новый мир», и при этом положении ответственный секретарь оказался почти наглухо прикованным к редактор-

скому столу. Затем три безвыездных года в «Литературной газете». Я чувствую, что превращаюсь просто в аппаратного работника, теряю связь с живой жизнью, а это для литературного критика, по-моему, смерти подобно.

В свое время мои статьи привлекали внимание некоторой свежестью взгляда, но ведь эта свежесть была исключительно от того, что я шел в литературную критику от жизни, что у меня был какой-то запас живых впечатлений, запас, который с тех пор не пополнился. Беда нашей критики, самая серьезная ее беда именно в том, что она пишет о том, чего не знает, что представляет себе смутно, в виде разграфленных схем, лишенных живой плоти. Критика профессиональная не сможет никогда подняться до необходимого уровня, если у нас не поймут, что критик — это писатель, что знание реальных прототипов литературных героев для него так же, если не более, необходимо, как для писателя.

Мне думается, и для меня, и для органа Союза писателей, в котором мне потом придется работать на редакторской работе, просто необходимо, чтобы я провел ближайший год на оперативной и творческой работе, в качестве, например, специального корреспондента той же «Литературной газеты». Такая работа в газете, как по литературным, так и по внутренним темам, позволила бы мне снова войти в жизнь, познакомиться на местах с литературным процессом, то есть сделать то, что нужно было делать и будучи редактором отдела, но чего я не делал, право, не по нежеланию. Работая спецкором газеты, я мог бы одновременно выполнять поручения Союза писателей.

Это очень бы помогло моему творческому росту. Душа-то у меня, Александр Александрович, лежит все-таки к критике, а не к редактированию статей других авторов. Впрочем, и право на редактирование тоже определяется качеством собственного творчества.

Вот почему я очень прошу Вас пересмотреть вторую часть Вашего решения, пока оно еще не приняло организационных форм, и думать обо мне как о литературном критике, нуждающемся в серьезной поддержке, а не как о редакторе.

А. Макаров.

Через день Фадеев пригласил Макарова. Он сидел торжественный и недовольный. Протянул руку через стол, потом махнул — садитесь, сказал:

— Прочел ваше заявление. Мы не можем отпустить вас. Вы нам нужны, а ваши мысли о критике чрезвычайно интересны. Вы правы: критик должен знать жизнь, ему, как и писателю, надо ездить, видеть и много учиться.

Макаров возразил:

— Вы сказали, критику, как и... писателю. Но ведь критик и есть писатель, в особой форме воспитывающий читателя, а не приложение к нему, критика не служанка литературы, а самостоятельный жанр.

— Эх, как вы за нее стоите! — усмехнулся Фадеев. — Вот и напишите все ваши соображения по этому поводу, буду делать доклад о литературе, скажу и о критике. А вас введем в комиссию по критике: там нужны убежденные люди. И в комиссию по теории литературы. — Он снова стал читать заявление. — Соберем критиков, поручим вам доклад — высказывайтесь, спорьте, доказывайте.

— Зачем мне это?

— Как это зачем? Может, вы и правы больше, чем сейчас думаете, а я не прав.

— Уверен, что прав, — настаивал Макаров. — Жизнь покажет.

А Фадеев продолжал:

— Потом соберем молодых критиков — со всего Союза — и будем растить новую смену. Вот тут вам все карты в руки!¹..

Потом Фадеев заговорил о молодых поэтах, прозаиках, вспомнил статью Макарова, написанную пять лет назад, — «Рожденные в битве».

— Хорошо вы тогда сказали, что поэзия тех лет пришла к нам в треугольных конвертах. Межиров, Максимов, Николаева, Тушнова, Соболев, Гудзенко и прозаики: Калинин, Тендряков, Бондарев. Да, вы угадали в них подающих надежды писателей. Как-то дальше будут развиваться их таланты? Не выпускайте их из поля зрения. Пишите о них. Я бы тоже писал, да дела завалили...

— Вы, Александр Александрович, изо всех сил стараетесь, чтобы и меня они завалили, — заметил Макаров.

— А ты думал, я тебя отпущу? Нет, не настало еще время. Я только вот что могу сделать для тебя, — и он протянул Макарову его заявление, на первой странице сверху была резолюция:

¹ Всесоюзные семинары молодых критиков собирались уже без Фадеева, в 61-м и 62-м годах. Макаров вместе с другими писателями и критиками вел группы молодых мастеров.

«Дорогой Александр Николаевич!

Рад бы помочь Вам душой, да дела не позволяют. Идите, дорогой, в «Знамя», как было предусмотрено и договорено. Отпуск творческий месяцца на два я вполне поддерживаю.

С сердечным приветом

А. Фадеев».

— Понятно! — произнес Макаров, дочитав резолюцию.— Я чудес и не ждал... Я себе еще в юности предсказывал, что писать буду свои книги в шестьдесят лет... как Даниэль Дефо.

— Вот именно! Осталось только непременно дожить до шестидесяти,— подхватил Фадеев.— А пока поезжайте и хоть начните книгу о Твардовском: начало — великая вещь.

В 1955 году Александр Макаров был назначен главным редактором журнала «Молодая гвардия». Это было его последнее назначение, подписанное Александром Фадеевым. В апреле 1956 года состоялся и последний их, самый большой за десять лет разговор.

В начале марта Макаров встретил Фадеева на набережной Москвы-реки. Выглядел он удивительно одиноким, в походке усталость. Пошли вместе. Фадеев произнес:

— Да, вот так-то, Саша, уходит жизнь — не догонишь...

Помолчали. Наконец Александр Александрович стал спрашивать о журнале. Отметил:

— Хорошо, что предполагаете в редколлегию бывших фронтовиков: Випокурова, Тендрякова. Слышал, что приглашать писателей ездите к ним домой. Верно! Так сразу снимается формальность, официальщина, которая губит нашу работу... Вы и у Веры Васильевны Смирновой были? Знаете, что у нее сын погиб?.. Хорошо, что поддержали ее. Согласилась она в редколлегию?

Фадеев замолчал надолго. Что-то неотвязно приковывало его мысли. Александр Николаевич, стремясь развеять его плохое настроение, заговорил о своей недавней поездке в Калязин. Фадеев оживился:

— Вы связаны с Калязином?

— Это моя родина.

И тут обнаружилось, что они земляки. Фадеев родился в Кимрах. Детство Макарова прошло в селе Констан-

тиново Калязинского уезда, в 55 километрах от Кимр. (Лет 70 назад из Калязина сздили на лошадях в Кимры, чтобы попасть на «чугунку».)

Фадеев спросил:

— А остался кто-нибудь в деревне?

— Нет. Я рос сиротой, у бабушки, а она пять лет как померла...

— Нет милых душ... есть могилы,— задумчиво произнес Фадеев.

— И могил нет. Калязинское кладбище на дне Большой Волги... Бабушкина могила хоть и цела, да вырваться недосуг.

Александр Александрович вздохнул:

— Недосуг, недосуг, всю жизнь недосуг... А ведь с тех людей все начиналось, и в нас все от них...— Неожиданно спросил: — А вы хотели бы начать жизнь сначала?

— Да. Только без совершенных ошибок.

— Хорошо вы ответили! Да — начать сначала, но без ошибок. Я бы постарался — хоть без одной.

— Без какой, если не секрет? — спросил Макаров.

Александр Александрович ответил:

— Надо было писать и только писать.

— Это сейчас вы так думаете,— возразил Макаров.— А вернись все сначала, вы бы снова так «ошиблись»... Ведь то, что вы делали, было общественной необходимостью и не мог никто из нас от этого отклониться. Вы же сами мне это десять лет внушали...

— Хочу писать,— тоскливо повторил Фадеев.— Надо осознавать все, что произошло. Слишком много пережито, перевернулось...

— И даже вывернуто корнями вверх.

— Вот именно! Приживутся ли снова эти корни? И что скажут о нас в будущем?

— Что мы заблуждались, ошибались, недопонимали,— ответил Макаров,— но никто не сможет обвинить нас в корысти.

— Смогут! — ответил Фадеев. Лицо его потемнело, на нем отразились боль и отвращение.— Я тут с такой гадостью столкнулся... и эта гадость была адресована мне... Я не боюсь врагов. Но несправедливость — жестокая сила! Она мешает думать, писать, быть самим собой.

— Но все равно справедливость восторжествует, а наветы развеются, как дым, и очень скоро. И книги ваши будут жить! — страстно говорил Макаров.— А знаете, и в

моей жизни ваш Метелица сыграл решающую роль: в 38 году моя жена влюбилась в него, а заодно и в меня, и помчалась за мною в армию!

Фадеев пожал ему руку:

— Почему вы мне об этом никогда не рассказывали?

— И грустно добавил: — Некогда было.

— Сколько людей делали лучше ваши книги, во сколько судеб вошли ваши герои!

Макаров опять перевел разговор на «Молодую гвардию»:

— Приходят в журнал совсем молодые, они уж и не воевали — детьми были. Талантливые, дерзкие! Один очень интересный — ему 23 года.

— Кто это?

— Евгений Евтушенко.

— Хорошие стихи?

— Да. Острые. Ищет... путается, снова ищет.

— Им надо помочь, — сказал Фадеев. — Они не видели того, что видели мы. Они не видели войны с фашизмом — им будет нелегко разобраться.

И пошел разговор о связи поколений, о неумирающих традициях нашей литературы. Закончился он неожиданно. Фадеев сказал:

— Устал я, Саша.

Эти слова были как крик боли — и, не пытаясь больше повернуть разговор, Макаров только попросил Фадеева посмотреть посланную ему рукопись первого номера «Молодой гвардии» и прислать что-нибудь из его писем в следующие номера журнала.

Фадеев пообещал...»

Наступило лето 1967 года. Я жил в Быковке, ездил в Сибирь. Изредка писал Александру Николаевичу. Ответы получал хотя и быстрые, но чувствовал, что дела моего друга на поправку не идут.

Дорогой Виктор Петрович!

Два твоих письма лежали у меня на столе, когда я вернулся из поездки к родным пенатам. Бросил все на полдороге и второго смотался в Калязин, где Наташа вот уж год обещала выступить. Поехали на машине и прямо с ходу в родную деревню Осташково.

Пусто в деревне, хоть шаром покати. Отцовский дом, в котором живут, и тот чужим и запустелым веет. Дети у хозяйки выросли, дочь замужем и учительствует в городе, и она зиму с нею жила, коров продала, кур вывела — дом

не дом, так, строение. А бабушкин дух и вовсе выветрился. Никакого чувства не пробудилось во мне, зашел так же, как бы и в любой дом зашел,— видно, с возрастом даже воспоминания детства теряют свою власть.

Полуслепая соседка чистит картошку, рассказывает, что сын вот уж два года не приезжает — тот, с которым я и сейчас переписываюсь и которого в свое время Есениным заразил. Живет старуха с дочерью — девицей, рожд. 21-го года, так и не вышедшей, как большая часть ее подруг, замуж — все такие девицы работают тоже не в деревне, а в Калязине, за шесть верст, в «Красном швейнике». Зато теперь не пешком ходят, а на велосипедах ездят. Выходить им было не за кого, да и сейчас в деревне один Юрка-киномеханик, постарше Аннеты на три года, красивый малый и добрый очень, только по доброте своей он еще лет десять назад сошелся с Людочкой, старше его лет на 16, да так при ней и остался, в прошлом году расписались, теперь воспитывают дочь. Раньше семья восставала против, теперь смирилась. Закормил он нас сметаной и творогом.

Новости в деревне какие? Вчера закопали Аннушку Колпакову, жену первого председателя колхоза, посаженного в 1934 году и где-то помершего, женщину с трагически-черным, дурным глазом. Глаз у нее действительно был дурной. Бывало, пойдешь на рыбалку, встретишь ее на пути — рыбы не жди. А жила она напротив, и никак ее не обойдешь.

Вот и все «деревенские новости». Посидели мы часа два со старухами, порадовались они, что не забываем, и махнули в Калязин. А дорога — врагу не пожелаю — одни колдобины и выбоины, вся исковерканная тракторами. И пыль, пыль, пыль... В калязинском техникуме обрели пристанище в комнате для приезжих, очень милые, хорошие люди вокруг — учителя техникума. Встретился со своим приятелем комсомольской поры, директором модельной фабрики — неугомонный человек, думает перестраивать свою фабрику, чтоб оставить по себе память, когда уйдет на пенсию. С утра, с пяти часов копается в огороде, где у него яблонь тьма, и все меня поучал, как надо заниматься в наши годы физической работой. Надо, конечно надо, да где же взять не силы, а возможности.

Ловил рыбу. Берег, как и у нас, лещ, а рыбалка была приличная. А вообще дни шли так: Наташа прочла что-то около семи лекций, а я сачковал, да и мало кого здесь

интересуют наши съезды и литературы. Ездил на Олексинский ручей, где обычно ловил рыбу, на лодке, на водохранилище, в лес, еще два раза побывал в деревне, ездил в Мышино, в деревню, где живет племянник бабушки — последний родня. Вот человек, который может быть примером даже пионерам. Пастушит. Увидел пас, затрубил в свою дуду-трубу, строем, загорелый, веселый и довольный, несмотря на свои 60 лет! Похож он на бабушку донельзя, и характером, и лицом, да и на меня тоже, только не характером, а лицом. Выпили копынку, вспомнили о детских годах (в детстве я жил возле этой деревни), попросились с пожеланием встретиться, а может, и навсегда.

Вернулся в Москву с грудой рыбы, жареной и замороженной в холодильнике (езды-то ведь пять часов), и с флюсом и малым, но не прекращающимся питьем в животе (видно, и мне придется по Эссендукам ездить), и два дня пребывал в душевной прострации. Пустота деревень, которыми проезжали, как-то особенно легла на сердце.

А тут еще личные огорчения: после зимней болезни что-то мне изменили глаза, газетный петит разбираю с трудом, видно, придется заводить очки, а уж что это за жизнь, «коль маргышка в старости слаба глазами стала». Только сегодня вернулся к Николаевой и с остервенением дописал главу о «Битве в пути». Хорошо кое-кому возвращаться к воспоминаниям детства — удобней оно и прелестней, а тут идешь как вроде бы на припудилровку из выгрезвителя.

Вот о тебе было хорошо писать, что-то уж очень родное и близкое, а тут заводы, инженерия... Кстати, статью об Игп. Рождественском, конечно, я читал в «Октябре», просто у меня это не влезло, вернее, лезло, да я испугался, что уже в начале статьи разбалтываюсь так, что конца-краю не видать, и не без горечи я опустил это. Но ты написал и много другого (о газете, о стихе), что не премину использовать, если Бог даст дожить до книжки.

Московских повостей не знаю, скрываюсь. Прочел статью Евг. Носова. Уж очень он ее раскудрявил. Мысли-то дельные, но не столь уж новы, а попробуй поймай их в этих кольцах дыма от самокрутки солдатской.

Думаю, что письмо это не застанет тебя, ну ладно, может, и потом прочтешь, а мне же так хочется поговорить с тобой.

Август, что ж август, я не меньше его жду, да уж как Бог даст.

Марии Семёновне и ребятам низкий поклон.

Наташа и мои ребята салютуют.

Твой А. Макаров.

В Литву мне что-то не хочется, но надо. Поедем 18-го.

Дорогой Виктор Петрович!

Скучно что-то мне стало, ох как скучно. Десять дней прошло после съезда, а кажется, Бог весть когда были эти дни нетворческого отпуска, и снова я в какой-то каше непеределываемых дел. Вот уж неделю сижу в Малеевке, а за свою Николаеву и не принимался. То верстка свалилась, то есть не верстка, а сверка уже, ее и читать не надобно бы, а как не прочесть и лишний раз не позлиться — не так бы надо, а вот эдак, да в сверке править не положено. И трепет перед тем, что еще скажут цензоры. А они, возможно, и ничего не скажут, просто уж такое воспитание получил, живу вроде щедринского зайца, которого волк под куст посадил, приговаривая: «Сиди и годи, пока я тебя съем, а может быть, ха-ха, и помилую».

Аннета засела за реферат об Авижюсе, и ей хочется дать совет, пришлось прочесть «Деревню на перепутье» — роман недурен, но ведь имена и фамилии у всех литвинов такие, что язык сломаешь и память не удерживает, да еще и фамилии, и имена на один лад — зовут Викторас, кличут по фамилии — Астафьянс, а автор, говоря, то по имени, то по фамилии называет, вот тут и пойми, тот же человек или другой. Потом свалились на голову поэты, претендующие на прием на Высшие ЛК. Десять дён, 28 кпижек. Они хоть и тонюсенькие, но все же надо время, чтобы прочесть и разобраться, чем одна отличается от другой. Кстати, между ними и твой кемеровец Баянов, тебе он, помнится, очень нравился. Он и в самом деле прелестный парень, видимо, с очень доброй душой, и стихи настоящие, с деревенской, милой сердцу тональностью и манерой, причем все это у него не наборная вода, как у Бокова часто, а своя, ключевая. С удовольствием написал ему «доброе пути» на курсы, на которых ему, кстати, побывать надо. Вторая книжка у него не хуже первой, но и не лучше, сердце-то большое, а кругозор маленький. По правде говоря, до сих пор я ценил курсы больше всего за то, что они дают возможность завязывать связи, но вот из разговоров твоих и Знаменского понял, что вы что-то на них еще получали, что они в чем-то стимулировали вас. Возможно, это больше относится к прозаикам, с поэтами

у меня бывало и наоборот — начинали писать хуже или уходили в прозу. Стихи ведь рождаются на непосредственности, на том, что не ведаешь что творишь, а вот как раскроется механика, так оказывается, и писать-то не умеешь. Впрочем, у молодых поэтов есть то преимущество, что они могут в прозу уйти. А уж прозаикам сунуться некуда. Так-то.

Что делается в Москве — не знаю. Наверное, все еще обсуждается вечер Паустовского, который был довольно с горчицей. Каверин, открывая, заявил, что в литературе у нас есть направления, и назвал Булгакова и лишь потом юбиляра. В зале запахло жареным. Так и пошло: каждый выступающий говорил тоже с намеками: Яшин — что Паустовский изменил его жизнь, напечатав в «Литературной Москве» «Рычаги», сделал его, Яшина, бедняком, но зато честным человеком. Балтер говорил — плел что-то о трагедии художника, который не может сказать, не знает, что сказать, хотя к Паустовскому это никакого отношения не имеет, это Балтер, десять лет назад написавший средненькую повестушку, не знает, что сказать. В общем, получился этакий оппозиционный вечер, а сверху было сделано все, чтобы он был таким. Ведь это надо же было: к 75-летию ничем не наградить старика. Ясно, что весь зал был настроен возбужденно и «запретное» падало на благодатную почву. И никого из писательского начальства, даже приветствие только из московского отделения.

Нет, ей-богу, мы, наверное, совсем отупели (ты видишь, я говорю — мы, подразумевая, конечно, не вас — провинциалов, а себя как человека, возведенного в ранг члена правления и уже чувствующего себя имеющим отношение к власти). Ты-то, наверное, скажешь: ну и лучше, что поглупели. А мне все-таки почему-то обидно, что делать, старого закала я человек и все еще к сердцу принимаю наши просчеты. Ну что стоило на съезде хотя бы заявить, что вот, мол, было серьезное письмо, и есть предложение передать его на рассмотрение секретариата. Была бы хоть видимость порядочности, тайны не было бы, и то слава Богу. «Положительная сторона съезда, — сказал мне один товарищ, — в том, что он обнаружил полную ничтожность нашего писательского руководства».

Благодарю покорно, хорошо эдак острить в литературных кулуарах, но для читателя-то не существует писательского руководства, а есть просто писатели, и он по

докладам не о докладчиках судит, а об уровне всей писательской братии.

Здесь, в Малеевке, писателей что-то не видно. Есть Радов, который вот уже три дня пьет, как только уехала Римма; есть Пашка Железнов, стихов которого я не читал с тридцатых годов; есть Таланов, о котором ты, верно, и не слыхивал. Впрочем, в «Жизни зам. людей», кажется, есть книжка о Качалове. Есть его жена — Серафима Бирман — превосходная актриса и умнейшая женщина. Ей 76 лет, но сидеть с нею за столом и прогуливаться — наслаждение: какие воспоминания, и если б только воспоминания, какой острый ум, интереснейшие суждения о современном театре, об актерской молодежи. Жаль, ленив я записывать.

Иудейская война, поначалу всех напугавшая, за два последних дня приобрела какой-то комический характер. Говорят, будто Насер обратился к У Тану с просьбой о перемирии. Дай-то Бог, не хочу я (на этот раз я) этой войны, как и пикакой войны не хочу.

И какое-то страшное, мистическое ощущение у меня от нее — «Перешли Кедрон», «движутся в направлении Тивериадского озера», «бои у Вифлеема», — ведь все это памятные с детства, евангельские названия, по этим местам Христос ходил — в Вифлееме родился, в Иордани крестился, на Тивериадском озере рыбаков в апостолы вербовал. Воистину: «шеисповедимы пути Господни!»

Ну вот и все мои впечатления, и что-то уж очень мое письмо напоминает послание Хлестакова своему другу — а вот еще, а вот еще... А на улице дождь. А Наташа повезла в Москву мою сверку. А я скучаю и, вернее, даже стосковался и по тебе, и по Марии Семеновне — поговорила бы она сейчас про жизнь, глядишь, и стало бы веселее.

Обнимаю вас, счастливые быковчане. Не забывайте нас в своей лесной обители трудов и чистых нег.

Твой А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович!

Вот до чего я дошел, письма написать некогда. Совсем заездила проклятая баба — покойница Галина (Николаева. — В. А.). Написано 60 страниц, а конца-краю не видеть. А пужно два листа. Но приходится все выяснять для себя на ходу, ей-богу, такой искренней конъюнктурщицы еще не бывало. Но как труженик, она не может не вызывать уважения, да и талантлива была, вот тут и крутись.

Из Малеевки вернулся третьего дня, в самом расшвырявшемся настроении: работу не кончил, рыба не ловилась, у Наташи флебит на ноге и опягг лежит в лежку, да еще хнычет, что ходить не может. Неудобобытные нам попались бабы — кипучей энергии хоть отбавляй, беспокойности не занимать, а помощи их то и дело подводят.

А тут лето, вдруг, не успел приехать, вместо 9—10 по утрам сразу тридцать! Жара несусветная, и мозги тают. Очень хочется съездить на родину, в Калязин, приглашают, не знаю, сможем ли. А 15-го надо ехать в Литву с Аппетой. И выходит, что Николаеву никак мне до отъезда не копчить. А тут еще звонки — юбилейные номера приближаются, и всем чего-то обещаешь. До чего дошло: звонит из «Октября» Стариков, просит прочесть роман Бубенцова, они, видите ли, не могут решить — плох он или хорош. Наташа отвечает, что он, то есть я, член другой редколлегии, у вас, мол, свои есть, а он в ответ: «Нам нужен порядочный человек». Господи! Да неуж так перевелись порядочные люди? Да и не могу я быть порядочным, мне покой нужен и Бубенцова я не люблю.

Сегодня утром взбесился, говорю жене: «Звони по всем номерам, и в «ВопЛи», и в «Дружбу», ото всех предложений, скажи, отказывается, извиняется, простить просит, но не может, болен, на пороге к издыханию». И на анкеты никакие отвечать не буду — ведь все эти анкеты и споры выдумали, потому что печатать печего.

И кипижку еще цензор не читал, все еще где-то валяется, а у меня там не какие-нибудь безобидные рассказы о деревенском детстве, а все политика — про Симонова да про культ. Слово же это пыпе для цензоров хуже, чем «жупел» для купчихи Островского, у которой от слова «жупел» все поджилки тряслись. Вот и хочется рвать и метать, а что рвать, что метать, и лошади на дворе нет, а то бы пошел да ударил, было б на ком злость сорвать. На жену зверем посмотришь, на том и утрешься. Напиться невозможно — и без того в животе нет-нет да и поноет. А я труслив страсть. Да нет, пожалуй, и не трусость даже, а устал от всего, ну прямо вот так устал, как когда-то рабочий поэт С. Воронов, коего Горький в сборниках «Знание» печатал:

Я устал от шума жизни,
Бестолковой и угарной,
От кичливости богатства,
От забитости нужды,

От продажности и торга,
От культурности базарной,
От наивного восторга
И бессмысленной вражды.

По форме не ах, но по содержанию... мало что изменилось в нашем мире, разве лишь заботности поубавилось весьма, зато и наглости прибавилось. А дальше, у того же С. Воронова, было уже про вас:

Я ушел в лесную чащу,
Где, задумчиво угрюмы,
Сосны старые томятся,
Где кудрявится река,
Где...

Ну и так далее, про что мне писать нечего, поскольку не белые снега, авось растаяли.

Марии Семеновне низко кланяюсь, и Наташа, она ее целует (тебя пока нет), а вот я целую обоих.

Привет от Толи, Юры, Аннеты.

Твой Макаров.

Дорогой Виктор Петрович!

Я все медлил с этим огорчительным для меня письмом: все думал, авось обойдется и приеду к тебе, уж очень мне этого хотелось. Однако человек предполагает, а Бог располагает, и Милосердный все еще не счел достойным простить грешника и продолжает испытывать его животными терзаниями.

В Литву я поехал полубольным, всю дорогу нудно ныл проклятый живот. Не надо было ехать, да пужда погнала. У Аннеты отпуск, и другого случая не было, чтобы ей что-то показать, да и ее работу там проконсультировать.

Встретили нас там хорошо, поселили в комнатах Литфонда — есть у них там тайная гостиница — на случай, если номеров в нормальных не окажется. У Аннеты дела пошли как пельзя лучше, к тому же ждал приятный сюрприз — Наташина кпижка про отцов вышла на литовском, а мы и не знали. Встречи были редки, на лето Вильнюс писателями беден, все на взморье, но полезны и содержательны — с Беляускасом, Пвугосом. Ихняя «Вечерка» даже дала информацию — вот-де какие гости нас посетили. Съездили в Каупас, еще раз поблаженствовал в музее Чюрлёниса. Кстати, в отделе народного творчества Христа очень напоминают пермских, только их искусствоведы, в отличие от вашего пермяка, считают, что он держит руку у лица не потому, что защищается от удара, а потому, что скорбит о делах людских.

Рыба там ловится в самом Вильнюсе, в реке Нере, за два шага от Союза, плотва такой величины, какой я не

видел, и ловится на улиток, которых тут же на прибрежных камнях можно пайти в преизбытке.

Словом, все преотлично, но вот проклятый живот не давал покоя. И пришлось мне вместо первого вернуться только вчера, все ждали, что будет лучше. А за три дня до отъезда так прихватило, что потом два дня лежал в полной прострации и все засыпал. Ну куда мне в таком состоянии ехать? Завтра пошущусь к врачу. А вообще хочется только лежать и плевать на все. И как ни обидно, не могу я приехать: хворый гость хозяину в тягость. Эту пошловицу я сам придумал, и она мне очень понравилась. Хочешь, продам, возьму недорого. Вот так-то.

Очень я рад, что у тебя пока все благополучно, жаль, что старик болеет. Привет ему от меня, скажи, что я благодарен ему за такого сына, на котором бедные критики могут зарабатывать деньги, да еще с удовольствием и отрадой. А дети, что ж, дети — они теперь какие-то необыкновенные, но я надеюсь, что и тут перемелется — мука будет. Не все же мука.

Порадовало меня, что ты вплотную занимаешься, вернее, собираешься заняться своей «Пастушкой», а там, глядишь, и к роману пора подойдет. Пусть он пока где-то в тебе шевелится незаметно, хотя и ножкой еще не стучит.

Надо ли писать, что это время я не работал, не до того было. Прочел лишь для «Сов. писа» рукопись воспоминаний о Светлове и нашел в одной из них, у какой-то, незнакомой мне, Федосюк утешительные для меня слова: «Я — не Николай Островский. Когда мне плохо, я работать не могу. Вот станет легче, начну писать. Мне еще столько сделать надо». Вот и я начну, когда станет легче. Даже за правку статьи о Николаевой не принимался. Обидно лишь, что все оттягивается статья о поэтах — Жукове (Иваново) и Казанцеве (Томск). Я ведь их расспрашивал. Они вроде обнадежились, а теперь небось думают: вот трепло, только за нос водил. Ведь все-таки, что греха таить, у вас, писателей, мнение о нас, критиках, такое, что пишем мы не по вдохновению, а просто обмакнул перо — и пошла писать губерния. Тебя ведь я тоже с год мурыжил.

Ну вот пока и все мои огорчения, если не считать еще того, что наш Толя последнее время что-то чересчур взбрыкивает и устраивает сцены. В общем, кисло, тошно и кюхельбекерно.

Да, вот Алигер написала о Светлове прекрасно, чертова старуха, прямо чудо сотворила, прочел я — словно с

живым встретился и пришел в то самое состояние моей какой-то поющей любви к поэту, к этому милому человеку, и боли за него, м.б., самого человеческого и мудрого из встреченных мною в писательской среде, да и не только.

У Наташи выпала книжка, наконец-то. О судьбе моей книжки пока не знаю.

Низкий поклон Марии Семеновне, тайно от тебя целую ее.

Пожелание успехов ребятам.

Твой А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович!

Видимо, наши письма разошлись, хотя по моим расчетам к 11-му вы должны были получить мою скорбную эпистолау. Надеюсь, оно не пропало, а вдруг. В нем подробно я описывал и пребывание в Литве, и досадную хворь, каковая мешает мне приехать. Повторять все lamentации нет смысла. Вы и сами поймете, что для меня значит отказ от поездки, о которой я год мечтал. Но что поделаешь? Опять просвечивали, опять ши хрена не нашли и посадили вновь на престрожайшую диету. Больше они ничего выдумать не могут, а на воды пока не советуют, поскольку непонятен я, и внутренности мои окутаны газами, как планета Юпитер, и разглядеть ничего невозможнo.

Вот и кончилось тем, что завтра еду в Тарусу, видимо, на месяц, не сидеть же в Москве, и буду там на пише св. Аггипия, с предписанием поменьше двигаться, да и куда там двигаться. Разве лишь:

Выйду я на реченьку,
Сяду на гумно,

Самому себе я
Надоел давно.

И взаправду надоел. Не хватало, чтоб тебе еще надоел. Новостей у меня никаких. В Москве никого, кроме эскулапов, и не видел, и охоты нет. От них узнал, что Паустовский давно уже плох, сознание просветляется лишь временами.

Ребят своих разгони по работам да не печалься очень, придет пора, возьмутся за ум — жизнь заставит. В том-то их и беда, что жизнь мало чего их заставляла. И больше всего я сочувствую Марии Семеновне, волнуется, небось, страдает, а, ей-богу, перемелется, мука будет. Моя ведь тоже после десятилетки учиться не хотела, на фабрику пошла, а потом взялась за ум. Вот только Андрише армия, паверное, грозит. Это, конечно, не сахар.

Вот так. Поезжай с Богом на свой Енисей, взлелеивай своих пастушат и берегись зеленого змия. А главное, изредка пиши мне.

Обнимаю тебя крепко. Марии Семеновне кланяюсь.

Наташа шлет горячий привет, Толя тоже, а ребята мои вновь укатили в Литву.

Твой А. Макаров.

Летом же, по-моему, в июле, я еще раз побывал в Москве. Нарочно не давал телеграмму, чтоб не беспокоить и не обременять большого человека. Иду в Домодедове с самолета, подхожу к оградке и слышу: «И чья же это папа приехала?..»

Смотрю, за оградкой, в своем неизменном бушлатике или в бежевой рубашке — не вспомню, стоят Александр Николаевич с Толей и делают мне ручкой. Расцеловались. Я стараюсь не очень пристально смотреть на друга своего — стал как головешка, вовсе почернел, худ, папиросу уже торопливо не смолит, в кулак не прячет. «Бросил курить. Совсем бросил. И не выпиваю совсем, ни граммулочки. Ладно, вот благодаря вашему приезду хоть за город выбрался, на березы посмотрел, подышал...»

Оказалось, они звонили в Пермь, узнали номер рейса и нарочно выехали за несколько часов раньше в аэропорт, погуляли по березовым рощам, послушали птвичек, сепа свежего понюхали — кажется, это была одна из последних «вылазок» Александра Николаевича на летнюю природу.

Машина у Макаровых была старенькая «Победа». Александр Николаевич на ней и разбился — шрам у него на верхней губе белел от этой аварии, но братец его Толя знать ничего не хотел, шофер «скорой помощи», он привык ездить беспрепятственно и с ветерком.

— Ты мне угробь еще и Вик Петровича, — ворчал Александр Николаевич, — так не рад будешь. У него нахлебников-то побольше, чем у меня, — кормить не обрадуешься... — И все оглядывался ко мне с переднего сиденья, щупал за плечо, за грудь. — Ну, как вы-то? Вы-то как, дорогой мой? — А в глазах, смотрю, у него слезы поблескивают, и такой он большой-больной весь. — Не пачал «Пастушку»-то еще? Не пачал? Ах лентяй! Ах лентяй! Она не отпустит — не падейтесь! Я знаю, боитесь ее — трудная вещь, вот и ждете, когда засохнет. Не дождетесь! Не из тех она вещей. Писать придется. Ну, а харюзки-то как в Быковке? Бочажок-то мой размыло?

Мы так и не смогли в личном общении окончательно перейти на «ты», хотя и понуждались к этому сами и нас понуждали наши жены. Отношения, они что погода, как сложатся, так и сложатся. Можно всю жизнь быть на «ты», подписывать книги «братски дарю» и не испытывать к человеку не только братских, но даже и вовсе никаких чувств, а бывает и наоборот.

Много мы в тот раз и о многом переговорили. Словно чувствовали, что больше не увидимся. Тогда же, в разговоре о человеческой памяти и о человечности вообще, я сказал, что недавно услышал, будто древние называли память «зрячим посохом». Александр Николаевич встретился:

— Зрячий посох! Какое хорошее название статьи или книги!

Ни я, ни он не предполагали, к какой книге и когда пригодится и к месту станет этот заголовок. Неисповедимы пути и замыслы литературные! А у нас в издательствах все еще упорно и настойчиво составляют планы на пять лет вперед, и находятся писатели, что умеют потратить «плану» и даже написать книгу по «соц. заказу».

Профанация, вовсе уж неуместная ныне, когда часть писателей работает так высокопрофессионально, так глубоко и серьезно исследует действительность, осмысливает жизнь и самую мысль, и литературное движение в стране, упорный поиск в духовном бытии народа, в нравственном развитии общества. Уже от такого недостижимо высокого плода, как самопознание, отдельные художники вкушать начали, потому все эти планирования выглядят до обидного пелесо, как будто «Выхожу один я на дорогу» или «Пророка» можно выдать в плановые сроки. Думаю, что даже сам автор Чингиз Айтматов не мог бы и себе назвать сроки своего блистательного романа «И дольше века длится день», ибо не один день и год вынашиваются подобные вещи. И вообще шедевры пишутся не каждый день и даже не каждый год. Как же быть с ними? Тоже в очередь, в затылок их ставить на пути к читателю?

Конечно, выстраивать литературу по ранжиру и издавать согласно строю: сперва командиров, потом их помощников, потом всех остальных — гораздо удобней, но это уже поток, а поточные линии уместней в промышленности, но не в литературе, если ее воспринимать всерьез.

По закоренелой привычке чем-нибудь удивлять Алек-

сандра Николаевича я привез несколько заметок и прочитал ему:

«Это случилось недавно в устье реки Амазонки. Охотник на крокодилов, промышлявший в этих местах, вернувшись, показал любопытный трофей. Кроме шкуры убитого им гигантского крокодила присутствующие увидели извлеченный из желудка животного... бронзовый крест «За заслуги» и портсигар с пепельницей и подписью: «Дорогому Вильгельму от Марты». Крокодил, видимо, когда-то вкусно пообедал одним из прятавшихся в Латинской Америке нацистских преступников... Остается надеяться, что обед крокодила был действительно сытным и достался ему не сухощавый пехотинец, а упитанный эсэсовский генерал...»

Можно допустить, что достался крокодилу обыкновенный индеец или мальчик полудиких амазонских племен, выменявший эти трофеи на плоды, рыбу или мясо у путешественников или купивший их, как игрушки, на каком-нибудь пестром рынке маленького латиноамериканского городка. Как бы там ни было, эта заметка из американского журнала «Ньюсуик» обошла всю мировую прессу, не минуя и нашу, самую благонаправленную, где каждый день, из номера в номер утверждается, что человек человеку друг, не глядя на его вероисповедание и прошлое, и где порой, как следствие этой аксиомы, в скромном уголке, набранные петитом, появляются заметки такого рода: «До сих пор жители села им. Бабушкина вспоминают тот трагический день, когда погиб их односельчанин Н. П. Репин — участник и инвалид Отечественной войны. Преступники — однофамильцы Даниловы, оба не раз прежде судимые, люди без определенных занятий. В тот день они с утра пьянствовали. А затем повстречался им Репин. Даниловы пытались отнять у него часы, чтобы продать их и выпить на вырученные деньги. Пенсионер не испугался двух здоровых мужчин, оказал сопротивление. Тогда А. Данилов, скрутив жгутом рубаху, накинул ее на шею Репина...»

И далее в этой унылой, спокойной рукой написанной заметке сообщается, что одного Данилова приговорили к расстрелу, другого к двенадцати годам...

На первый взгляд, никакой связи нет между двумя заметками — небо и земля! Америка, да еще Южная, и Россия, да еще и северная. Ан нет! Потолковали мы, потолковали с дорогим моим критиком и пришли к выводу

— есть! И то, и другое идет от пренебрежения к человеческой жизни, от неуважения и бестрепетности перед смертью, порожденной, кстати, не фашистами, а до них, и более всего слугами якобы Христовыми. Усмирняя вольную Фландрию, великий инквизитор Торквемада воссел на белого коня, велел выгнать население, впавшее в «ересь», к дорогам и, объезжая коленопреклоненных мирян, разбивал им головы дубиной, бил по выбору, чаще детей, женщин, стариков, чтоб запомнилось устрашающее, карающее действие, бил долго, отдыхая в пути, потребляя крепкую и обильную пищу, чтобы могучие его силы не иссякли, бил после долгих молений, целований креста, и за один выезд разбил тысячу черепов, после чего Фландрия сразу стала истово верующей во Христа и несколько столетий шелестела тихими молитвами, дрожа осиновым листом при одном только упоминании карающего всадника на белом коне.

Фашисты лишь продолжили дело черных душ и якобы христовых слуг типа Торквемады, а вот и результаты: по улицам многих цивилизованных городов ныне люди боятся ходить, опасаются друг друга, и в особенности молодежи, враждебной, зловещей, подгулявшей или нажравшейся какого-нибудь дурманящего зелья, жаждущей развлечений и крови; сытым молодцам нужна кровь и хоть маленькая война, а если ее нет, то хотя бы описания насилий или «смешных» историй в газетах о том, как крокодил сожрал человека, как два молодца повесили односельчанина на родной сельской березе, под которой когда-то их отцы вместе играли в городки, бабки и мячики.

Но подлость не всегда бывает кровавой, она может быть почти ласковой. Недавно из Норильска в вологодское село, где я часто бываю, сынок прислал на похороны матери пятьдесят рублей. У старухи кроме сына не было родственников, и хоронило бедную женщину «опчество» — ее старенькие немощные подружки, и как же они были удручены поступком сыночка покойной, выбившегося в люди, получающего большую зарплату, да еще и с «северным наваром». И с торопливой, почти суеверной надеждой толковали друг дружке, что у них дети «не такие».

Другой «сынок» оказался более заботливым и предприимчивым. Не желая забрать из деревни старенькую мать к себе — некуда, жилплощадь всего три комнаты на троих! — он ее, безграмотную, полуслепую, бросил на

областном вокзале в надежде, что ее подберут в домработницы, в пяньки, сунув в карман старушечьей жакетки такую вот записку: «На прокорм легка и не зловредна».

Я иногда сожалею, что у нас отменена порка — автора этой записки я порол бы лично, отложив на время писательское перо.

— Так что же это выходит, Вик Петрович? — съязвил, лежучи на постели, большой и страдающий критик. — Как же быть с российской жалостью? С той самой, которую вы и ваши верные друзья, да и я тоже, так хорошо помним, лелеем и воспеваем?

— Не знаю, — ответил я. — Многие устойчивые понятия пошатнулись во мне, сдвинулись с места... «На дне души светло и виновато лежат осколки дружбы и любви», скорее — лежит скарб и тряпье, и не в душе, а в утробе, как в ларьке утиль-сырья. Мне стало сложно жить и работать, и я по-иному теперь читаю слова Тургенева о том, что «жизнь — это тяжкая работа». Иной раз мне кажется, что даже на фронте было легче, ну, может, и не легче, а проще — это уж точно. Я начинаю завидовать обывателю, его спокойной, самодовольной и невозмутимой жизни. Вот пожалуйста, что я накарябал об этой самой российской жалости, для себя накарябал.

«...И не откуда-нибудь, а с крестьянских дворов, из деревень российских, где, обнаружив убиенного, дабы умаслить строгие власти, «догадались деньжонок собрать», на лопатках мужицких, грязью палившая, придет в «питеры» и даже царских врат и палат достигнет мужицкая трусоватая и дешевая жалость, уверенная в своей силе и непорочности. И, ой! сколько светлых русских голов, не боящихся ни цепей, ни польмя, ни казематов, ни сырых крысиных ям, сломится и падет перед нею пиц с раскаянным рыданием.

Не она ли, эта российская жалость, переросшая в царскую милость, за минуту до смерти обрушится на нашего гения и страдальца словами: «Даруется жизнь», и он, припадочный, большой неизлечимо, столь зла и ненависти познавший, вернувшись с каторги, замечет вдруг, переставши различать границы зла и добра, и сколько сил, титанической перенапряженности, насады ума будет стоить ему восстановление размытой слезами умиления невидимой черты меж добром и злом».

— Да-а, если так дальше дело пойдет, вы, чего доброго, в тупик залезете и писать бросите, — огорчился Алек-

сандр Николаевич. — Не усложняйте-ка, не перемудряйте-ка себя. Есть в мире вечные, незыблемые истины: жизнь и смерть, любовь и ненависть, совесть и честь, обязанность и труд, и между этими простыми понятиями — все остальное. Наверное, падо быть в главном твердым: добро — это добро, зло — это зло, утверждать первое и бороться со вторым. Вот и все. Понятно?

— Ну еще бы! Как в пионерском отряде: «Это наши, это — ихние. Все наши самолеты — соколы, все ихние — стервятники, наши бойцы — герои, ихние — трусы».

— Эх, Вик Петрович, Вик Петрович! Теперь я понимаю, почему вы не можете начать «Пастушку» — подзапутаться боитесь. Да ведь распутаться-то литератору дано лишь в работе, в осмысливании себя в мире, жизни своей, действительности, нас окружающей. Сами же везде и всюду пишете: «Раз в такое время родились», «раз такое нам время выпало...» — это не значит, конечно, что раз такое время, тут уж на все надо махнуть рукой, не заставляя себя, свои мозги трудиться... «Нет ничего капризнее недомыслия, когда оно взбудоражено и вдобавок чувствует, что в его распоряжении находится людское малодушие и людское искательство. Оно не уступит ни пяди, не задумается ни перед силой убеждений, ни перед логикой, а будет все напирать и папирать. Оно у всех предполагает ответ готовым...» Ну, это я вам уж своего любимого Салтыкова-Щедрина начал цитировать. А коли я сяду на этого конька, то и не слезу. Пойдемте-ка на кухню. Шум был, беготня, собаку затоптали, звон битой посуды слышался. Результатом этой буйной деятельности мне явится морковный супчик в керамической черепушке и две ложки жидкой каши, а вам, глядишь, чего-нибудь и посущественней отломится.

Тут хозяин, что-то очень уж заметно шепелявящий, взял некую посудину с окна и вставил пластинку в рот, изготавливаясь к обеду, а я от провинциального простодырства воскликнул:

— Не может быть! Этакий грозный критик — и со вставными зубами?!

И сник мой критик, совсем потускнел, голову повесил. Наталья Федоровна налетела на меня в коридорчике курицей-паруньей:

— Ну что вы, ей-богу, Виктор Петрович! Саша так переживает из-за этого протеза, из-за ранней старости, слабосилия...

Мне еще далеко было до пятидесяти, я еще не знал, что это такое — полвека.

Александр Николаевич смеялся:

— Попрыгайте, потрясите кудрями! Он кудрями потрясет, нам по рюмке поднесет. Брякнет полста, перестанут вам подносить, а вы перестанете насмехаться над нами — стариками...

Но вся беда или отрада была в том, что я не воспринимал его как старика, обращался с ним в жизни как с ровней, делая лишь некоторую скидку на хворобу, да и о ней часто забывал из-за его неунывающего нрава, постоянной готовности к шутке, к смеху. Не видел я его вовсе поверженным, смятым, он оживлялся при мне и оживал, и хорошо, что не отпускал от себя, последнее время совсем не отпускал, даже на маленькие хитрости пускался, и я благодарен покойному за то, — в Москве я чувствовал и чувствую себя потерянно, чужо, быстро устаю от многолюдства, трепотни, часто пустой и злобной. У меня возникает тараканье желание забиться куда-нибудь в щель, где теплее. Вот и забивался, и слушал, очень многое «прошел» благодаря мудрому, ненавязчивому общению со старшим другом, да и учителем тоже.

Но шутки шутками, литература литературой, а дела у Александра Николаевича со здоровьем шли все хуже.

Вот и пришло от него последнее письмо, затем из Болгарии еще поздравительная открытка, бегло и наискось написанная слабеющей рукой.

Но я не знал, что они последние, и даже не думал о том, что Александр Николаевич и слова «последний», «последнее» могут иметь какое-то отношение друг к другу.

Дорогой мой Виктор Петрович! Вот я и пишу свое первое произведение после болезни, еще не покинувшей меня.

Ну что тебе сказать? Худо. Резали меня, вынули несколько камней, потому что у меня началась желтуха, и вообще уже было все равно. Из всей операции запомнилось только то, как хирург трясет меня и чуть ли не колотит, и кричит: «Ал. Ник. Операция кончена». А я ему хочу ответить: «С чем вас и поздравляю», но, видимо, только хочу, а не могу, поскольку он продолжает трясти. Наконец я что-то промычал и вернулся к жизни. И тут же подумал — жаль, опять пачнутся всякие истязания. И не ошибся. Вначале в хирургической палате меня буквально истерзали т. н. капельницей — втыкают тебе в вену иглу,

а от нее шланг к банке, привешенной к столбу, и оттуда вливают литра два, а то и четыре всякой муры — плазмы, антибиотиков, физиологической жидкости, и всё это по капле часа четыре, а то и пять вливается в тебя. И так две недели. Потом перевели в терапевтическое отделение, где уж ничего не вливали, а только кололи. Лежали там почти одни только инфарктники, целый день и ночь открывали окна, пока я не схватил воспаление легких. Но и это кончилось. И тогда Наташа забрала меня домой, где я и валяюсь вот уже три недели, пробуя иногда работать, иногда гулять, иногда есть. И все без охоты. Какое-то стабилизированное состояние — ни хуже, ни лучше. Самое забавное то, что живот-то не перестает болеть, как ныл, так и ноет целый день, разве что сделают укол.

Стал лечиться у гомеопата, веселой и бодрой старухи лет 80-ти, известной всей Москве, — Абашидзе, которая, во-первых; сказала, что резали меня зря, и хотя и вытаскивали пять камешков, можно было и с ними жить, поскольку к моей болезни это имеет самое малое отношение (если вообще имеет), а во-вторых, по ее рецептам я каждый час глотаю какие-то одинаковые крупинки под разными названиями.

Дошли слухи, что в Болгарии такие болезни вылечивают. Наташа развила бурную деятельность без моего ведома, и оттуда пришли сразу три вызова: от Общества болгаро-советской дружбы, от Союза писателей и от министра культуры Павла Матева (он учился у нас в Литинституте). Паспорта получены, деньги обменены, и вот завтра мы летим в Софию. А зачем? Ну уж теперь не отступишь, когда все и вся взбулгачили. Но ведь там примутся лечить по-своему, а что мне делать с гомеопатическими лекарствами, которые мы все же набираем с собой. Поистине черт те что. Ну да пусть идет, как идет, — этой любимой Тургеневым поговоркой я всю жизнь и живу.

Большое тебе спасибо за твои письма, особенно за те, что ты писал, пока еще ничего не зная о моих злоключениях. Уж очень они были хороши, и меня радовали тем, что бродишь ты там по енисейским крутояркам. Когда-то ведь там стоял Чехов и думал: «Какая чудесная жизнь со временем осветит эти берега». Вот видишь, и осветила: воздвигли Краснопярскую ГЭС.

Вернемся ли к празднику — не знаю. Командировка у меня на полтора месяца, а виза вообще до марта. Ну да больше месяца мы там не просидим, не вытерпим, а уж

пойдет ли дело на лад или пег, один Бог знает. Или опять придется вернуться к моей гомеопатичке, которая обещает меня вылечить за два года. Но если у меня все так же будет ныть брюхо, вряд ли я эти два года прожду. Я ведь нетерпеливый. А впрочем, что я могу сделать? Как писал когда-то поэт-конструктивист Д. Туманный (теперь он пишет, как Н. Папов, приключенческие морские романы: «Ботман с «Тумана» и др.). Так вот, как он когда-то писал:

Сам я револьверга не имсю, Яд дают в аптеке по рецепту,
Вешаться ужасно некрасиво, Прыгнуть в воду не хватает сил...

А ты, наверное, уж в счастливой Аркадии, кою, как известно, населяли именно пастухи и пастушки. Дай Бог успеха. Молодец, что не приехал на пленум, как мне передавали, скука была смертная.

Напиши, но все же на московский адрес. Можно бы и на Софию, Союз писателей, но по своему опыту знаю, письма туда идут недели три, и ни к чему это. А я тебе напишу отсюда обязательно, о своих впечатлениях, хотя какие впечатления в Софии, где я уже был и, кажется, все переглядел.

Кланяюсь Марии Семеновне. Привет Андрюше, Ирине.

Все мои тебе шлют поклоны, а я обнимаю тебя. Вот так-то.

Твой А. Макаров.

Да, книжка моя вышла, но пока вот у меня есть один всего экземпляр, брошюруют литературу к 50-летию.

Твой А. Макаров

Дорогой Виктор Петрович!

Поздравляю тебя и Марию Семеновну с 50-летием революции. Желаем провести сей день в добром здравии и веселье.

Наташа, А. Макаров

Потом долго не было никаких вестей. Я писал в Москву, беспокоился. И вот получил письмо от зятя Макаровых, Юры, хорошего, скромного парня и добряка большого.

Уважаемый Виктор Петрович!

Большое спасибо, что Вы нас не забываете. Вы прислали уже два письма, но, к сожалению, Александр Николаевич их не может прочесть.

Дело в том, что его недавно оперировали и он сейчас находится в тяжелом состоянии. Наши женщины совершенно расклеились, поэтому Вас пускай не удивляет, что письмо пишу я. Что касается диагноза, то это одному Богу известно, ведь педаром говорят, что сколько врачей, столько и мнений. Александр Николаевич знает, что Вы ему прислали письма, и велел передать, что ответит Вам, как только ему станет лучше.

Вы, наверно, удивлены, что я не писал, по какой причине оперировали Александра Николаевича. У него началась желтуха, которую, по мнению врачей, можно только ликвидировать хирургическим путем. К сожалению, задела печень была и ему сделали чистку желчных путей. Оперировали его более двух часов. После операции приключилась еще одна беда — он заболел воспалением легких.

Сейчас Александру Николаевичу стало немного лучше. Дай Бог, чтоб он скорее выздоровел.

Желаю Вам всего наилучшего. Передайте большой привет Вашей жене и детям. Женщины, Толя, Карай посылают Вам горячие поцелуи, если Вы не будете против, то и я с удовольствием к ним присоединюсь.

Юра.

Это письмо на меня так благотворно подействовало, так успокоило, что я, еще какое-то время поболтавшись в Перми, переделав все «мелочи», освободившись от текучки, ринулся в Быковку с жадным желанием засесть за так давно и неотступно мучившую меня повесть «Пастух и пастушка», втайне надеясь, что этой работой порадую и Александра Николаевича, который боялся, что я упусти «миг», повесть «состарится», замрет в душе и «отсохнет», как это бывало уже не раз и не у одного меня, хотя и твердил, что не отсохнет, не отсохнет, а все же боялся, ибо лучше меня знал, какие могут вещи приключаться в литературе и в жизни литератора.

Ему, да и мне, замысел повести был дорог. После того, как я однажды рассказал всю повесть «наизусть», Александр Николаевич считал, что мне стоит только сесть и записать рассказанное, ибо повесть уже готова, сложилась, но я, лодырь, не хочу этого делать, предпочитая рассказывать «сказочки» и вообще отлынивать от стола.

Вот я и в Быковке. Один. Топлю печь, пою песни, играю со Спирькой, который без ума от того, что появился хозяин, и от восторга чувств даже описался при встрече. На дворе осень. Поздняя.

Дураковатая и чудная была осень шестьдесят седьмого года на Урале. Начавшись, как положено ей начаться, покончив все свои дела в лесу, на пашнях и огородах, отбушевав листом, дождями и ветрами, распрощавшись с отлетными птицами и выдав заморозок, а потом и снег, осень вдруг задумалась о чем-то и забыла о своих сроках и делах. В сырой лени, знобкая, дремала осень в голых лесах, на голых лугах, поляпах, и большая, всеобъемлющая тишина лежала вокруг. На Камском водохранилище не было чаек, не кружились ласточки-береговушки, не визжали стрижи в заоблачье, не чиликали трясогузки, лишь воронье лохмами сажки болталось по серенькому небу и падало в мокрые ельники, да кашпоки нехотя кружили над полями, без криков, стремительных падений на землю, кружили и кружили как неприкаянные, уснув в медленном полете. Веселились и оживленно чирикали щеглы, перепархивая по репейникам, да синицы из лесов перелетели к жилью, прижались к деревушке, и одна из них приспособилась ночевать в выгнившем углу моего дома, и перед тем, как заснуть, долго шевелилась, царапала коготками над моей головой и, постукивая клювом, выбирала в пакле и гнилушках спрятавшихся на зиму мошек и мух.

Славно, ходко работается, когда вся вещь выношена до мелочей, когда она измучила тебя и озлила до того, что, освобождаясь от нее, ты чувствуешь облегчение от гнета, ощущаешь в себе светлую пустоту и свободу и, как мать, дивуешься на малое, беспомощное дитя, чуть пищащее беззубым ртом, глядящее бессмысленным туманным взором, напоминающее красную, голую, словно обваренную зверушку с криво завязанным крупным пупком, на середине которого насохла, запеклась твоя родительская кровь. Ой как много еще надо сделать, чтобы из этого чуть шевелящегося, полуслеплого и беспомощного дитяти получился человек, чтоб встал на ноги и пошел в люди...

Далек и сложен путь книжки к читателю, путь, похожий на человеческую судьбу, и не случайно получилось у меня это сравнение. Я где-то понимаю графоманов и не удивляюсь их упорству в труде — они ведь тоже переживают радость творчества, восторг ожидания, а если получится дитя недоделанное, уродливое, порой без глаз и носа — это уж дело шестнадцатое — свое дитя все равно всех любимей, так же, как и «моя мама всех красивше!»

Черновик повести я написал за три дня. Не говорю о голове и о сердце, в каком они были состоянии, могу ска-

зять, что даже рука у меня зашевелила в кисти, и на пальце у меня получилась мозоль от ручки.

«Так писать нельзя!» — говорили мне добрые люди. И сам я знаю, что нельзя, но иначе не умею. Сложилось месяцами, ничего не делаю; убеждаю себя научиться работать и отдыхать планомерно, однако как дело доходит до работы — все полетело вверх тормашками: и сон, и покой, и добрые намерения.

Вообще-то все работают по-разному. «Всяк дурак по-своему с ума сходит», — вот и все, что я могу сказать о работе писателей, которых знаю. Вижу и знаю теперь, проработав в литературе тридцать лет, что учить писать — это все равно, что учить делать детей, то есть низвести интимную тайну до общего обозрения и применения, что ли, но и это ведь ничего не даст, у всех ведь еще свой характер, темперамент, физиология, мудрость, дурачность — и то своя! И от нее, от дурачества-то, да еще от многих неприятных вещей и происходит то, что называют уважительно — тайнами творчества, — и, не боясь повторений, добавлю: тайна творчества так же не проста и дает такое же редкое счастье, как тайна рождения человека. Я и теперь, уже несколько усталый от жизни и лет своих, с прежней запальчивостью предпочитаю судьбу великого певца — Марио Ланцо, который, закончив арию легкомысленного герцога, вероятно, уже с остановившимся сердцем, вышел за кулисы, упал и умер. В тридцать восемь лет! Но его жизнь мне дороже и ближе, чем жизнь одного редкостно влюбленного в себя майора. Он до самой пенсии работал в одном из мрачных отделений Бутырской тюрьмы смотрителем, жил неподалеку от «производства», на Каляевской улице. В силу изменения общественных, внутригосударственных ситуаций — его «предприятие» потеснили, и он, оставшись не у дел, досматривал семью свою и держал домашних в напряжении, будто эков в Бутырке, и до того берег и лелеял свою бесценную жизнь, что обжаривал хлеб на сковороде, обваривал кипятком зеленый лук, ел из отдельной посуды, чтобы, Боже упаси, никакая общественная «микроба» не попала, не подточила бы его здоровья. В своих собственных глазах он сделался столь драгоценен, что всех остальных ставил ниже павозного червя. Привычка к обесцениванию человеческих жизней, угнетение их певолей и подчинением на протяжении многих лет дали столь закономерный результат. Кончил, однако; майор свои дорогие дни в муках мучени-

ческих — и яростная самосанитария не помогла — умер от рака, и никто его не помнит, не помнит добром, даже дети родные. Не-ет, лучше уж допеть свою арию, закончить ее, пусть и на последнем вздохе.

Разрешившись в три дня черновиком в сто двадцать страниц, совершенно обалделый и счастливый, я оглянулся вокруг и обнаружил, что пахожусь на Западном Урале, в деревне Быковке, в своей избе, которую думающие обо мне хорошо городские знакомые именуют дачей, в избе давно не топлено, на часах — десять утра и, значит, последнюю ночь я не ложился спать (нехорошо — жена будет ругаться!), но ее, жены, слава Богу, тут нет, и я один и что хочу, то и делаю! «Гр-р-роми захватчиков, рр-ребята-а!» — заорал я и стал затоплять печь. Дрова сухие, березовые, печка железная, колено трубы вставлено в раструб русской печи — гудит сооружение огнем, потрескивает — в избе веселее и теплее делается. И тут я услышал громкие рыдания во дворе: в порыве творчества забытый мною вовсе пес мой Спирька ревел на всю деревню, запертый под крыльцом. Я побежал во двор и услышал, как Спирька бьется в своей каюте, которую мой отец, «просоленный моряк», звал — губахтой. Я отворил дверцу и, чуть не сбив меня с ног, Спирька бросился с «губахты» на меня и от радости поцарапал мне когтями брюхо.

Я был довольный и счастливый, заголил рубаху и спросил: «Что ты, зверь, делаешь?!» Спирька лизнул меня в брюхо своим горячим сиреневым языком, впереди меня ворвался в дом и загремел чашкой, в которой я ему приготовил еду, но забыл ее вынести.

У меня кончился табак, хлеб — все кончилось и, главное, хотелось поскорей домой, прочесть черповик жене, позвонить в Москву и похвастаться Александру Николаевичу, как я тут ударно работал. Но попасть домой было не так просто. Пароходы ходить перестали, лодки вытасены на берег, лед не встал, да и заберег-то еще нету, снег раза четыре уже выпадал и спова оплывал, затаившись лишь по ложкам и буреломникам, а его со всех сторон просасывало, точило, уносило, растаскивало, мокрежь тяжело висела, брызги воды не светились, а свинцово падали, бились о пластами слежавшиеся на земле листья.

Слышал я, будто на воде оставлена Сылвенская переправа — такой белый катерок, почему-то кинутый на Камское водохранилище с Енисея, и везде у него по стенам цветные фото родных мне, сибирских видов. Столбы:

«Дед», «Перья», «Колокол», и даже в одном месте излучина реки спята, а по пей, с букашек величиною, рассыпаны избы моего родного села Овсянки.

Привязал я Спирьку за речкой, у бабушки Даши, на постой, и под горестный его плач, с черновиком в рюкзаке, стриганул на участок Быковская база, куда этот самый катерок, по слухам, еще захаживал.

«База!» — пришло же в голову кому-то такое название! Располагаясь в устье речки Быковки, спертой подпором водохранилища, была здесь сплоченная гавань; сам поселок, по пузо в грязи, пьяно валялся меж двух косогоров, разъезженных, раздрызганных гусеницами тракторов, заваленных железом, проволокой, бесхозно гниющими лесоотходами.

Пустынно было в устье Быковки, тихо в поселке — сезон всюду кончился, всякий люд, как рабочий, так и праздный, покинул сии берега. По водохранилищу гнало мелкую волну, и она позванивала обломками тонкого льда по всему заливу, шевелила осклизлые бревна, брошенные у берегов и по берегам. У бедного костерка на берегу сидело человек с десятков народу: мальчик в легкой, даже легкомысленной по такой поре курточке, старик с батожком, несколько работниц стекольного завода, живших по одну сторону водохранилища, работавших по другую, на станции Сылава. И еще была там в шляпке канареечного цвета, аляповато покрашенная молодка не молодка, девка не девка, словом, женщина неопределенных лет.

Я спросил насчет переправы. Старик шевельнулся, пристально, словно бы изучая, всмотрелся в меня и сказал:

— Кто е знает? Вчерась была. А будет ли сѣдни?..

— Будет, будет! — затрещала дама в канареечного цвета шляпе. — На той стороне негу, значит, в Троицу ушла, а из Троицы обязательно завернет. Как им не завернуть, они же знают же, тут же ж люди...

— Завернут, когда не папьются аль настроение будет, — мрачно заметила пожилая работница стекольного завода, хорошо, видать, изучившая нравы местных флотоводцев.

Сидели долго. Одна из женщин принесла топор, мы с нею попеременно перерубили сухое бревно, накатили его на было утихший огонь, и костер паш затрещал и оживился. Мальчик, отогревшийся возле огня, то и дело убегал из зауевя за каменный бычок, выглядывал катер, но

скоро, обожженный холодным, сырым ветром, возвращался к огню и уныло ронял:

— Нет, не видно.— И почему-то виновато глядел на меня при этом.

Где-то я видел этого мальчика, но где, вспомнить не мог. Скорее всего на Винном Заводе, что по ту сторону Быковского залива, и, значит, мальчик перебирался сюда по скользким, оледенелым бревнам полузатонувшей гавани, там нырнуть — раз плонуть. Гнала какая-то большая нужда мальчика в легкой спортивной курточке на ту сторону или в город.

Мальчик еще раз нетерпеливо выбежал из заустенья, выглянул за каменный бычок и, как бы не веря самому себе, тихо уронил:

— Есть! Идет!

Все мы — набралось народу уже более десятка — выбежали за бычок, чтоб нас видно было, и замахали кто чем мог, а то еще, чего доброго, минуют нас товарищи речники со своим судном.

И катер сделал вид, что проходит мимо, но потом нехотя, как-то по лебязьби царственно развернулся, вошел в заливчик, ткнулся в отмель метрах в восьми от берега и прямо в воду выбросил трап.

Народ заметался по берегу: кто в ботинках, кто в кедах, кто в коротких сапожках, умоляя матроса, надменно стоявшего на носу, и капитана, пахохленно черпеющего в рубке, опершегося на руль и глядящего мимо и выше нас, в какие-то свои, зовущие дали, — сойти с отмели, пристать чуть ниже, пусть и на ветру — мы готовы стерпеть и холод, и ветер, только чтоб переправиться, или, наконец, к бревнам гавани притиснуться — пусть и скользко, и опасно — мы на все готовы.

Но на носу возле трапа стоял каменным изваянием матрос, и презрительная, пьяненькая улыбка трогала его изветренное, рано постаревшее лицо, и все так же смотрел в заманчивые дали товарищ капитан, который, как только истечет срок стоянки — пять минут, даст какую-то заунывно-привычную лагерную сирену и, сердито фыркнув мотором, отчалит восвояси, и плевать ему на этот гомотящий пародишко, что копошится и волнуется на берегу. Навигация копчилась? Копчилась! Когда она кончилась? У всех добрых людей еще в октябре. А сейчас какой месяц? Декабрь! Второе число! И что? Его вина в том, что там, вверху, перегреблась вся эта небесная канцелярия и

забыла о заведенном на земле порядке? Зиме быть пора, льду быть пора, а тут вода, и начальство заставляет плавать. Заставляют — пожалуйста! Но пикто его не заставит менять место стоянки. Обмслело? Плевать. Не он убавлял воду, опять же она, эта разгребанная небесная канцелярия, стало быть, пусть она и отвечает за переправу...

Нет, не мог ни печестивый паршивец-капитан, ни его завшивленный забудыга-матрос убить праздник в моем сердце. Я четырнадцать лет носил под ним повесть, она там шевелилась, что горячее дитя, не давала мне спать, жить. И вот я опростался от нее, и легкость во мне необыкновенная, и светло-то в голове, и всех любить и обнимать хочется, ибо без вина я пьян от самосотворения, что ли, и я сказал себе: «Хрена, товарищи водники! Мы Гитлера уделали, уж вас-то как-нибудь заламаем!..» На мне были сапоги с длинными голенищами, я их развернул и, подставив спину, сказал мальчику:

— Садись!

Интеллигентно воспитанный мальчик проявил нерешительность, но его начали поощрять, шикать на него, и он робко взобрался на меня, обнял за шею холодными, худыми руками. Я побрел по воде и, свалив мальчика на трап, пошел за стариком. Тот долго кряхтел, бормотал что-то, взбираясь на меня, наконец, угнездился и скоро уже на карачках, хватаясь за поперечины трапа, полз вверх.

— Жми, дед, на басы, деревня недалече! — кричал, похотывая, матрос.

Дед взобрался наконец, встал на носу катерка, покачал головой и плюнул себе под ноги. «Измельчали старики. Мой бы покойный одноглазый дед сей минут огрел бродягу багогом и в выраженьях не поскупился бы. Эх, времена, времена!.. И правы!»

Ну в самом деле, где еще, в какой цивилизованной стране можно увидеть такую вот картину: стоит пассажирский катер, мужик на себе таскает пассажиров, тот, кому следует их обслуживать и уважать, издевается над ним и над пассажирами, капитан же, его непосредственный, так сказать, начальник, смотрит вдаль и о чем-то пространственно мечтает, не замечая куражу и даже торжествуя, что на нас отводит поганую душу его подчиненный. Летом эти молодцы забавлялись так: пристанут, возьмут людей, там, с горы, глядишь, трусит старушонка, бренчит бидоном — за керосином собралась, на спине ее громоздкая котомка: с продажей и с гостинцами дорогим

деткам — в город. Катер стоит, ждет, но как останется бабке бежать шагов десять до трапа, капитан крутанет сирену, матрос лебедкою поднимет трап, да еще крикнет потрясенной бабке:

— Следующий раз дольше спи!

Уж меня ли удивлять отечественным хамством! Мне ли не известно «культурное» паше обслуживание пассажиров на суше и на воде — сам железнодорожником был. Но даже мои земляки — енисейские разбойники — мелко плавают по сравнению с камскими водниками, особенно на местных линиях. Асы! Они словно бы учились в спецшколе, где слова: «вежливость», «уважение», «культура» — выворачиваются, словно бросовая шуба, грязной овчиной паверх.

Последней тащил я даму в канареечной шляпе, и она отчего-то все елозила на мне, повизгивала, грея мой загревок шлепками и горячим местом. Чтобы поугатать нас, что ли, капитан крутанул сирену, дал полный газ, заработала было лебедка, поднимая трап, но я бегом достиг трапа и свалил дамочку на него, а сам уцепился за конец; матрос милостиво подождал, когда мы взойдем на палубу. Наверху, у кассы, доставая гривенники, все меня встречали будто героя, благодарили, и я, запыхавшийся, счастливый, шутил, ободрял парод и даже хлопнул крашеную дамочку по мягкому месту, отчего она игриво ойкнула и повела жгучим взглядом, в нос напевая:

— Знать бы, на каком это таком веселом мужчине мы ка-аталися?..

— А на писателе! — бросил матрос, пробегая мимо кассы.

И испортил песню, дурак! Интеллигентный мальчик посиел еще больше, старичонка уставился на меня, как на новоявленную икону чудотворного Спасителя, дамочка в канареечной шляпе попятилась и отчего-то сразу зашепелявила, начала просить прощенья:

— Ой, извините! Извините, пожалуйста!..

— Да чего там? Все мы свои, все советские люди! — пробовал я направить людей на прежний, беспечный лад. — Сегодня они нас, завтра мы их... обслужим.

— Нет-нет, что вы! — настаивала дамочка. — Мы слышали, что здесь где-то живет и работает писатель, но вы так просты с виду и в обращении. Уж извините нас... — И вдруг взвилась: — Негодяи! Тут такие люди ездют, а они издеваются!..

Ушел я вниз, ближе к клацающему мотору, думая о живучести сюжета обожаемого Александром Николаевичем классика. Все тот же примитивный вроде бы и бес-сменный у нас, на Руси, да у арапов, паверное, только и возможный — Тонкий и Толстый. Не раз и не два ругал меня и еще кого-то обитатель Винного Завода, умнейший человек, ныне уже покойный, Борис Никандрович Назаровский, тоже бредивший Чеховым: «А вы что, одно сладкое хотите получать от чтения? Чехов на «сладкое» не годится. Читая его, неловкость испытываешь за окружающую жизнь, за людей, за себя, начинаешь ощипываться, заглядывать в себя, застегнута ли ширинка — проверять. Его глазами жизнь видишь — во какая сила убеждения! И всюду находишь подтверждение тому, что он изобразил «фактологическую сторону жизни», — как сказали бы нынешние велеречивые литературоведы; вроде пьяного мужика всюду патыкаешься на забор, рыло занозишь, нос разобьешь, исцарапаешься об эту «фактологию». И все это тихонько, ненавязчиво поведает грустный, сострадающий тебе, но в то же время и вкрадчивый Антон Павлович — ждешь-ждешь, когда душу сладко знобить начнет, сердце заноеет от роковой любви и счастливого конца, а он или разрыдается вместе с тобой, или в тот же грязный забор тебя мордой. Вот он какой, застенчивый доктор в пенсне, с бородкой провинциального семинариста. Среди наших могучих и беспощадных писателей, быть может, более всех беспощадный. Но уж и страдающий сильнее многих — это совершенно точно»...

«Вот приеду в Москву и порадую Александра Николаевича разговором с Борисом Никандровичем, и про случай на переправе расскажу. То-то распотешу критика!..» — думал я, подремывая на катере.

На этот раз или замерзли водники, или надоело им измываться над нами, перешли водохранилище быстро и враз учалились, а то раза по три подходят к дебаркадеру, проделывая несложную операцию учаливания, после чего, стаптывая друг друга, люди бегут к электричке, вверх по крутому яру, и, глядишь, только хвост электрички мелькнет красным оком на заднице.

Успели и билеты купить, и вагоны по душе выбрать. В вагонах полупусто, за окнами нагой лес, вдали отливает стальным блеском широкое водохранилище. У слияния рек Сылвы и Чусовой, возле скалистого обрыва, легкой корочкой темнеет рыбацкая лодка — там, на ямах осенью

сильно брал в прежние годы окунь, случался судак, пока было кому брать, теперь там ни окуня, ни чешуи. Все куда-то к чертям подевалось, все поотравили, поисхрыпали родители будущей жизни...

«Отговорила роща золотая», — незаметно для себя зашел я под стук колес и так вот, со щемливо-грустным, но все же легким настроением приехал в город, достиг дома — на стиральной машине, стоящей в коридорчике, телеграмма — детки получили и даже не распечатали.

Разрываю бумажную перепонку, читаю раз, другой, третий:

«Александр Николаевич умер — Наташа Макарова». Александр Николаевич умер...

Когда жена вернулась из магазина, рассказывала она после, застала меня на кухне, в шапке, в сапогах, со старым рюкзаком за плечами. Я сидел и горько плакал. И, давно не видевшая меня в слезах, она бросилась ко мне:

— Что случилось?

Вместо ответа я протянул ей телеграмму.

Через несколько часов первым попавшимся поездом ехал я в Москву. Я торопился, словно мог еще что-то поправить, чем-то приостановить печальный исход или увериться в том, что все это неправда, что произошла какая-то досадная ошибка. Но не зря говорится: «Тихо едешь — беда догонит, быстро едешь — сам беду догонишь».

Первым попавшимся поездом оказался почтово-пассажирский, идущий из Владивостока. В нем шла беспробудная пьянка. Пьянствовали все, начиная от начальника поезда и кончая пассажирами, в большинстве своем демобилизованными солдатами и матросами.

Ремни из-под вагонов, крутящие динамо-машины, давно были утеряны и пропиты, в туалетах по щиколотку воды и грязи, которая растаскивалась обувью по коридору. Зловеще вздрагивали и качались вагоны, ахали не закрытые в тамбурах двери, что-то звенело, дребезжало, темные, неосвещенные вагоны, заполненные удалыми песнями и смехом, мчались на всех парах по России.

Поезд следовало остановить, сменить поездную бригаду, отдать под суд начальника поезда и прогнать с работы проводников. Но шутка сказать — остановить поезд! Да еще почтово-пассажирский! И его переталкивали со станции на станцию, с «локтя на локоть», из отделения в отделение — подальше от греха.

В нашем купейном полупустом вагоне тоже вспыхну-

ло веселье — началось с нескольких пассажиров, пере-
метнулось на двух молодежьких и миловидных проводниц.
Тут же и солдаты появились. Какое без солдата веселье?
Девки смекалистые попались: припили у солдат, что име-
лось, сплавили их из своего купе, потом и из вагона, за-
крылись и притаились — «прокрутили динамо» — так это
ныне пазывается. Солдаты рассчитывали, что дружба пой-
дет дальше и глубже, давай ломиться в вагон, крушить
изменниц боевыми словами. Проводницы ответно их креп-
ким желдорматом крыли, особенно одна, в меховой шап-
ке, лговала. Я не выдержал, вышел в коридор.

— Девушка! Девушка! Вы такая молодая, красивая,
воп на вас шапка так славно сидит — и валите такими
матюками!

— А чё! Они валят, мне уступать? Не уступлю, хоть
пусть они и рэзвоешны!

Что тут было делать? Я сказал:

— Молодец!

На что неустрашимая проводница ответила стихом:

— Кабы я не молодец, так и начальник нашего поезда
был бы не засранец!

На этом разговор иссяк.

Тема исчерпалась.

С опозданием на двенадцать часов рано поутру мы
примчались в столицу. Никто меня не встречал, не слы-
шалось знакомое: «И чья же это папа приехала?» Со стес-
ненным сердцем, с заранее возникшей виной перед кем-
то и перед чем-то сел я в такси и поехал по почти пустын-
ному Садовому кольцу на Хорошевское шоссе, в дом Ма-
каровых, стараясь не думать и все же непрерывно думая
о том, что там меня ждет...

Встретила меня гнегущая тишина, какой и положено
быть в доме покойника. Лишь Карай поднялся, с завыва-
нием зевнул, растворив огромную пасть, подошел, обно-
хал меня и махнул хвостом. Узнал.

Вышли из кухни Аннета, Юра, Толя, обняли меня,
шепотом попросили быть потише: «Мама, кажется, усну-
ла».

— Как она?

Аннета махнула рукой, что, мол, спрашивать.

— А вообще-то пока держится.

— Где Александр Николаевич?

— Здесь, — указала Аннета на дверь большой комна-

ты. Она была и столовой, и тахта здесь стояла, на которой спала хозяйка: две комнаты — не разбежишься.

— Кто там? — послышался слабый голос из кабинета Александра Николаевича.

— Виктор Петрович приехал.

— Пусть зайдет. Сначала сюда пусть зайдет...

И я робко переступил порог кабинета, где столько много сидел, столько много переговаривал, переслушал и где порой и спал, на полу, меж стеллажами и столом. На месте, где привык видеть друга, лежала погасшая, бледная с огромными мешками под глазами, жепщина. Пахло лекарствами. Воздух был еще более сперт, чем прежде. Книжки горками возвышались на столе, и среди них сиротливая, как игличка, не ставшая на крыло и брошенная родной стаей, сидела черпильница-непроливашка с древними, засохшими на ней потеками и бороздками «на губах», о которые пишущий вытирал перо. Самой ручки не было, видно, укатилась со стола, упала, но вразброс, там и сям лежали карандаши, ломаные и новые шариковые ручки, рецепты, записки, белая кружка с питьем.

— Вот какое горе у нас... Ждала, знала, что грянет, а все равно врасплох... — слабо, с перерывами заговорила Наталья Федоровна. — Как он мучился, бедный, как мучился, если б вы знали...

Через какое-то время я, еще более робко, ступил за дверь большой комнаты, слабо надеясь, что уж если не всю квартиру, то хоть эту комнату отремонтируют, приберут, пока Александр Николаевич был в Болгарии, чтоб хоть в собственном жилище было светло и уютно больному человеку.

Нет, не отремонтировали, не прибрали. Видно, и в голову не пришло родным покойного такое решение, видно, и не приходила никогда мысль о том, что отцу тоже надо как-то помогать, создавать условия или хотя бы помнить, что они тоже «живут не одни».

Лишь вытащена была тахта, на которой умер Александр Николаевич, завешено чем-то зеркало на старом, неуклюжем гардеробе и убрана карточка со стены, на которой спяты были жизнерадостные, улыбающиеся он и она — молодые муж с женою. Там, где висела карточка, обнажилось невыгоревшее пятно штукатурки, на всем остальном все так же лежала пыль, тепела паутина по углам, пол был подтерт мокрой тряпкой, отчего обнажились щели в нем, трещины в шпаклевке, прослойки старых,

одна на другую наложенных красок. Шторы на окнах были полузакрыты, и от этого комната выглядела еще сумрачней, пещерней. И среди этой комнаты, сделавшейся просторной без тахты, стола и стульев, в небольшом гробу сиротливо лежал маленький, усохший человек, в котором с трудом уже узнавался Александр Николаевич Макаров.

Говорят: «Болезнь съела». Да, это та болезнь, которая действительно съедает человека, высасывает соки, испепеляет плоть, мускулы, волю, силу, характер — она уничтожает человека всего, без остатка, и только потом приканчивает, особенно такой вот рак — рак поджелудочной железы. Через несколько лет на моих глазах от этой же болезни этой же самой железы, которая, сказывают, и величиной-то всего ничего, будет умирать мой брат, и мне доведется увидеть, что делает с человеком эта проклятая болезнь, — Божья кара, наверное, детсадовская шутка по сравнению с нею.

Я пододвинул стул и долго сидел возле гроба, глядя на обнажившиеся кости лица покойного, на обтянутые, почти обклеенные черной, горелой кожей. На всем лице лежала печать долгого, невыносимого страдания, исчертившего морщинами мук лоб, подглазья, бороздами, глубокими и темными, будто плугом проведенными, пролегли они от угла рта и крыльев носа, и только поза покойного с покорно сложенными на груди исхудальными руками, с плотно, в вечном сне смеженными глазами, свидетельствовала о том, что муки все-таки кончились, что страдающее тело, плоть его и дух наконец-то обрели успокоение, и хотелось по-древнему, по-старушечьи перекреститься и сказать: «Слава Богу, отмаялся болезный...»

О чем я думал, сидя у гроба покойного почти до самых сумерек? Конечно же о нем прежде всего, о его жизни, потом и о нас, остающихся без него, и о писателях, и о литературе, да и о родичах его тоже, которые от горя и безалаберности еще не совсем понимали, как я скоро убедился, — какая потеря их постигла, что выпал стержень, державший всю постройку, и семья немедленно развалится, расплзется по разным углам.

Но главное, о чем я думал (и что заслоняло пока близлежащие семейные неурядицы и разлады), это о том, что в современной нашей литературе некому пока заменить Александра Николаевича, что потихоньку, исподволь, как бы находясь в стороне, он все время, в последние годы в особенности, следил за нашим «хозяйством», пристально

следил и, опять же незаметно для многих, но ощутимо влиял на него. Я более, чем кто-либо, знал об этом. Немалых духовных сил стоила ему эта забота о «нашем хозяйстве», о чем свидетельствуют не только опубликованные здесь письма ко мне, — а писал он их много и многим, — но и вся работа его, весь труд, весь путь, не всегда ровный, но всегда выверенный сердцем, случилось, и против него, но вся жизнь и работа Александра Николаевича давала полное право сказать у его гроба любимые им стихи: «За каплю крови, общую с народом, мои вины, о, Родина, прости...»

В литературе, в особенности публицистической, образовалась пустота, и не скоро, не вдруг заполнить ее дано. Вот уж прошло много лет, но она так, по-моему, и не заполнилась — полповесно и полноценно; что-то там мельтешит, в этой пустоте, суетится, бормочет и очень часто выставляет свои «паряды» вместо мыслей и искренних забот о жизни и движении литературы, которая одно время сделалась совсем уж однолика, аллилуйная, и многие, а не единицы в ней стали вроде корабельных швабр, о которые вытирают ноги или которыми моют полы в придворных коридорах и высоковерховных галюнах.

Со скрипом, с муками, с потерями и надсадой выпрастывалась наша литература из пут так называемой «лакировки действительности», от воспевания культа и просто от привычной, удобной лжи, которая хорошо оплачивалась, чтобы через короткий срок вернуться к исходным рубежам, опять к привычному культу, к его привычной демагогии, к лизоблюдству, к кормежке из отдельного корыта, возле которого с протянутой лапью толкуются «художники», вопя: «Возьмите меня!», «Дайте мне!», «А я дам вам!..», забыв житейское правило крестьянских баб: «Начнешь давать — не поспеешь штаны скидывать!»

Из края в край лежала надсаженная войной страна; погруженная в летаргический сон, молчала обездоленная деревня, в которой жило ни мало ни много — более ста миллионов человек, но ее словно и не замечали, не снисходили до нее, от нее отмахнулись, как от чего-то малоприятного. Не любили и не любят блистательные наши вожди русскую деревню, вспоминали и вспоминают о ней только тогда, когда пужда припрет, когда пекуда деваться, когда без нее, постылой, пропадет все, и великие идеи тоже, когда требовалось выкачать из нее хлеб, силу, кровь. Вот и обескровела она, вот и погасли ее тысячи лет, хотя

и тускло, но светившиеся окна, и вместо усталой, замолкшей деревни, где не стало мужиков, где по десять-пятнадцать лет не слышалось детских голосов и смеха, где все еще ходили и вымирали полуголодные, оглушенные войной и тяжелой работой, раньше срока состарившиеся женщины, угодливые дельцы снимают на киноленты селения, где счастье бьет через край, и даже такой одичавший от безделья, потерявший ощущение времени талантливый человек, как режиссер Барнет, снимает фильм о таком деревенском рае, где секретарию райкома ничего другого не оставалось, как выкатить роля в поле и заиграть на нем браво, чтоб дело спорилось, и запеть песню на слова вечного «страдальца» и «певца России» Виктора Бокова: «Гляжу в поля просторные, на нивы золотистые, а вижу брови черные, глаза твои лучистые...» А ему вторил другой, не менее жизнерадостный «певец»: «Посмотри, милый друг, на полях золотые разливы,— это наша любовь расцветает вокруг, как же не быть мне счастливой».

А в это время мужик без руки и ноги, потерянных на войне, Петр Степанович Латышев, бригадир из колхоза «Красный пахарь» Чусовского района Пермской области, подрезав шинель — изнашивались полы, да и ходить по грязи в короткой одежде удобней,— дышал в деревушке Махнутипо на каждый росточек и колосочек, выводил какие-то сорта овощей, хлебушек сея, выполняя непосильные поставки, собирая насадные налоги, агитируя плачущих баб на добровольные займы, ломал голову над тем, как бы все же баб-то сохранить, чтоб не примерли последние, чтоб не убежали в близкий город, и сам не спал сутками. Случалось, завязнет деревушкой в грязи, и вытащиться не может, а баб кликнуть стесняется; так, чтоб не застревать в грязи, ляжет на бок и перекатит через ложок. Бабы с вопросом: «Где валялся?» И, человек непылющий, да и не на что было пить, он клебал на себя: «Да напился как свинья...»

Кто-то должен был взять на себя отвагу, проявить мужество и рассказать об этих вот Латышевых, о миллионах русских баб, о страданиях и подвиге пародном. И коль выпало на долю родной литературы заменить собою церковь, стать духовной опорой народа, она должна была возвыситься до этой своей святой миссии.

И она поднялась! Хватило снова, в который раз хватило сил, таланта, неугасимой энергии выплатить «неустой-

ку» нашему народу, подавить силой своего великого духа прекраснотушие и возвыситься до правды, горькой, не очень удобной, порой жестокой, но единственно возможной в жизни большого и трудового народа.

Быть пророком и даже проповедником всегда трудно, однако без попыток и потуг на это литературе существовать невозможно. Переваривая ту информацию, что обрушивается со всех сторон на нас, приходишь к невеселому выводу, что человечество, преуспев в одном, то есть в индустриальном развитии, отступило назад в духовном — оно попросту пачало дичать, подтверждая это многими деяниями своими — лицедейством, ерничеством, цинизмом и в особенности внешним обликом.

Многие современные люди, не видевшие в глаза не только тайги, но даже обыкновенного леса, ведут себя среди людей, на городских площадях и улицах, как в тайге, шествуя по жизни без каких-либо указателей, прежде всего нравственных, и вид у них, и мораль дикаря-таежника, иным ультрасовременным жителям уже и до обезьян недалеко. Знаменитую английскую манекенщицу Пегги спросили, знает ли она что-нибудь о Шекспире? «А, это тот парень, что написал чего-то о черномазом парне, который задушил белую женщину...» Она слывет интеллектуальной манекенщицей. Можно за примерами и не плавать за море, можно их и дома сколько угодно найти. Не приходится уже говорить о чести, благородстве, нежности — эти качества не только утрачиваются, но и становятся обременительными, лишними, как бляхи, шаркунцы и прочие украшения на сбруе лошадей.

Недаром же так захлебно воспевается благородство, если его удастся встретить журналистам, и недаром же столь пастойчив призыв (и кабы у нас только!) искать «положительного героя», показывать «положительный пример». Не странно ли, наше передовое общество, столь много потратившее сил и крови на то, чтобы создать идеального человека, то пряником, то кнутом поощряет «искать его» и «показать», коли не сыщется — выдумать.

Отсутствие духовной опоры и замена его орущим лозунгом и все сокрушающим «героем» казалось когда-то делом прогрессивным, но привело к результатам неожиданным и горьким, идеала не осталось никакого, и мы не в состоянии даже выдумать что-либо, а вот наши «идеальные герои», будь то коммунист, труженик-страдалец, самоотверженный космонавт и т. д., — это лишь жалкое по-

добие все того же идеального «героя» — Иисуса Христа, и заветы Христовы, чуть подрумяненные. Но сколько крови ушло на эти «румяна»! «Не убий», «не укради», «не пожелай жены ближнего своего», «трудись в поте лица своего и будешь счастлив плодами труда своего», — слегка подредактированные заповеди эти попали в обязательства ударников труда, сделались их основным направлением в делах и в стремлении к совершенству.

Литература наша проповедует преданность идее (Богу новому), власти, обществу и попутно с этим, как неизбежное, прославляет терпение, послушание, воздержание и призыв к вечному беспрекословному труду, во имя царства лучшего (ранее — Божьего), — сменились вывески, остался обман, который творится уже нашими руками, в первую голову писательскими, и оттого, быть может, так снисходительно относятся к нам власти, меняются вожди, но снисхождение не меняется. Мы помогаем властям околпачивать народ — и оттого двурушничество искусства, его зависимость достигли уже небывалых размеров, неслыханной развязности и пагубного самодовольства.

Горек мой вывод, горек более, что на моих глазах лучшая часть нашего общества разрушилась, погибла в голоде, войне, преобразованиях и непосильном труде ради худшей, ничтожнейшей части своей.

Ну, а что же мы? Мы ничего. Мы живем. «И вертится планета, и летит к своей неотвратимой катастрофе». Такое человечество, какое есть ныне на земле, не может долго существовать, да и нет у него на это морального права, одного животного желания — жить, сжигая зеленую земную красу в смердящих трубах, — недостаточно, да оно, нынешнее человечество, и недостойно памяти того человека, который жил до нас.

И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насменкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.

Мысли все это не новые, паверное, банальные, но вот живешь на свете и после пятидесяти лет узнаешь, что воробей — самая свободолюбивая птица: в клетке умирает.

Я очень люблю свою Родину, Россию, но не в нынешнем ее облике — в гражданской глухоте и полураспаде, паверное, я уже и не люблю, больше жалею как старую, неизлечимо большую, пемощную мать; и все чаще и чаще

тянет меня забыться, ужаться, унести к куда-нибудь от этого гама, от напыщенных, из ума выживших, дряхлых вождей, обвешанных золотыми самонаградами, обремененных званьями и всеобщим подхалимажем, от безумства, все ощутимей дышащего холодом войны, уехать куда-нибудь на Фарерские острова — они на краю света, аж за отшельницей Атлантики — Исландией, там и солнце-то бывает одну декаду в году, но там нет ни вождей, ни партий, ни грохота прогресса, там живут десять тысяч трудового народа, фарерцы ловят рыбу, разводят овец, строят жилища из глины, камня и травы, живут без вражды, без предчувствия гибели, живут способом самоуправления, отроду не воевавшие и не знающие, что такое оружие...

И все-таки диво дивное: общество, загнанное в угол, оробелое, привычное стоять руки по швам, пережило и переварило не только разруху и ужасы войны, в большинстве своем порожденные бездарностью и фанфаронством наших «отцов». Однако уже есть такие писатели, и ученые, и деятели культуры, и их с каждым годом все больше и больше, кому уже на всех наплевать, кому удастся забывать не только близких и дорогих людей, но даже историю родную, либо делать вид, а то еще проще — подкрашивать ее, как пасхальное яичко. Вот только что на ладони было продолговатое яйцо, не очень чистое от старого гнезда, порой в насохшем курином помете и даже в мазках сукровицы, но бросили его в чашку с голубой краской, повертели, высушили — и никаких пятен на яйце, небесно-голубое оно. Во Франции вон, говорят, даже кур приучили голубые яйца нести, в Израиле будто бы до того дошли, что куры несут яйца из одного желтка...

Ах, как хотелось бы некоторым деятелям, чтоб и в прошлом у нас все было красно и ладно и мы получали бы только голубое яичко, со сплошным желтком! И вот ведь оказия: мне тоже хотелось бы, да «...где топор, что память враз отрубит», да и «не те годочки», — как тяжело вздохнул перед смертью великий гражданин нашего времени Твардовский, и страшно зато забываться. «Кто прячет прошлое ревниво, тот и с грядущим не в ладу!» — опять же мудрый Твардовский. И еще: «Народ можно обмануть — историю не обманешь», — это уже всегда для России современный историк, потому что он не просто историк, но был и остается настоящим патриотом Отечества своего.

В сумерках в комнату не вошла, почти вползла На-

талья Федоровна, пощупала за руки покойного, каждый палец по отдельности, погладила на лбу его волосы и тихо сказала:

— Идите, Виктор Петрович, поужинайте. Что же вы целый день голодный тут...— И, отвечая на мой немой вопрос, добавила:— Я пока не хочу и не могу есть, но я потом зайду к вам на кухню.

И она осталась одна.

На кухне был уже подвыпивший Толя, родственники, приехавшие из Калязина, из угла в угол шаталась огромная, нелепо одетая и сама вся какая-то нелепая, нелепости бормочущая старуха — мать Натальи Федоровны. Мы немножко выпили, стали ужинать. Толя было метнулся еще за бутылкой, но вошедшая в кухню Наталья Федоровна попросила:

— Не надирайся, ради Бога! Умоляю. Сколько дел...

А делать-то никто почти ничего не делал. Лишь Наталья Федоровна куда-то звонила, умирающим голосом говоря: «Говорит вдова Макарова, да-да, Александра Николаевича...— И в зависимости, очевидно, от того, с кем говорила, иной раз добавляла: — Говорит несчастная вдова...»

Быстро она вошла в роль страдающей вдовы, но для настоящего страдания, знал я, время еще не наступило, пока еще оно, страдание, оглушило только, и оттого бесчувственно, заморожено тело, мозг, оттого и не так тяжело. А вот потом «отходить» начнет человек, и горе возьмет по-настоящему, за сердце, за печенки и селезенки, отпадет надобность в игре, наоборот, придет пора хоть немножко забыться, хоть часть его куда-то деть, на кого-то переложить.

Дело с похоропами осложнилось. Было третье декабря, через день праздник Конституции, а там еще и выходной. У нас по стране вообще, в столице же в особенности, задолго до выходного или праздника прекращается всякий труд, останавливаются службы. Надо было хлопотать, спешить, и на завтра я отправился в похоронное бюро, что в проезде Сапунова, по-за ГУМОм, рядом с давно известным мне издательством «Советская Россия».

Я ожидал увидеть скрюченного, с разлитой желчью, беззубого старикашку, занимающегося похоронными делами, ну, как у Шекспира или на картинках эпохи Возрождения. Но, отсидев часа два в довольно представительной прихожей, с секретаршей, с вывеской «не курить», с

машинкой, с телефонами, попал к дородному, высокомерному еврею, который утомленно спросил: «Ну, что там у вас?» И только я назвал фамилию, не дав мне договорить, замахал руками: «Нет, нет! С Новодевичьим ничего не выйдет! Не выйдет, не выйдет! Да, мне звонили, и спизу, и сверху, пужно решение МГК на этот счет, а решения не будет — не та, извините, номенклатура. Советую вам, и это вернее — Ваганьковское кладбище, иначе упустите сроки и на него не попадете, и вас-таки загонят за город, куда-нибудь в Митино...»

Я знал, как трудно жить в столице, но мне еще предстоит убедиться — каково-то умереть здесь и попасть в место упокоения, на кладбище. Организатор я никакой, толку от моего визита никакого не получилось, и ни от кого из нас толку не было. За дело взялась сама Наталья Федоровна, походка ее ускорила, голос окреп, на моих глазах воскресал и поднимался для сражения боец.

Но ничего существенного и она не добилась. Договорились было на праздники отвезти покойного в холодную часовню Ваганьковского, старушонки сторожихи и плату за это не брали, «грех с покойного». Макаровы уже домой направились, как одна старушонка, самая, видать, смекалистая и «политицки» подкованная, поинтересовалась: «А не коммунист ли покойник-то?» И ей с гордостью ответили: «Коммунист, да еще какой! Дорожил этим званием, стойко нес его по жизни!»

Старушки поджали губы и наотрез отказались принять покойного в часовню. «Нет-нет, тут Божье место. Везите его в свою партийную организацию».

Наступили праздники. Писатели и всякое начальство разъехались на дачи, покинули свои кабинеты — надо было ждать рабочих дней. На улице заморозило, заждались, морок прошивало серыми полосами снега. Ночевать Анпета с Юрой ушли к себе на квартиру, прихватив кого-то из гостей. Наталья Федоровна увезла мать в ее комнату, где та жила уже много лет, то вымаливая, то требуя к себе внимания. Нас, несколько мужиков во главе с Толей, осталось на Хорошевском шоссе. Толя за вечер хорошо паподдавался, плакал, рассказывая о последних днях брата, и уснул поздно, хлопая мокрым носом. А я лежал рядом, стиснув зубы, и думал о том, чтобы как-то продержаться эти дни, не пить несколько, чтобы не сорваться самому и не дать сорваться, впасть в истерику Толе.

После праздников гроб с телом покойного выставили

в Центральном клубе литераторов. Звучала музыка, были венки, много венков, в них угопал гроб с маленьким, как мне казалось, уже уставшим телом покойного. Не глядя на непогоду и глухой послепраздничный день, в ЦДЛ пришло довольно много пароду проститься с покойным — многим он успел сделать добро, давно работал в «литературном цехе» и, кажется, кроме покойного Ермилова, у него не было в литературе настоящих врагов, или скорее — недругов.

Все было как обычно: шарканье ног, сдержанный говор, смена траурных повязок на рукавах, которые я вместе с кем-то надевал на послушно подставляемые рукава пиджаков. И только скребнуло меня несколько раз вопросом: «Ты что, специально приехал на похороны?» Впрочем, чего же удивляться: у нас, как я уже писал, и детки не всегда приезжают хоронить родителей, тут же всего лишь друг.

И еще угнетала и прямо бесила эта нелепая, полусумасшедшая старуха, мать Натальи Федоровны — она ходила по залу, перекладывала венки и цветы у гроба и на гробе, что-то бормотала, а то и выкрикивала. Люди морщились, и кто-то спросил возмущенно: «Да чья это такая? Выведите ее отсюда!»

Было сказано несколько добрых, человеческих слов на прощанье, гроб вынесли на улицу, где уже не шел, сплошной кашей плыл, перемешивался на земле в жидкую грязь мокрый снег.

Долго и уныло ехали в крематорий.

Очередь. Стоим под дождем. Совсем поредели ряды провожающих. Родственники, калязинские друзья, сын погибшего шофера Юры, стиснутый горем и упорно не желающий надевать шапку; непривычно трезвый, съезжившийся Толя в мокром пальтишке и всего несколько писателей. Я запомнил лишь Борщаговского Александра Михайловича и Павла Железнова — «Пашку», как его называл в письмах покойный, — бывший беспризорник и детдомовец, там и получивший такую выразительную фамилию, умел ценить дружбу и не забывать друзей: если б с неба валил не мокрый снег, а камни — он все равно был бы здесь.

Я иногда горжусь словом «детдомовец», как гордились нашим братом и командиры на фронте — эти не предадут, не выдадут и, если идти в атаку, в окопе пережить не станут.

Наконец-то попали в здание крематория. Никогда я не был в нем, озираюсь, глазею — что-то от фантастической архитектуры, что-то и от церкви или от костела. Распорядительница, пожилая, строго одетая, предупредительная женщина, указала нам занести гроб в подобие кладбищенской ограды, поставить на подобие скамьи. Мы все это проделали. Нам указали расступиться, стать по бокам гроба. Заиграла музыка — виолончелист, несколько скрипок, алыт и еще какие-то струнно-щипковые нежные инструменты заиграли древнюю торжественную мессу, и зарыдал Толя, закрывшись шапкой. Дрогнуло лицо у красивого парня — сына покойного друга Александра Николаевича, и брызнули по нему слезы. Лицо Аннеты будто оплеснули из котелка — все оно было мокро от слез и снега, мокрые волосы выбились из-под темного и тоже мокрого платка; с судорогой перекошенным ртом стояла Наталья Федоровна, ее поддерживали, утираясь рукавами, калязинские мужики.

Говорили прощальное Железнов и я — не помню ничего из того, что говорил Железнов, из своей речи застряли в собственной памяти слова: «Я вторично осиротел...»

И вот женщина-распорядительница вежливо, но настойчиво удалила нас за ограду, возникли откуда-то двое молчаливых мужчин, умело и быстро приколотили крышку к гробу, расступились. Послышалось жужжание, легкий шорох, точно такой же получился звук, какой издавал старый кинопередвижной аппарат — и гроб вместе с подставкой двинулся впиз, во все чернее и глубже открывающуюся дыру, и чем ниже, тем он быстрее исчезал, мчался, улетал...

И вдруг мягко хлопнули створки и закрыли яму, не могилу, не щель, не ровик, вот именно пустую, без стен, без дна яму, ведущую в преисподнюю.

И я, да и все провожающие, стояли, оглушенные мгновенно свершившейся процедурой, все даже и плакать перестали. Как же это? Куда бросить горсть земли? Куда кинуть мокрые от слез платочки? И где то время, тот горестный момент, когда не родные, «чужие» мужики возьмутся за лопаты, и как ударятся первые комья о крышку гроба и донесется глухой, уже как бы нездешний звук, с новой силой, скорбью и отчаянием зарыдают родные и близкие, потом, словно бы искупая свою вину перед покойным, вспотевшие мужики грязными лопатами разров-

няют, старательно прихлопают бугорок, и кто-то упадет, зароется в могильную землю лицом, и долго не смогут его отнять от этой земли, увести от могилы...

Где все это! Куда делось? Что за спектакль, что за действие были тут и так быстро, так неожиданно закончились?

Должно быть, не одни мы здесь такие случались, и распорядительница еще громче и настойчивее сказала: «Все, все, товарищи! Уходите! Послезавтра получите урну с прахом. Будьте любезны. У нас очередь...»

Я обернулся: по ту и по другую сторону холла, на специально для этого приготовленных скамьях стояло уже десятка полтора разномастных и разного достоинства гробов, во всех них бледнели лица покойников с заострившимися носами. На улице, куда я поспешно выскочил, — очередь из домовин, венков и маленьких, скорбных процессий продолжалась, — за праздник, пока не работали крематории, в огромном городе поднакопилось мертвых.

«Боже мой! Боже мой! — сидя в уголке автобуса, выделенного на похороны Литфондом, трясся я от плохих рессор, от холодной мокрети и все путро обнявшего озноба, какой случался у меня лишь после ранений, в санбате или госпитале. — Боже мой! Как страшно жить-то...»

Поминки были немногочисленны и, слава Богу, обошлись без эксцессов, говоря современно. Я просил Толю, умолял блюсти порядок, не срываться, и он, быстро упившись, дремал за столом, потом его и вовсе увели калязинские, очень сдержанные родичи и гости, угрюмо слушавшие Натальи Федоровны скорбные слова и с достоинством говорившие о покойном. Один из уцелевших друзей детства, работающий или работавший в райисполкоме, человек при галстукке, сказал, глянув на Наталью Федоровну с пристальной и неприязненной вежливостью:

— Он был трагичной фигурой, и жизнь его, в особенности в последние годы, была сплошной мукой...

— Да-да-да, — подтвердила Наталья Федоровна, тряся головой, и подняла платок к глазам.

Мне хотелось домой, поскорей домой, но меня просили остаться до «похорон» — Наталья Федоровна все еще не теряла надежды добиться места на Новодевичьем кладбище и без конца звопила куда-то, особенно настойчиво Мелентьеву, занимавшему тогда какой-то важный пост, ныне сделавшемуся министром культуры РСФСР.

Место Александру Николаевичу досталось на Вагань-

ковском кладбище, на новом, только что раскорчеванном участке, возле железнодорожной линии, за которой гудело Хорошевское шоссе и белел домик, навсегда уже покинутый Александром Николаевичем.

Все бы и ладно. Однако Наталья Федоровна была недовольна местом.

— Эх вы, мужчины! Друзья! — попрекала она нас. — Ничего вы не можете! А я его перехороню! Обязательно перехороню!¹

«Кого — его?»

Пластмассовая или керамическая коробка величиной со шкатулку, в какую бабы-хозяйки складывают «гумажье», нитки, тюрики, иголки, — мною совершенно не воспринималась как что-то, имеющее отношение к человеку вообще, к покойному в частности. И когда эту урну-шкатулку закопали не в могилу, в какую-то ячейку, подобную той, что на фронте выкапывалась для одинокого стрелка, установили временную табличку и, дождавшись конца погребения, Наталья Федоровна рухнула лицом в грязь, я с неприязнью подумал: «Спектакль продолжается...»

Может быть, да и наверное, то был совсем не спектакль, скорее всего горе, помноженное на раскаяние, и оттого особенно тяжкое, но я уж как-то не очень близко к сердцу воспринимал все это, мне скорее было жаль кучку людей, понуро стоявших вокруг куцей могилки — в одном лице разом они теряли кормильца, друга, отца, мужа, брата, дядю, литература наша — заботливого радателя и дворника своего.

Ночью я уехал домой, забился в Быковку — перемотать горе. Мне хотелось быть одному, работа не шла на ум, и я до изнеможения шлялся по лесу, долбил лед на наконец-то замерзшей Быковке, дергал харюзков.

Дней через двадцать жена привезла мне с почтой письмо от Натальи Федоровны.

Дорогой Виктор Петрович! Милая моя Машенька!

Это всего только я... Пишу первое письмо в своей новой, постылой жизни. Вот уж и появились силы печатать.

Сидим с Аннетой в Малеевке уже десятый день. Сегодня двадцатый день, как мы осиротели. Приходил Ба-

¹ И молодец! Перехоронила! Могила Александра Николаевича Макарова находится неподалеку от могилы горячо и преданно, всю жизнь им любимого поэта — Сергея Есенина.

руздин, выпил водки, сказал доброе слово. В сущности, с его умного слова, как-то очень по-русски сказанного несколько дней тому назад, что-то и началось. Он сказал: «Чем умирать и выбирать способ умереть, надо издать Сашины произведения, а уж потом, глядишь, жизнь и подскажет, как с нею расправиться». Я еще нашла в Сашиной рецензии на сборник посмертных стихов Светлова такие строчки: «Он (Светлов) спасал их (своих героев) от худшего, чем от смерти, от забвения...»

Из всех моих силенок как-то, может, и сумею я хоть что-то сделать в этом спасении, хоть на какое-то более продолжительное время. Посоветовал мне Баруздин попросить издать Сашин сборник «Советский писатель», потом «Гослит», может, дадут двухтомник. Кроме того, посоветовал обратиться в издательство «Советская Россия» — предложить им его внутренние рецензии с чьей-то умной статьей о Сашиной манере помогать авторам, с воспоминаниями о нем и с его перепиской.

Вот такой смысл жизни вырисовался из мрака, клубящегося вокруг моего унылого существования. Чую, предстоят и борьба, и обиды, и новое отношение писателей — то жена Макарова, то его вдова! Во всяком случае, вот уж неделю работаю с утра до вечера над его рукописями, работаю до того, что над ними и засыпаю, а просыпаюсь — не даю себе минуты представления об ужасе моего одиночества, скорее берусь за них снова. Его рука, его слово, его ирония, его вставочка, им зачеркнуто, им вписано... Хожу по этим строкам, как слепой, и не вижу того, кто это делал, и не могу до него дотронуться...

Только что приехал Эдель. У него 4 декабря умерла жена от инфаркта, — сидит в окружении молодых женщин, рассказывает. Господи! Какой счастливый! Дай ему Бог забвенья. А мне забвенья не дал Бог, да и не возьму, хоть пришлось бы мне ползать по земле и выгг от боли воспоминаний.

Вот какая у меня к вам просьба: не хочу я ставить на Сашину могилку монументы, граненые и шлифованные. А хочется положить мне дикий камень, хоть без того креста из клена, о котором говорит Лермонтов. Только чтобы камень был диким, поросшим мхом, такой — из леса или с речки, где он ловил хариусов. Где Вы с Сашей ловили хариусов. Сумеете ли Вы найти такой камень и есть ли возможность переправить его в Москву? Чтобы только он не был голышом, гладким, чтобы он не был круглым, а

был бы, как Вам сказать, похожим на Сашу, таким немного угластым и устремленным ввысь.

Все вспоминаю, как Вы были у нас и как бедственны были те дни. Все вспоминаю, сказали Вы мне или мне это пригрезилось: «Во все трудные минуты — ты мне скажи. Я тебе друг. Я за тебя в ответе...» Только вот перед кем в ответе? Перед Богом? А где Он, и спросит ли Он у Вас ответа за меня? И почему Вы должны были это сказать! А может, это Машенька побранила Вас потом, что Вы не сказали? А на самом деле Вы не сказали, потому что ни я, ни Саша не были Вам так близки, чтобы Вы за его жену взяли на себя ответственность, то есть за меня.

Вот не сплю ночью, смотрю на Сашину карточку — он такой молоденький, улыбочивый стоит возле больничного окна в садике и все спрашивает — сказали Вы мне это или только вот так, до смерти хотелось, чтоб сказали.

Будем в Малеевке до второго. Потом попробуем помотаться по всем вдовьим делам в Москве, а с 15-го попытаюсь опять сюда уехать, здесь теплая комната, как берлога: заберешься — и тишина, и работать можно и поплакать на воле.

Милая Машенька, дай Вам Бог миновать всякого горя. Люблю я Вас, Саша Виктора и Вас любил.

Ну, прощайте и простите меня, если что не так.

Ваша Наташа Макарова.

Если Вы в силах написать что-го из воспоминаний о Саше и, может быть, с выдержками из писем, то и Чаковский, и «Лит. Россия», и, вероятно, журнал «Знамя» и «Дружба народов» это дадут.

Прошу Вас.

Может быть, это и будет зачином будущей книжки воспоминаний и разговоров о работе, об отношениях к людям и, главное, к литературе, которую он так преданно любил.

Ваша Наташа.

Потом было еще несколько писем человека, тяжело переживающего горе, оглушенного одиночеством.

Дорогой Виктор Петрович!

Вернулись ли Вы из-за границы?

«Литературная газета» очень ждет Ваших воспоминаний о Саше. Решили ли Вы их писать? Туда или в журнал? Напишите, пожалуйста.

Я все время живу в Малеевке.

Одной легче.

Аннеточка скоро собирается рожать.

Пока очень тяжело, что до сих пор никак не может решиться вопрос о переносе Саши на Новодевичье кладбище — Союз писателей хлопочет, да где-то у начальства застопорило.

Ничего не могу сделать и очень страдаю.

Пишу о Саше.

Болею стенокардией и вообще — все то же. Почему не хочу обременять Вас своим присутствием, хотя одинока и очень пуждаюсь в добром слове.

Напишите мне.

Целую Машеньку.

Всего доброго!

Ваша Наташа Макарова.

Дорогой Виктор Петрович!

Что же Вы забыли про меня?

Трудно мне, тяжело, невыносимо.

Что я сделала за это время?

Была несколько раз в Калязине. Будет там комната в библиотеке — музей памяти Сашиной. Сделали барельеф, готова часть экспозиций. Перехоронила Сашу, лежит он теперь в центре Ваганьковского кладбища, старого, между Суриковым, Есениным, Тимирязевым, Пукиревым, Архиповым. Под старыми кленами. Сделана временная мраморная доска и много цветов.

Словно повые были похороны. Сделала все одна. Добивалась два месяца и только вмешательство ЦК партии и мои слезы помогли, наконец.

Что дальше?

Надо доделать экспозицию. Надо делать сборник для «Гослита». Надо писать воспоминания о Саше. Надо готовить сборник воспоминаний. Надо выступать на радио, надо делать мою книжку — у меня договор на ноябрь. А я? Все валится из рук, живу вдвоем с Караем. Толя совершенно спился, лишился прав, не работает, пропадает.

Аннеточка родила сына Сашеньку. Мальчик трогательный, похож на Сашу. Она вся в малыше, и мне никто не может помочь, хотя бы в том, чтобы толкать в спину и говорить: делай, делай, ты должна...

Боюсь свалиться под откос.

И вот еще что: надо бы собрать денег на памятник и на

доделку музея. Я получила 60% за Сашину статью о Николаевой, что идет в сборнике как предисловие, а у меня больше нет денег. Барельеф стоит 200 рублей, и все остальное еще двести. А еще надо, вероятно, столько же, потому что нужен еще портрет маслом. А за портрет берут 150 рублей. На памятник литфонд дал 500 рублей, обещает еще 500 — они больше не могут. А памятник стоит 2500. Что делать?

Говорят, надо собрать. Пойти с шапкой по писателям. Но ведь не мне же — жене — идти: срамно. Но кто же это сделает? Может, Вы подскажете? Хотя бы собрать еще 1500 рублей.

Прошло восемь месяцев. Еще через четыре будет год.

Может быть, Вы напишете что-то, так, как Вы думаете, как умеете, к этому сроку? «Литературная» ведь очень просит, да и любой журнал возьмет.

Не оставляйте меня, Виктор Петрович! Машенька, милая, пожалейте сироту.

Тянусь я изо всех сил, а сил-то мало. Сегодня такая тоска, что и деться некуда. Мечусь, мечусь, а не найду точки опоры. Но я должна, должна! Ведь ничего не собрано и не сделано как надо. Все еще только пачато. Напишите мне, Вы, Виктор Петрович, проявите инициативу с деньгами?

Господи! Как далеко ушла наша прошлая жизнь, и только я могу как-то воскресить ее для людей. Где же почерпнуть силы?

Мне прислали для музея высказывания: Федин (очень сердечное), Тихонов, Исаковский, Антонов и другие. Очень прошу Вас написать одну страничку от руки. Это для музея. Будет портрет писателя и рядом сфотографированное его высказывание, его добрые слова о Саше как о критике и Человеке.

Сделайте это сразу, пожалуйста, это надо срочно. Карточка Ваша есть.

Целую Вас и Машеньку.

Простите за безобразное, жалкое письмо. Я вижу, какое оно, но мне худо сегодня и переиначивать его я не могу.

Простите меня.

Ваша бедная сирота Наташа.

Дорогой Виктор Петрович!

Спасибо! Впервые почувствовала, что Вы пишете мне, признали меня как какую-то реальность, — я ощущала

только горькую обиду Вашу, что я вот жива... Я понимала Вас и вместе с тем не могла принять, что Вы отделяли меня от Саши. Я только осколок того, что были мы вместе, и вот теперь я почувствовала, что и Вы этот осколок увидели и что он неотделим от Саши. А просто, когда все разбилось, его отогнало от волны, унесшей все главное, всю сущность. Быть может, все это только в моем воображении, но пусть хоть так.

Живу или не живу. Черт меня знает.

Вся моя жизнь от первой встречи с Сашей была страхом потерять это чудо, а теперь — ужас потери. Вероятно, так бывает со всеми, кто любит: и с любовью к сыну, и к мужу, и к другу. Но для меня-то мое горе — самое горькое на свете. И нет ему предела, и никто так не был наказан, как я. Учусь одиночеству, это невыносимо трудно. Тридцать лет видеть этот ласковый взгляд, встречающий меня, и нет этого взгляда. Тридцать лет нести каждую мысль ему — и некому нести. Тридцать лет знать, что тебя поймут, и теперь все! Господи! Кому молиться?

Милый Виктор Петрович! В ночь, когда исполнилось полгода, как не стало Саши, Аннета родила маленького мальчика Сашу. Очень маленький, худенький, но сосет, и в родильном доме таких зовут цепкими и гвоздиками.

Аннета влюбилась в него. Ей было худо с сердцем. Все забегали вокруг. Отходили. Она не доносила около месяца. Словом, на таких страданиях замешанный, каков-то этот Саша будет? Саша... Сначала я никак не воспринимала известий о его появлении. Оно было мне ни к чему. Саша? Родился? Кто это? Ну и что? И только сегодня, на третьей сутки, когда говорю САША — он двоятся. А может быть, душа Саши моего перед гибелью исстрадавшейся физической оболочки пашла себе прибежище в этом существе? А почему я не могу в это верить?

Сегодня был перерыв. Ох, как я боюсь этих затаившихся мук. Они потом воспламеняются со страшной силой, с удвоенной силой...

Вы второй, кто сказал о трагической Сашиной судьбе. Но «Знамя» предлагает мне писать очерк, мозаику воспоминаний. Как же будет? Ведь я-то трагедию эту знаю очень и очень, и тем более не могу о ней сказать? Но ведь что-то сказать надо! Иначе ни в какой мере не оправдано и немислимое существование, и необходимость терпеть себя.

Как же быть? Как, например, объяснить провал с

1947-го по 1956-й? Или обойти все это и дать мазки, за которыми что-то будет и, вместе с тем, не сказано.

Ведь всю жизнь мечтал написать то, что так и не написал, не смог. Нашла папку — повести 45-го года. Как безумно жаль, что он попал в котти Ермилова и не стал писать прозу.

Напишите мне, что Вы посоветуете. Пожалуйста, так же понятно, как в последнем письме. Я очень благодарна, что Вы постарались. Вижу, что это стоило Вам напряжения. Спасибо. Иначе я бы не поняла. Только Саша, повернув листок как-то паискось, умел читать Ваши письма.

Пишу пером, потому что как-то ближе, чем на машинке.

Что же так мало сказали о Югославии? Впрочем, Саша тоже туда (за границу) не особенно рвался, хотя Болгарию очень любил.

Милая Машенька! Не грустите об Андрее — чудном, милом юноше. Он вернется. Ведь только два года теперь служат. А они пролетят, потому что его будете ждать. Он хорошо прослужит, он добрый, чуткий, такой милый Андриуша. Никогда не забуду, как он нас провожал, как вез в Быковку. А я спала в вагоне и проснулась оттого, что Саша тревожно вглядывался: не больна ли я? Когда человек чуток, то на это откликаешься тем, что становишься сам чутче, а так черствеешь, когда никому не нужен.

Я вас очень люблю.

Вы были единственным другом среди литераторов у Саши. На печальный его закат пришла... дружба. Какое это было счастье, что мы поехали к вам.

Виктор Петрович, пусть в козлятник, на месяц, поработать, меня.

Эх, люди добрые, какая же тоска на свете!

Ваша Наташа.

Я, как мог и умел, отвечал на письма, пытаюсь утешить вдову, быть с нею в меру учтивым и даже ласковым. Но вот пошли письма настойчивые, содержащие требования писать воспоминания, развивать какую-то бурную деятельность, и я пояснил вдове, что быстро ничего писать не умею, тем более воспоминания, которых я никогда не писал, что мне нужно время успокоиться, «выносить замысел», чтоб я все знал и «видел» до конца, что она об этом знает, я не раз говорил.

Ничего не помогало. Письма становились все настойчивей, деятельность вдовы возрастала, замелькали тороп-

ливые воспоминания в газетах, обширные публикации. Ничего не оставалось делать, надо было садиться и мне что-то писать. Написались лишь несколько страниц, и я почувствовал лбом тупик — ничего дальше не продвигалось. Удалось мне вымучить еще страницу или две — для Калязинской квартиры-музея, и все. Заколочило.

Да и работа у меня не ладилась. Задумав «Пастуха и пастушку» на четыре-пять листов, и чтоб действие происходило в одну почу, я растянул повесть до семи листов, действие в одну почу не укладывалось, движение повести не получалось, она стояла из-за женщины, которой какую бы я биографию ни давал, сколь бы на нее грузу «ни вешал», все была апемична, мертва. Да и дома не все было хорошо, росли дети, учились в старших классах, дружно завалили экзамены в университет, сына проводили в армию, мучительные были проводы, предчувствия были тяжелые, и они оправдались — буквально с ходу, необученный, необстрелянный, пачитавшийся книжек, он попал в чехословацкие события и вернулся оттуда каким-то надломленным; дочь болталась без дела, племянник жены, выросший у нас, кончил строительный техникум, по распределению уехал в Уссурийск, попал в качестве прораба на промстроительство, которое, как у нас издавна ведется, начинали ээки, и хватил от них «науки и морали». А тут Наталья Федоровна — несчастная вдова — в письмах и по телефону терзала меня упреками за «неблагодарность», расписывала свое горе и одиночество.

Она, видимо, привыкла к несколько иным отношениям: раз муж ее такой почтенный человек, раз он тебе помогал, а тем более был другом, то ты должен выстилаться перед ним и перед нею. Александр Николаевич этого не допускал, я не выстилался, не лебезил, и это раздражало Наталью Федоровну, а потом и бесить стало (общение с литературной держимордой не прошло даром! Уроки громили Ермилова незаметно, но усваивались на протяжении десятка лет), а главное — ей хотелось знать, что и сколько я знаю об их «семейных отношениях», хотелось заглянуть в письма покойного ко мне, и я их ей отослал.

Наталья Федоровна долго не возвращала письма. Я же просил вернуть мне письма Александра Николаевича и, не сдержавшись, написал, что бурная деятельность современных писательских вдов потрясает меня, коробит то-ропливая распродажа наследства покойного на литературном толчке.

В ответ я получил оскорбительные письма.

Я попросил свою жену написать вежливое письмо в Москву с просьбой оставить меня в покое, ибо я тоже живой человек, тоже пошу в сердце горе, и не первое, и не последнее, и что я худо-бедно работаю.

Слава Богу, на этом письма прекратились.

Более я не бывал в доме Макаровых и на перехоронении урны с прахом Александра Николаевича тоже не был, но как эпитафию, на ней я бы высек слова Льва Аннинского, ученика А. Макарова: «Он многого не успел. Но и успел многое».

Для меня мой добрый, незабвенный друг исчез там, в крематории, в этой современной, передовой наукой сотворенной преисподней, не имеющей дна, захлопывающейся автоматической крышкой, без остатка, вместе с гробом, целиком и полностью его беззубо заглотившей и пожравшей.

И, побывавши в крематории, я не осуждал писателей, не поехавших туда прощаться с другом и товарищем по литературному труду, и сам более никогда туда не поеду. Это творение ума и рук человеческих пока еще не для нашего брата, родившегося на земле и вскормленного землей. Вот уж дальше, те, кто на асфальте и в камне да в саже, дыму и нефти вырос, может, и примут его, не содрогнувшись, привычно, буднично.

Связи мои с семьей Макаровых оборвались.

Я отлично помню ядовитое замечание Вяземского по поводу того, как один господин так много и так осуждающе говорил и писал о Наталье Гоцхаровой, что уж вышло Пушкину жепиться не на Натали, а на этом самом благопристойном господине. Знаю и поговорку: «Муж да жена — одна сатана», да и сам Александр Николаевич, как видно из писем, нигде и ничем не давал повода к осуждению или хотя бы малейшему порицанию жены своей, но тем не менее дружеского расположения к ней я вернуть уже не мог, и те несколько встреч, которые произошли у нас мимоходом, выглядели неловко и приводили меня в великое замешательство. Наталья Федоровна всякий раз приглашала заходить, посмотреть маленького Сашу — он «вылитый дедушка», говорила, что и как она сделала для изданий, для музея-квартиры в Калязине, умоляла приехать туда, сообщала, что она перехоронила Сашу — он теперь лежит почти рядом с Есениным...

Несколько раз в ЦДЛ я видел ее за столом, в компании каких-то строгих дам, изображающих на лицах мимор, и Наталья Федоровна в строгой одежде, с седой и строгой прической, с ними, за скромной бутылкой вина — они справляли поминки по Александру Николаевичу.

И вот уж не дано так не дано! Я считал и отстало считаю, что поминки — дело тихое, интимное, и справлять их, ежели уж есть на то охота и средства, способней всего дома, в кругу близких, но не в заведении, подобном клубу литераторов, где шляются два-три всем надоевших алкаша, где молодые «гении» лениво тянут кофе или коктейль, стреляя глазом в мимо проходящих, взвинченных общим вниманием, хорошо кормленных и шикарно одетых дамочек; куда к вечеру нагрянет наш брат — провинциал, рыскавший быстрее борзого кобеля по столице, нагрянет усталый, голодный, с потными подмышками и распухшими ногами, в один прихват выхлебает кислую похлебку, называемую здесь солянкой, и, наевшись мяса впросырь (так будто бы едят в Европе) и хватанув рюмку-другую водки и сразу же одурев от нее, начнет громко вещать, размахивая руками, о падении правов в столице, о разрушении культуры вообще и нашей в частности, о народности современного русского языка, и какая сволочь засела в том-то и в том-то издательстве, сулила, понимаешь, договор и не дала. И все это, повторяю, громко, с остервенением, не замечая, что говорит и что вкушает...

И случалось, ох случалось и с автором этих строк — являлся он домой со зверским поносом по причине того, что ни жить, ни кушать на европейский манер не научен, и жене большого труда стоило привести в порядок своего «корифея», невоздержанного в словах, в питье и в еде...

Бог им теперь судья. Успокоилась и Наталья Федоровна, пострадавшая в одиночестве, и какие думы, раскаяния мучали ее бессонными ночами — никому не дано узнать. Если и была ее вина перед мужем, она честно, даже чересчур порой истово пыталась ее искупить трудами, приводя в порядок архивы и бумаги покойного, делала, быть может, и с запозданием то, что следовало сделать при жизни его, целиком себя посвятив делам и судьбе мужа, не рыская по радиостудиям, не суетясь по каким-то пустяковым обязанностям, не рвясь на части меж делом и никчемным домом, перед родными мужа и своими тоже.

Пусть хотя бы там, где «нет ни печали, ни стонов, ни

воздыхающа, а жизнь бесконечная», будет им обоим покойно, и земля под ними пусть будет пухом...

Шли годы, и терзала меня педсделапная работа, угнетал не выполненный перед покойным другом долг, но я повторял, повторяю и не устану повторять завещанную нам древними мудрость: «Всеми свой час...»

И дождался этого «часа», более свободно и, надеюсь, не так поверхностно смог написать об Александре Николаевиче Макарове, хотя и памятую слова Горького о том, что «говорить правду — это искусство сложнейшее из всех искусств, ибо в своем «чистом» виде, не связанная с интересами личностей, групп, классов, правда совершенно неудобна для использования обывателя и неприемлема для него».

А это не для обывателя и пишется, а для тех, кто еще в состоянии понять, что любое слово лжи или умалчивания для дружбы и памяти порядочного человека, который сам ее столько перевидал, пережил и так от нее страдал, что и умер, паверпое, по этой причине рано, — унижительно, оскорбительно и ненужно.

Я не раз бывал в Быковке, ездил туда уже и из Вологды, подолгу стоял на подмыгтом берегу реки, где погоптаны были купапы, вырваны марьины корни, проложены так и сяк тропы, черпели язвы кострищ; запруды новоселов-бобров были порушены, кипун, где они делали тайные квартиры, более не мутился, ибо высох. Ушли бобры куда-то так же незаметно, как и появились. Может, и перебили их туристы или присосавшиеся к этим местам хваткие пенсионеры. И думал я, стоя возле речки Быковки, о том, что жизнь, как ни разводи руками, движется, многим из тех, кого я называл Александром Николаевичу для будущей книги «Во глубине России», перевалило за пятьдесят, и жизнь их приближается к последнему рубежу. Большинство из них работают достойно своего таланта, но есть и те, что замельтешили, засуетились или погрязли в сплетнях, пустопорожних спорах и уединились в гордом одиночестве. Многие, увы, многие, не выдержали, по остро-современному определению Юрия Бондарева, «испытания вещами», проще говоря, избарахлились. Есть и такие, которых утомили собственные успехи и достижения, и они изменили самим себе, пачали ударяться в моду. Но самое главное и отрадное — появились в России новые таланты, которыми можно и нужно гордиться, поддерживать их: Валентин Распутин, Василий Белов, Вячеслав Шү-

гаев, Виктор Лихопосов, Геннадий Машкин, Дмитрий Балашов, Владимир Крупин, Юрий Черпиченко, Владимир Личутин, Николай Никонов, Анатолий Соболев, Петр Краснов, Ольга Фокина, Александр Филиппович, Николай Фотьев, Михаил Голубков, Виктор Потанин, Анатолий Василевский, Василий Юровских, Владимир Карпов, Валентина Ермолова. По-новому свежо засияли таланты Владимира Тендрякова, Федора Абрамова, Виктора Конецкого, Юрия Гончарова, Анатолия Калинина, Гавриила Троепольского, Сергея Залыгина, Николая Шутдика, Михаила Алексеева, Ивана Акулова, Леопида Решетникова, Бориса Ручьева, Анатолия Жигулина, Михаила Воронцового. Я пишу только о тех, кто жил в ту пору или живет «во глубине России». Увы, и горькие страницы пролистнула наша литература. Не войдя еще в зенит, угасли яркие звезды Василия Шукшина, Сергея Никитина, Алексея Фатьянова, Николая Рубцова, Виктора Курочкина, Алексея Правосолова, Александра Вампилова. Но, как говорится, они-то умерли, по делу их живет. Однако утешения от этого мало, больше горечи и недоумения — отчего, почему в России так повелось, что большие ее таланты часто покидают сей мир в расцвете сил, а то и до одного расцвета?

Большое, скорее даже — обширное литхозяйство в литературе пынешней России. Нельзя сказать, чтоб его не замечали и не отмечали, но все это как-то кампаниями, мимоходом, часто парадно и вскользь, а литература эта давно уже пуждается во взгляде и осмыслении пристальном и глубоком, в определении сути ее не сиюминутном — с проглядом вдаль, и не только сути существования, но и дальнейшего развития — куда она идет? Как идет? С чем? И почему? Каковы ее педуги и где ее стержень, которого падлежит держаться? В одиночку, сам по себе каждый периферийный писатель гребется к этому стержню, иногда даже достигает его и отдается на волю течения, либо, преодолевая его, выдыхается, но чаще возвращается к берегу, в заводь, и булькается там, в тихой парной водичке, себе в удовольствие и людям не в беспокойство.

В пынешней литературе, откровенно говоря, я не вижу человека, которому такая работа была бы по силам.

Здесь мало одного таланта, нужно мужество, нужна самозабвенная любовь к той земле, которая родила всех нас, наградила силой воображения и жаждой творчества. Нужен истинный патриот, который бы явился не просто работать или отбывать срок, но мыслить и страдать.

Течет речка, подмывает берега, спрямляет излучины, роет кусты и деревья, опрядывает и ворочает камни, падает с ших, журчит и паговаривает в перекатах и шиверах. Как бы ее ни мучили, ни мугили, ни разбирали на поливку личных огородов и на обливание тел в знойные дни, сколько бы из нее ни пили, сколько бы ни выгашгывали, она справляет свою работу и за почь успевает растащить весь мусор, растереть грязь, унести мугь, к утру высветляется до дна, течет и будет течь речка, пока живы родники, се нитаюние, а они там где-то, в сумеречных оврагах, в распадах и рассохах, недоступные пока, слава Богу, праздношатаюицимся, журиим и орущим существам. Они тихи, те роднички, их голос слышен только привичпому уху, по их освежающие струи, пронзая тепь земную, вырываются на свет, к нам — людям земли.

С годами общение с природой приносит какие-то другие, более пространственные, что ли, ощущения и мысли. Сидишь вот над речкой, слушаешь, слушаешь и пачинаешь верить в вечность, в нескончаемость нашего бытия, и явятся на ум чьи-то слова и стихи, допустим, полузабытого поэта Мипского, с виду и «на вздох» неуклюжие, неторопливые, написанные явно не в наш космический век скоростей и суеты, но как все-таки подвластны время и расстояние слову. Эти стихи и тронули-то меня своей «современностью», совпадениями с тем, чем в зрелом возрасте утешаешь себя — той сложной, спасительной верой и надеждой в то, что если не мы, то хотя бы дух наш, вера наша в нескончаемость жизни переживут нас. Модные нынче мысли. Не от добра они — от тревоги за будущее.

Как сон, пройдут дела и помыслы людей.
Забудется герой, погаснет мавзолой
И вместе в обичий прах сольются.
И мудрость, и любовь, и знания, и права,
Как с аспидной доски ненужные слова,
Рукой поведаемой сотрутся.
И уж не те слова под тою же рукой —
Далеко от земли, застывшей и немой,—
Возникнут вновь загадкой бледной.
И снова свет блеснет, чтоб стать добычей тьмы,
И кто-то будет жить не так, как жили мы,
Но так, как мы, умрет бесследно.
И невозможно нам предвидеть и понять,
В какие формы Дух оденется опять,
В каких созданиях воплотится.
Быть может, из всего, что будит в нас любовь,
На той звезде ничто не повторится вновь...

Но есть одно, что повторится.
 Лишь то, что мы теперь считаем праздным сном —
 Тоска неясная о чем-то неземном,
 Куда-то смутные стремленья,
 Вражда к тому, что есть, предчувствий робкий свет
 И жажда жгучая святынь, которых нет, —
 Одно лишь это чуждо тленья.
 В каких бы образах и где бы среди миров
 Ни вспыхнул мысли свет, как луч среди облаков,
 Какие б существа ни жили, —
 Но будут рваться вдаль они подобно нам,
 Из праха своего к несбыточным мечтам,
 Грустя душой, как мы грустили.
 И потому не тот бессмертен на земле,
 Кто превзошел других в добре или во зле,
 Кто славы хрупкие скрижали
 Наполнил повестью, бесцельною, как сон,
 Пред кем толпы людей — такой же прах, как он, —
 Благоговели или дрожали, —
 Но всех бессмертней тот, кому сквозь прах земли
 Какой-то новый мир мерещился вдали —
 Несуществующий и вечный,
 Кто цели неземной так жаждал и страдал,
 Что силой жажды сам мираж себе создал
 Среди пустыни бесконечной.

1887

Течет речка. Жизнь продолжается. Продолжаются добрые и недобрые дела людей.

Я как-то был на Череповецком металлургическом комбинате, в цехе, где производят колючую проволоку, и поразился: как ее еще много требуется! Ведь не стали бы ее без надобности делать. Я ощущаю кожей железный нерв с остро заточенными колочками, который денно и нощно течет змеистым потоком на загородь людей друг от друга. Будем верить, что это ограждение зла во имя и сохранение добра, во имя той самой благодной жизни, к которой так стремится человечество и никак не может достичь желаемого.

Течет речка, и в перекатном речном говорке слышится не только лязг колючего железа, но и звон серебра, и чуть каргавенький, всегда веселый говор радетеля всего живого, заботника и работника родной литературы, хорошего человека, которых еще не устала рожать российская земля.

Разумеется, я ждал замечаний, или точнее сказать — предложений по поводу того, что вот распространялось о

таланте критика, о его владении словом, но не привожу ни одного конкретного примера. Я считал, что примерами могут быть сами письма Александра Николаевича, вставленные в рукопись, однако замечания последовали от первых же читателей рукописи, к ним необходимо было прислушаться и «проиллюстрировать» книгу выдержками из работ Макарова, тем более что критику читают очень немногие читатели, чаще всего и знают критиков профессионально заинтересованные в ней, есть даже литераторы, которые не заглядывают в «хвостовую» часть журналов и трату бумаги на публицистику считают бесполезной.

Мне бы хотелось целиком вставить в книгу статью А. Н. Макарова о Чехове, все статьи о Твардовском, Симонове, о военной лирике, цикл статей о так называемом «четвертом поколении» и многое-многое другое, но я не уверен, что и таким способом приучу читать критику тех, кто ее не читал, да и размеры моей книги ограничены. За последние годы во многих центральных издательствах напечатано почти все, что написал Александр Николаевич, и при желании книги его всегда можно прочесть¹. Я лишь воспользуюсь случаем и пролистну «заметки» критика и приведу, как мне кажется, наиболее характерные для стиля и формы их автора кусочки и некоторые мысли, выраженные посредством слова.

«Мне, как критику, просто иногда кажется странным, что мы тратим уйму сил на выяснение того, как точнее и лучше назвать то, что было сто лет назад, и прилагаем слишком мало усилий к тому, чтобы исследовать живую литературу, если термин «революционно-демократический реализм» правомочен, то правомочен и «либерально-дворянский реализм» и «мелкобуржуазный реализм» и т. д., и в конце концов окажется, что наиболее крупные художники вообще окажутся за пределами какого-либо из реализмов, или для них придется придумывать специальные термины...» (Как в воду глядел покойный критик! Уже после его смерти возникло на свет и доползает до нового десятилетия наименование целого направления в нашей литературе — «деревенщики»! Кто следующий? Что следующее? — и далее совершенно все совпадает с развитием критической «мысли» — В. А.). «В социалистическом

¹ В 1982 году вышли сочинения в издательстве «Художественная литература» — Александр Макаров. Литературно-критические работы в двух томах.

реализме так же можно до одури разглагольствовать не столько о единстве, об определяющих признаках метода, сколько о различии между, например, революционным социалистическим реализмом и бытовым соцреализмом».

И здесь все в точку! В «Литературной газете», вслед за пуганой, на тормозах, или точнее — на шелковых вожжах спущенной дискуссии о «деревенской прозе», последовали дискуссии о прозе «быта» и далее, ей подобные. Эти дискуссии и статьи, в них явившиеся, — есть самый яркий пример ухода на ту самую «обочину», против которой выступали зачинатели дискуссии, от насущных вопросов развития литературы. В статьях бойко пишут, разбирают и «подвергают» любители словесности и публичных выступлений, лепиво, чаще всего вовсе не работающих в литературе или бодро начавших и скоро бросивших это хлопотное дело, ибо говорить всегда было и есть легче, чем дело делать.

«Вопросы мастерства, как правило, рассматриваются в отрыве от содержания: всем бы хороша книга о рабочих, только плохой, серый язык. Но ведь если герои говорят серым языком, значит, автор не знает рабочей (народной) среды, и верить тому, что им написано, вряд ли можно. Если он не знает, как говорят, значит, не знает и что думают и как мыслят».

«И радость художника все-таки в создании образа, который становится вдохновляющим образцом и примером. Что бы ни говорили, по это всегда высшая радость. Это создание эстетического идеала, то есть воплощение в образе этих лучших качеств человека своего времени — человека, который посмотрел вперед».

«Нельзя писать о том, что вычитал в других книгах. И нельзя научиться понимать, что такое искусство — по учебникам, да еще по нашим и вузовским учебникам, сплошь переполненным цитатами».

«Любые элементы художественной формы — лишь способ наиболее действенного и эмоционального выражения мысли».

«Из года в год мы повторяем, что наше искусство должно стать первоклассным по мастерству и, однако, в течение добрых двадцати лет (Ах, Александр Николаевич! Кабы двадцати! — провинциальной, неряшливой, паскоро спяшной, «злободневной» литературы не убыло, а прибыло после твоего ухода, и писателей значительно прибыло, скорее даже членов Союза, но «воз и ныне там»,

если не скатился па полгоры по сравнению с шестидесятыми годами. Литература в массе своей лишь обрела более пробивную ловкость и подражательность ближним «образцам». — В. А.) пет, по существу, никакой практической заботы об этом. Горький не случайно бил все время в эту точку, предчувствуя падение культуры писательского труда. Молодые литераторы плохо знают, да и мало их интересует техника ремесла. И дело не в том, что негде учиться, а в том, что пет убежденности, что такая учеба нужна, что без нее не проживешь, что самые поиски художественного решения составляют необходимый элемент наслаждения творческим процессом».

«...Эстетическое воспитание пачинается со школы, и надо обратить серьезное внимание на то, что наши учащиеся выходят из средней школы в большинстве своем, получая на всю жизнь отвращение к русской литературе, и тянутся к литературе западной, которую им, «к счастью», не преподают. Ни радости, ни восхищения творениями русских писателей в учебниках нет. Понятие красоты изгнано из них вообще. Учителя же сами воспитаны в духе этих учебников».

«Надо обратить серьезное внимание на внешкольную систему художественного воспитания. Из программы эстрадных и телевизионных концертов совершенно изгнано художественное чтение (кроме специальных концертов). Эстрадный концерт означает: пение, пляска, акробатика, процент которой растет с каждым годом. В лучшем случае вам инспектируют раннего Чехова, редко стыдливо прочтут Маяковского. Но вы нигде не услышите Пушкина, Некрасова и т. д., разве только в юбилейные даты. Вот те и «слово — полководец человеческой силы». Современных же поэтов и прозаиков в концертах вообще не читают, их в лучшем случае поют. А так как на слова Тихонова музыку не пишут, Тихонова у нас куда меньше знают, чем Фатяпова. Мы учим молодежь смотреть, а не думать...»

«...Большая советская литература всегда противостояла по духу своему как теории «винтиков», так и изображению трудового коллектива как аморальной толпы, ради спасения которой происходило явление некоего героя, единым маповением руки налаживающего хозяйство и, кстати, благоустривающего личные судьбы».

На этом я кончу «иллюстрации» — и по коротеньким выпискам из «заметок», полагаю, видно, как остро, современно мыслил и писал критик Макаров, и чтобы убедить-

ся в том, что слово его, заботы и раздумья не утратили ни глубины, ни злободневности, я снова и снова отсылаю читателей к его книгам, пужным каждому культурному человеку, озабоченному проблемами не только литературными, но и правдивыми вопросами развития нашего общества, процессами, происходящими не только внутри литературы, но и в горниле самой жизни.

«Задача, взятая им на себя, было почти непосильной. Конечно, он делал ошибки в конкретных оценках, шел на компромиссы с материалом, считал себя обязанным откликаться на многое такое, что не пережило литературного момента. Но я думаю, что нет и в природе не было критика, который не делал бы таких «ошибок», — это я опять цитировал Льва Аннинского, и не только потому, что статья его блистательно написана, но и потому, что мысли и чувства во многом совпали с мыслями и чувствами критика, высказанными по случаю юбилея, годные не только в литературной, но и житейской повседневности.

Когда рукопись книги «Зрячий посох» была доведена до того, чтобы ее можно было читать не только жене, но и другим «заинтересованным» лицам, я решил попросить прочесть ее Константина Михайловича Симонова: и потому, что в книге он присутствует неоднократно, и потому, что учился вместе с Александром Николаевичем, и потому, что опыт его работы в литературе, в том числе и документальной, неизмеримо больше моего. Следовательно, надеяться можно было и на добрые советы, и на поправки каких-либо неточностей, и просто мне давно хотелось встретиться и поговорить с Константином Михайловичем, к которому я со всей душевной симпатией относился еще с фронтовых юношеских лет, и пребывание мое в одном с ним литературном цехе не только не убавило этой симпатии и уважения, но и преумножило их, ибо очень уж большое число писателей, считавшихся даже «значительными», скурвилось на моих глазах или лезут из кожи, чтобы поскорей скурвиться. Но потому я и выделил слово «значительные», что уважающий себя, значительный по характеру и дарованию человек, в том числе и писатель, не может скурвиться, сколько бы его ни побуждали к этому обстоятельства и люди.

Я запомнил отчетливо тот год, когда Константина Михайловича неблагородно и неблагодарно вышвырнули из «Нового мира», и он по какому-то поводу, вроде бы опять о войне, выступал по телевидению. До этого мне

почти не доводилось видеть его «вживе», кажется, видел у гроба Фадеева, но в отдалении, и не задержался на нем взглядом. Потом в редакции журнала «Знамя». В 1959 году у меня печатали там рассказ — первый! — в толстом журнале. А у Симонова — роман. И вот я сидел на старом, впившемся в зад пружинами кожаном диване, жмясь поближе к обласкавшему меня работнику отдела прозы, милому человеку — Виталию Сергеевичу Уварову, дожидаясь очередных поправок от очень капризной, начисто подавившей меня своим всезнанием и интеллектом редакторши. И в это время возник в редакции маленький переполох — редакция размещалась тогда в Гнезниковском переулке, в тесном, захламенном помещении, и большому переполоху там пегде было подняться. Прочастила каблучками какая-то дама, юркнула под лестницу уборщица, распахнул перед кем-то двери лучащийся светозарной улыбкой секретарь журнала Катинов (давно работает он в журнале — хорошо усвоил, кому и как улыбаться, а кого и без улыбки встречать), задвигались, закружились какие-то люди с сигаретами и без сигарет. И в этом людском водовороте и дыму вдруг тоже закружилась комочком пены седая-седая голова. У головы оказалось довольно смущенное лицо Симонова. И хотя говорила про меня бабушка: «Приметлив! Ох приметлив, язви его!» — я все же его с трудом узнал, ибо Симонов все еще мне представлялся чернявым, густоволосым, с усами почти гусарскими и с трубкой в зубах — истинный поэт!

В руках у него были цветы — большой букет роз, который он нес, уверенно выставив перед собой, раскланиваясь на ходу, кому-то улыбаясь, и, гортанно вскрикнув что-то Катинову, исчез за дверьми незнакомого мне кабинета.

Впоследствии Александр Николаевич, выслушав всю эту картину в словах и в лицах, разрешая мое недоумение: «Неужто Кожевникову цветы?» — упицижительно усмехнулся:

— Деревня! Кожевникову?! Да если Кожевникову начнут дарить цветы благодарные авторы — он не выберется из вороха цветов. Он задохнется от ароматов. У него будет болеть голова и некогда ему будет сочинять щиты и мечи. Это Людмиле Ивановне! Ей, ей, прелестнице нашей, волок Костя цветы. Много, говоришь? Дорогие? Тогда ей. Маленький букетик она не возьмет и на автора даже не посмотрит. Ах баловница! Ах баловница! Но и Костя

— фрукт! Ах ты, Костя, Костя! «Каким ты был, таким остался!» — передразнил он Симопова. И ко мне: — Ну, а вы-то, вы-то что? — и чернепкие глазки Александра Николаевича засветились искоркой перевозбужденного лобызтства.

— Ну, чё я? Я Уварову, Виталию Сергеевичу, говорю со всей непосредственностью озлившегося провицинала, которому терять печего и в Москве пегде жить: «Дак мне чё, тоже букет пести?»

«Тебе не надо,— сказал Уваров.— Ты еще молодой, и у тебя денег нету. Вот уж когда роман выдашь — раскошелишься...»

Роман я так до сих пор и не выдал, букеты по редакциям посить не научился. И зря! Есть в редакциях и издательствах люди, которым я последнюю рубаху с тела отдам, кусок хлеба разделю пополам, кровь, сердце, а вот с цветами...

Впрочем, всяк должен делать то, что у него хорошо получается.

Мне кажется, и я убедился в этом впоследствии, что у Константина Михайловича была врожденная способность делать людям приятное, не считаясь ни со временем, ни со здоровьем, ни с обстоятельствами, которые нам часто мешают делать людям добро, товарищески жать друг другу руки.

И вот, несколько лет спустя, увидел я Константина Михайловича по телевизору, погасшего, усталого, совсем белоголового, без усов — или телевизор у меня был такой, что не все предметы различались?

Говорил он тихо, как-то особенно проникновенно, печально, и под конец прочел несколько стихов из фронтовых тетрадей. У меня слезы павернулись на глаза, жена, слышу, носом зашмыгала — мы с пей весь вечер проговорили о поэзии Симопова, о том влиянии, которое она на нас оказала в свое время; жена, хотя и была далеко от передовой, тоже помнит по фронту лишь стихи Симонова, Суркова, прозу Шолохова и позднее — «Василия Теркина», до них, работников военного тыла, мало чего доходило, что уж говорить о нас — окопных землеройках? Иногда принесут ворох газет, пыльных, мягких, старых — тут же их курцы расхватывают, порвут.

Лишь в длительной обороне лета сорок четвертого года, когда на передовой и стрельбы никакой не было, стали иногда приносить газеты, один раз показали кино. Тогда

мы очень зачитывались главами из «Теркина» и, чтобы досталось всем, стали наклеивать газетные вырезки на картонки и передавать их из взвода во взвод¹.

Когда я, единственный раз, беседовал с Твардовским и сказал ему о картонках, на которые мы наклеивали газетные вырезки, он как-то по-особенному заинтересовался моим сообщением, спросил — не сохранилась ли хоть одна картонка? И когда я развел руками — сам-де едва сохранился, мне показалось — поэт даже погрузтел или оторчился, да и я вместе с ним, что нет у меня с собой такой редкостной, да и вообще никакой не осталось окопной реликвии.

Конечно же, фронт, да и передовая — не совсем оторваны от мира, идет передвижение людей туда-сюда: раненые — с передовой, пополнение — на передовую, хоть и худо, но работали рации, хоть совсем пикудышные — тянулись к фронту и по фронту провода, хоть и реденькие — добирались до передовой письма, и в них часто песни, стихи, цветочки, карточки. Попав на передовую, песня или стих простыми или сложными путями распространялись по окнам. Так, песню «Бьетса в тесной печурке огонь» я сам переписал и в почное время целую неделю орал по телефону своим телефонистам, и один, прибывший к нам из какой-то особой части солдат, услышав слова: «До смерти четыре шага», сказал: «Ну ее, эту песню! Я и переписывать не буду — еще посадят!»

Командир дивизиона молодой был, щеголеватый (умер 2 января 1981 года в Ленинграде), услышал как-то мое

¹ Но когда я об этом напечатал заметку в вологодской газете «Красный Север», мне один много-многоуважаемый человек, в прошлом нехотный командир, сказал: «Это неправда, Виктор Петрович! Зачем вы врете? Ничего нам не приносили, никаких газет, никаких книг, никаких мы артистов и музыкантов на передовой никогда и во сне не видели...» Мы разговорились. Оказалось, был он на Карельском фронте, самом бедном, долгое время нигавшемся по «гретый порме» — порме запасных тыловых частей. Здесь не много и не мало, а целых три года солдаты, да и командиры тоже — ходили в старой одежде, были части, где бойцы обувались в лапти, самими же бойцами сшитенные; были здесь команды по добыче мяса и рыбы: они охотились за лосями, ловили в озерах рыбу, собирали ягоды в лесах — и это продолжалось до 1944 года, до начала наступления Карельского фронта. Конечно же, отсюда, из белой Карелии, наш 1-й Украинский фронт, долгое время — главный фронт войны, казался карельским воякам фронтом «комфортным», где даже песни пели, куда газеты иногда доставлялись на передовую, да и кормили иногда досьга. Но, как видите, иные товарищи так и не поверили в силл блага — до того их довели радетели-генералы и отец родной, Главкомандующий...

пение, а я, напугавшись, прервался — цельзя ведь пустяками полевой телефон записать, — сказал мне:

— Ну что, что ты? Пой! Хорошая песня, и у тебя получается. — И потом, когда у него случались небольшие офицерские сборища с выпивкой, приказывал: — А ну, давай «Землячку!» — И я охотно затягивал, а офицеры подпевали.

Так, с моего голоса, и пошла по нашей части замечательная песня, и я об этом тоже имел удовольствие совсем недавно, во время последнего съезда, рассказать нашему старейшему поэту Алексею Александровичу Суркову. Мне показалось, он выслушал мой рассказ не без душевной приятности.

А тогда вечером, растроганные воспоминаниями, мы с женой подумали было написать письмо Симонову, но, будучи по природе деликатным человеком, жена подсказала мне:

— Пошли-ка ты ему свою книжку и напиши сам.

— Нужна ему книжка какого-то очусовелого автора?

— Нужна не пужна, а ты пошли! Книжка с хорошими картинками, да и письма ты под настрой писать умеешь.

Иногда жен надо слушаться. Я это давно понял. И написал письмо Константину Михайловичу, в котором рассказал о том, как однажды пришел к нам, в почти полностью выбитый взвод, молоденький лейтенант и читал нам его стихи, вроде бы не к поре и ни к селу, и ни к городу — о любви стихи, а мы как раз жрали недоваренную конину. И все-таки строилось что-то в наших онемелых душах. Вскоре этот командир тоже погиб, но вот память сохранила и его, и как он читал стихи.

И книжку послал я Симонову, первую «толстую» книжку, издавшую в Москве, да еще и с картинками. Ответ, как я уже упоминал в этой книге, не заставил себя ждать. Пришло письмо, обстоятельное, без высокомерно-покровительственного тона, письмо старшего товарища по работе, в котором были и ободряющие слова, и замечания о прочитанной книге.

А вот встретиться и поговорить нам удалось лишь однажды. Так уж вбитая в меня наука — не быть навязчивым — действовала и действует до сих пор.

Когда я работал над «Зрячим посохом», один писатель, бывший на юге в Доме творчества, передал мне привет от Симонова и сообщил о том, что ему понравились заключительные главы «Последнего поклона», и он желал

мне всяческих успехов. Признаюсь, я не думал, что эта книга «ляжет на сердце» Симонову — очень уж, казалось мне, далека она от его творческого направления, да и жизнь, в ней рассказанная, ему, городскому человеку, должна быть совершенно чужая и неинтересная. Но шло время, и почта приносила письма-отклики на «Поклон», и, как ни странно — больше от людей городских и не только бывших селян, что вполне объяснимо, а от людей, в деревне никогда не живших.

Меж тем работа над «Зрячим посохом» продолжалась. Я давал ее читать друзьям по труду и тем, кто так или иначе в ней заинтересован и «отражен».

Когда рукопись прочла Аппета Александровна, дочь Макарова, и приободрила меня своим к ней добрым отношением, я попросил у нее совета — дать ли рукопись для прочтения Симонову, поскольку о нем в книге кое-что сказано и сказанное пуждается в уточнении, да и знал он Александра Николаевича давно и близко.

— Непременно! — сказала Аппета Александровна. — Он, думаю, обрадуется этой книге. Вот только слышала — тяжело болен Константин Михайлович.

В тот же приезд в Москву, буквально через несколько дней после разговора с Аппетой Александровной, по приглашению моего любимого артиста Михаила Александровича Ульянова, был я в театре им. Вахтангова на премьере «Степана Разина» — и увидел там Симонова. Он сидел чуть впереди меня, справа, в теплой рубашке и надетой на нее меховой безрукавке. Тяжкий кашель давил его весь спектакль, и, сдерживая кашель, он часто доставал из кармана широкогорлую коричневую склянку и сплевывал в нее мокроту, умело подтирая губы горлышком склянки.

Пневмония! Знакомая мне болезнь, которая хуже тихой и злой тещи. Не знаю, мой ли пристальный взгляд или что другое заставило Константина Михайловича обернуться, и я увидел впалое, землистое лицо, худую шею с туго натянутыми от трудного дыхания жилами, усталые глаза в темном, почти угольном обводе, с как бы прилипшей к ним пленкой загустевших слез.

Я какое-то время ничего не мог различить на сцене — слишком много дорогого и светлого связано у нашего поколения с этим писателем, слишком он был нам необходим и привычен, и привычен молодым, деятельным, романтическим, удачливым, у всех и всегда на виду.

Он не создавал себе такого «портрета» — это время и мы, читатели, создали его — и у меня разбитый болезнью, худющий, усталый человек вызвал не столько чувство горести, сколько растерянности, сознания и собственной уже изработанности, немощей, прошедшей молодости. Часто в других жалелся утраченного себя, — это единственный эгоизм, который можно оправдать в нас — людях.

«До рукописи ли ему?» — махнул я рукой, но вот показаться мне с Копсаггином Михайловичем захотелось — пацане, что ли, сработало? — можно и не увидеть, не успеть — не хочу об этом судить задним числом.

При еще одной встрече Ашпета Александровна спросила, послал ли я рукопись Симонову, и сообщила, что разговоривала с ним по телефону, что он очень тепло отозвался обо мне, рад был, что именно я решился написать книгу о Макарове.

Я написал коротенькое письмо Симонову и скоро получил ответ с разрешением прислать рукопись.

Прочел он ее очень быстро, как потом сказал, «за одну ночь», попросил побывать у него и поговорить о будущей книге. «А поговорить есть о чем», — добавил он в письме.

Опыта работы в документальной прозе у меня почти нет, с воспоминаниями, да еще такого вот литературного порядка, я и вовсе не имел дела и потому робел, собираюсь к Симонову.

Позволил ему от друга, слышу — кашляет беспрерывно, хрипит даже, и я сказал, что, может, не надо? Может, потом?

— Нет-нет! Немедленно приходите, а то я скоро уеду и многое забудется, надо поговорить сейчас, по горячим следам...

Он был совсем болен, выглядел еще хуже, чем в театре, но при моем появлении поднялся, вышел в коридор, видимо, чтобы приободрить меня и как-то оградить от укорных взглядов близких своих, ведь ночью, как выяснилось, была неотложка и совсем недавно сестра сделала укол — простудился в довершение ко всему, а простудиться-то, получить обострение хроническому пневмоничку — раз плюнуть: спина все время сырая, дунет в дверь или в форточку — и готов.

Я чувствовал себя скованно и пеловко.

— Да не переживайте вы, — махнул он худой и слабой в кисти рукой. — Вы что думаете, лежать вот тут, на дива-

не, и смотреть в поголок — легче, что ли? Правда, я пробовал читать. Вы «Сашку» Кондратьева читали, с моим предисловием?

Я сказал, что читал и что повесть мне понравилась, и Симонов, откашлявшись и отдышавшись, сказал, что как раз Кондратьева повую вещь и читал и она ему кажется слабее «Сашки», а автор ждет звонка, и он никак не решится, не может — всегда не хочется огорчать людей.

— Хвалить лучше и легче, что бы там ни говорили, — через силу улыбувшись, заключил он.

Заговорив о литературе, Константин Михайлович ожил, и мы с ним повспоминали военное время, он мне упомянул про бои под Могилевом, и я ему сказал, что мир очень круг и узок, и что, прочитавши в его дневниках о самолете-кукурузнике, сидящем на крыше, вспомнил и место, и городок — это было на окраине городка Зборова, на Львовщине, ныне по новому административному делению отошедшему в Тернопольскую область.

— Да что вы говорите?! Н-пу, знаете!.. — рассмеялся и закашлялся Константин Михайлович. — Вот и еще одна страничка войны разгадана!

— Я был молод, — говорю, — по бабушкиному заключению, «приметлив», да и стояли мы в Зборове несколько дней¹. А вы, небось, промелькнули на корреспондентской машине?!

— Да уж помелькал, поездил, полетал! — протяжно вздохнул Константин Михайлович. — Чаю, водки, Виктор Петрович?

— Какая уж нам, певмоникам, водка? — отмахнулся я. — Сипа вон и без нее мокра...

— Тоже, значит? Не запускайте эту проклятую болель. Вымотает. Вот, говорят, и Шукшина она доконала.

— Да, будто бы с нее началось...

Принесли чаю, крепкого, горячего, и под чаек мы с Константином Михайловичем о многом переговорили. Я знал об его истовой работоспособности, посетовал на себя, разбросанного, работающего лихорадочно, наскоками.

¹ Читатель из станции Медведовской Краснодарского края, по фамилии Сахло, бывший летчик, а ныне учитель школы, подтверждая сей редкий случай на войне, сообщил, что на крыше в Зборове сидел летчик по фамилии Краснов — из восьмого отдельного авиаполка Второй воздушной армии. Да-а, авиация — это вам не нехота! У пил, у летчиков, и в самом деле «никто не забыт и ничто не забыто...»

— А как вырываете вы время для такого объема работы, чтения, служб? — поинтересовался я и тут же с восхищением отозвался о его телевизионной работе «Шел солдат» и даже сказал растроганно: — Если б не были вы так худы, обнял бы я вас от имени всех нас — солдат живых и погибших, да боюсь — задавлю.

Он очень засмутился, покашлял, спрягал свою склянку и сказал, что в пятницу, субботу и воскресенье всегда уезжает на дачу — и уж эти дни его, уж тут он работает с упоением, работает и старается никого к себе не пускать.

«Стараюсь», — сказал он, по тут же, узнавши, что я собираюсь писать роман о войне, о быте войны, о солдатах, об окопной жизни — если это можно назвать жизнью, пригласил меня обязательно побывать у него в Пахре, на даче, пожить там и посмотреть, вернее, просмотреть богатейшую его фототеку.

— Вы знаете, — сообщил он, — я всю войну снимал и собирал фото: на дорогах, в окопах, в заброшенных избах, малюпкие, большие, с документов, парадные, семейные, и ох как вам необходимо это все посмотреть. Уверен очень и очень — вам поможет моя фототека в работе. Приезжайте в любое время. Я вам дам ключ, садитесь и действуйте. Вот я съезжу в Крым, подлечусь, поработаю...

Я робко возразил — не падо бы в Крым-то. Два раза я там был и оба раза дело оборачивалось обострениями.

— Да вот знаете, в Гурзуфе такое удобное место для работы, в военном санатории...

Я сказал, что сушиться нашему брату-пневмонику, паверное, следует все же в сухом месте, где-нибудь в Туркмении или в Таджикистане.

— Или вот, — вспомнил я, — в Узбекистане. Вы же его обжили, перевели на русский...

— Да, обжил, — согласился он, — паверное, туда и поеду, когда-нибудь. Но сейчас вот собрались уж... И нравится мне в Гурзуфе. Да, секретарша моя принесет вам все, что я успел сказать о вашей рукописи. Извините, что на диктофон — по так скорее, да и руки у меня что-то дрожат последнее время. Мы с вами потом обязательно еще встретимся. Вот я подлечусь, отдышусь — и поговорим, непременно поговорим. Нам есть о чем поговорить, и не только по рукописи, нам говорить и не переговорить о войне. Беритесь. Пишите. Мы, газетчики, уже «свою» войну написали. Вы правы — по количеству написанного выходит, что мы — главная ударная сила были на войне... —

Он опять слабо махнул рукой, закашлялся и долго, мучительно хрипел.

Я поднялся.

— Все-таки мне надо уходить, Константин Михайлович. Я и так злоупотребил вашим вниманием и гостеприимством.

— Да что вы там такое... говорите... Господь с вами! — с перерывом произнес Константин Михайлович. Но он очень утомился и сам, верно, почувствовал это, написал мне на память несколько книжек, в том числе особенно мне дорогую как бывшему окопнику — «Шел солдат», и мы стали прощаться. В коридоре, подав мне руку, Константин Михайлович слабо коснулся щекой моей щеки, и меня чуть уколола редкая щетина.

«Симонов — и небритый! Да что же это такое?» — на глаза навернулись слезы.

Я поклонился всем домашним и вышел, осторожно притворив дверь.

Болеё Константина Михайловича я не видел, ни живым, ни мертвым. Звонил ему еще раз и по стонущему голосу понял — в Крыму ему стало хуже и разговаривает он со мною лежа.

А потом раздался, уже в Вологду, телефонный междугородный звонок, и Константин Михайлович сообщил, что звонит из больницы, что тут его хорошо подлечили, что он работает, непременно хочет со мной встретиться, показать фототеку. И я решил, как он выпишется из больницы, отдохнет маленько, одолеет писательскую текучку, сразу же и поеду, к нему, хоть на недельку.

Но вскорости прилетел, приехал ли откуда-то, и прямо у дверей жена моя, Мария Семеновна, дрожа голосом и утирая слезы, сообщила:

— Ты знаешь, беда-то какая!.. Константин Михайлович скончался.

Вот и все, что я вспомнил и смог вспомнить и написать о человеке и писателе, к которому всю жизнь привязан как читатель, уважал его как гражданина, воина и труженика, такого, каких, к сожалению, ныне очень мало в нашей литературе, вялой от лености и самодовольства.

А все, что успел диктовать Константин Михайлович о рукописи «Зрячий посох», всего за несколько часов до отхода поезда в Крым, будучи совершенно больным, разбитым — пусть станет послесловием к этой книге и уроком нам, в сущности, физически здоровым людям, час-

тенько проживающим часы и дни в пустопорожной суете, болтовне и прекраснотушии.

И еще несколько строк, подтверждающих его постоянное, какое-то неудержимо-страстное стремление помогать людям, и не только литераторам, а всем-всем, кто встречался на его непростом жизненном пути, в особенности тем, с кем он воевал.

Мысль моя, родившаяся после чтения дневника Константина Михайловича и личной встречи с ним, мысль летучая, мимоходная, о том, что он, как и все мы — фронтовики, чувствовал вину перед погибшими и рано потерянными друзьями, получила неожиданное подтверждение. После того, как отрывок о встрече с Симоновым был напечатан в «Советской культуре», мне пришло из Москвы письмо от Карины Савельевой, в девичестве — Трошкиной, первой, кстати, когда-то откликнувшейся на мой «Звездапад» в газете «Литературная жизнь».

«Вчера мама дала мне газету с Вашими воспоминаниями о Симонове. Велела прочесть, сохранить: она будет беречь вырезку. Дело в том, что с Константином Михайловичем нас связывает давняя, очень давняя близость. Вместе с моим отцом, фотокорреспондентом газеты «Известия» Павлом Трошкиным, он воевал на Халхин-Голе и несколько лет в Отечественную. Он писал, папа снимал. Они дружили, и я с детства помню его в нашем доме. Когда в 1944 году папа погиб под Сталиславом (он похоронен на холме Славы во Львове), первым поддержал маму Константин Михайлович. И с тех далеких времен никогда не забывал нас. Более чуткого товарища у нас не было. Брат потом часто с Симоновым работал по линии документального кино (он режиссер), и не раз он приезжал к нам, рылись в папиных архивах, подбирали снимки для его книг. О папе он писал часто и много. Может быть, Вы читали в последней книге «Разные дни войны» — там почти целая глава ему посвящена. Константин Михайлович любил отца и был верен памяти его всю жизнь. А со мной он собирался готовить альбом о Халхин-Голе. У меня много еще не разобранных снимков, несколько десятков (в негативах). Он хотел написать предисловие и договориться с издательством. Я все ждала, когда он немного разгрузится, и не беспокоила зря. А все так быстро и трагически кончилось. Для нас это было потерей родного человека. Он был для нас продолжением отца в жизни, с ним он и умирал».

Дорогой Виктор Петрович!

Очень жаль, что обстоятельства у нас обоих складываются так в обрез. Попробую надиктовать, чтобы не ушло из памяти, хотя бы часть пришедшего в голову в связи с Вашим «Зрячим посохом». Только часть — всего заведомо не успею.

Простите за такую вынужденную, странноватую форму переписки. Сейчас сяду за диктофон — не судите строго эту неправоленную запись.

18.5.79 года

Ваш Константин Симонов.

Дорогой Виктор Петрович!

Продолжаю диктовать начатое от руки. Простите за небрежности, потому что из-за отъезда не смогу этого прочесть и поправить. Буду писать разрозненно, пометок я, так же, как и выписок, читая рукопись, не делал. Сейчас жалею, но виною тому увлечение рукописью.

Начну с самого Александра Николаевича. Ваши отношения с ним были намного короче, чем мои. Вы с годами стали друзьями с ним — в истинном смысле, самом серьезном смысле этого слова, а я остался его товарищем по Литинституту, знавшим его, ценившим и стремившимся в связи с разными своими литературными должностями по возможности делать ему хорошее, а не худое, в меру моих сил. Вот и все, пожалуй. Поэтому Вы знаете о нем бесконечно больше вглубь, чем я, но, может быть, длительность моего знакомства с Александром Николаевичем и связанные с этим соображения будут Вам бесполезны.

Познакомился я с ним в 1934 году, когда был второй набор в вечерний рабочий литературный Университет, ставший впоследствии Лит. институтом. Отделение было тогда только вечернее, так что почти все работали.

Помнится, что Саша Макаров пришел в институт не только как критик, но и как поэт, во всяком случае — не то он посещал одновременно и критический, и поэтический семинары, но поэтический, наш семинар он довольно долго посещал, во всяком случае какие-то месяцы на протяжении первого года.

Руководителем нашего семинара в ту пору был Илья Дукор, по профессии своей основной — врач-психиатр, и в то же время критик, оччень любивший поэзию и, на мой взгляд лично, неплохо разбиравшийся в ней. Во всяком

случае, он сумел создать у нас атмосферу искренности и нелицеприятного говорения правды друг другу в глаза, а это одно уже было очень важно. Стихи, на мой тогдашний вкус и мои тогдашние представления, у Макарова были слабые, подражательные, нежные, есенинские — не вообще есенинские, а именно — нежные есенинские, мне кажется, что ему был близок нежный Есенин, более ранний, более искренний и не надрывно деревенский. Стихи Саша Макаров показывал, помнится, обсуждали его стихи на одном из семинаров, особого одобрения они не заслужили, но к своему неуспеху он отнесся с какой-то мягкой иронией, как человек, сам хорошо понимавший, что его дело — не эти стихи, а что-то другое.

У меня совершенно стерлось в памяти, когда он перешел на критическое отделение, народу у нас было очень много на первом и на втором курсе, отсеиваясь позже, и Макаров был замечен в институте не как поэт и не как критик, — я, например, не помню, печатал ли он тогда свои критические статьи или не печатал, во всяком случае, ни одна из них мне с того времени не запомнилась, — а вот ум его в разговорах — запомнился: его тонкие суждения, умные, деликатные, но и твердые в основе своих оценок, о чужих стихах, в том числе — о моих стихах того времени — мне запомнились. Вообще мы знали, что самый умный у нас человек на первых двух и на последующих курсах, когда начались последующие курсы, — это Саша Макаров. Были более правильные, более голосистые, заметные, но он был самый умный и много знавший. К тому времени он, по сравнению со мной, например, — не берусь судить-говорить о своих товарищах — знал необыкновенно много и читал чрезвычайно широко.

Был он одно время секретарем нашего комсомольского комитета. Делал он это по-деловому, а в то же время с какой-то мягкой улыбкой, с пониманием человеческой слабости и — с верой в то, что ребята его не подведут — что и оправдывалось в большинстве случаев.

Лично я за четыре года занятий в Литинституте привык ценить мнение Макарова о своих стихах, которому они чаще не нравились, особенно в первый период, а потом нравились больше, может быть, отчасти потому, что он увидел мое упорство и работоспособность и как-то переменял отношение ко мне на более серьезное, чем сначала. Не столько ценил стихи — еще очень плохие, сколько серьезность моих намерений на будущее.

Но гораздо чаще я, так же, как и большинство моих товарищей других, разговаривал с Сашей не о собственных стихах, а вообще — о тогдашних литературных проблемах, о его оценках того или другого произведения, поэта, события. Он в оценках своих был решителен при всей своей мягкости. Эта мягкость дополнительно смягчалась юмором, но решительность при этом не исчезала.

Казалось мне, что есть в нем какая-то надорванная струнка. Понять ее я не мог, но чувствовал: что-то было в жизни не так, как хотелось, или страдал от того, о чем не мог говорить. И думаю, что это не сводилось только к личному, а может быть, и вовсе не сводилось к личному, просто опиралось на личный опыт, а надрыв был связан с чем-то более существенным, с каким-то душевным разочарованием — не в каком-то одном человеке, а в чем-то таком, что происходило в жизни. Боюсь, что я не очень ясно выражаюсь, но именно так это вспоминается.

В личном же плане, сугубо личном, в конце наших занятий в Лит. институте мы привыкли видеть Сашу с худенькой сутулой девушкой, легкой и болезненной, — знали, что она болеет туберкулезом, это — Наташа Перинго, на которой Саша женился. Когда именно женился, не помню. Помню, что ходить начал с нею где-то во вторую половину своих запятий в университете. Потом обстоятельства жизни раскидали нас в разные стороны: я пошел учиться в аспирантуру, проучившись год, попал на Халхин-Гол, потом на курсы при Военно-политической академии; Саша попал, помнится, на действительную, а в войну я его встретил в Москве, уже в военно-морской форме — где-то зимой, наверное, сорок первого — сорок второго года, может, чуть позже, секретарем журнала «Краснофлотец», так, кажется, если не путаю.

В войну мы почти не встречались — не то, чтобы было какое-то отталкивание друг от друга, а просто занимались разными делами, и пути редко сходились.

После войны Макарова-критика очень поддержал Фадеев. Поддерживал сразу, с сорок шестого года, когда пришел вновь руководить Союзом, а может быть, еще раньше — но этого я не помню, а тут я помню: удивлялся и даже сердился, если выяснялось, что мы не читали статьи Макарова, тыкал носом в эти статьи. Словом, в тот период отпосился к Саше очень и очень хорошо. Так это виделось мне. С этой точки зрения, в частности, один из эпизодов, приведенных Вами в письмах Макарова, кажется

мне плодом частичного недоразумения: не мог Фадеев по его натуре и по его отношению к Макарову, вот так его несколько часов выдерживать в машине где-то подле своей дачи, было это не в характере Фадеева. Может быть, тут сыграла роль щепетильность самого Александра Николаевича, а скорее всего — собачий характер Ермилова, который мог просто-напросто не сказать, что у него человек сидит в машине, или сказать это только под конец. Не знаю, может, я несправедлив к Ермилову, но я считаю его одним из самых дурных людей, которых я встречал где бы то ни было. Дурных по-дурному, по-злему талантливых и готовых на все. Студенты Литинститута написали на заборе его дачи, где красовалась надпись: «Осторожно, здесь злая собака», между словами «злая» и «собака» — еще слово — беспринципная», «злая и беспринципная». Это было близко к истине. Я-то лично никогда не мог простить Ермилову того, как он, буквально как цепная собака, бросался на первый после войны, запечатанный в первом, выпущенном мною, как редактором, номере «Нового мира» рассказ Андрея Платонова «Возвращение» — кинулся на него с осервенением, целою полосой — и во многом предопределил этим последующую судьбу Платонова, которая, может быть, могла быть и другой после войны и его работы в «Красной звезде».

Это я уклонился как будто в сторону, но, в сущности, не совсем, потому что Макарову было не место в «Литгазете» рядом с Ермиловым, он был редактором раздела «Литература и искусство», но Ермилов имел своих подручных, через которых делал то, что хотел делать. А так как Макаров оставался редактором раздела, то это как бы покрывалось его честным именем. И из-за такого положения, продолжавшегося несколько лет, работа для Саши в «Лит. газете» стала тягостной, и когда я пришел в нее, я почувствовал, что люди — там, внутри газеты — потеряли к нему уважение, как к человеку хорошему, но неспособному отстаивать свое мнение в газете, настоять на своем, как к человеку, помимо которого и прикрывшись которым Ермилов ведет свою, иногда грязную, политику в «Лит. газете».

Не знаю, может быть, я поступил неправильно, но тогда мне казалось, что я делаю верно. Поговорив с Сашей по душам, я посоветовал пойти ему работать в другое место, в журнал, и в меру своих сил помог ему перейти в «Знамя». А «Литературную газету» очистил от некоторых, особенно регивых сателлитов Ермилова, позаботившись, разумеется, чтобы они не остались вообще без работы,

чтобы получили работу в других местах — время-то было не из тех, когда легко было найти работу. Но кулачок этот, созданный Ермиловым, я раскассировал.

Насчет личных дел Александра Николаевича я кое-что знал — не столько от него, сколько помимо него, от общих друзей, жаловаться он не любил, а был я у него раз или два, и быть там меня не тянуло, предпочтительнее было видеть его одного, а не там.

Начиная с работы в «Знамени», он в наибольшей мере пошел себя как критик и деятель литературы. Статьи его становились все решительнее, захватывали все более серьезный и новый для многих круг явлений. Впрочем, что я Вам пишу, когда об этом так хорошо сказано у Вас.

Думаю, что, назвав свою вещь «Зрячий посох», Вы, в сущности, дали ей двойное название: в чем-то критик Макаров был посохом нескольких хороших, многое определивших с годами в нашей литературе писателей. В чем-то они сделали посохом в его жизни, он на них оперся в своих жизненных взглядах, в своих жизненных учреждениях, в какой-то крепости, которой ему не хватало, почувствовал плечо, среду дорогих ему и важных в литературе людей, а шире говоря — и в жизни.

Ваше повествование — повторяю то, что уже говорил, — обещает стать замечательной книгой, единственной в своем роде — об этом двойном посохе. В этом, между прочим, ее дополнительный секрет. Вот мы обращаемся назад, в XIX век, говорим, там — Белинский или Чернышевский, или называем другие имена — все так. А о том, что это были посохи двойные и в этом их двойном значении состояла сила литературы, как-то ипогда забываем.

Кое-что оставляю для личного разговора все-таки, но на это время еще будет. Посмотрите, пожалуйста, те места, где Александр Николаевич резко, вернее, без огибания углов, говорит о некоторых людях, ныне продолжающих присутствовать в литературе. Думаю, что при решении вопроса смягчить сие...» (Конец пленки.)

Книгу эту мне почему-то хочется закончить словами летописца Игумена Сильвестра, собравшего и написавшего «Повесть временных лет»: «А кто читает книгу сию — помяни меня».

И не столько меня — автора — помяни, но прежде всего тех, кого нет уже с нами и кто достоин наших добрых слез, светлых воспоминаний и неугасимой памяти.

КОММЕНТАРИЙ

Писать комментарий к этому тому не особо требуется — все три произведения в нем «исповедального» характера и так или иначе содержат объяснения: как и почему они появились на свет. Повесть «Зрячий посох», походив и попутешествовав по редакциям, упокоилась в столе, но отрывки из нее печатались в газетах и журналах. Самый большой и вразумительный отрывок появился в моей «альма-матер» — в журнале «Смена». О нем через какое-то немалое время услышал и затем прочел редактор журнала «Москва» Михаил Алексеев, и редкий, даже небывалый случай в современной литературе и в литературной практике — прилетел за рукописью к автору, на периферию, аж в Сибирь.

Времена «полегчали», цензурный гнет к этой поре поослаб, и скоро «Зрячий посох» без каких-либо потерь и цензурных правок увидел свет в журнале «Москва», 1, 2, 3-м номерах за 1988 год. Он несколько раз переиздавался, широко обсуждался, прежде всего в литературных и окололитературных, ученых кругах. В городе Калязине, на родине Александра Николаевича Макарова, героя «Посоха», был создан литературный музей, а повесть «Зрячий посох» была присуждена Государственная премия. Стоит упомянуть, что эта премия была в числе последних премий государства под названием СССР.

«Ода русскому огороду» — мое и не только мое радостное детище, похожее на новогоднюю елку, которую чем больше наряжаешь, тем она краше выглядит.

После надсадной работы над «Царь-рыбой», в особенности так называемой «редактуры» ее, потянуло меня, как всегда, написать что-нибудь для улады души, легонькое, радостное, и я решил набросать этюд об огороде, о нашем русском, деревенском огороде, поэтичном не менее любого сада, а если внимательней присмотреться — и красочен, и одухотворен, и таинственен он, что райские кущи. Да и жизнь деревенская вокруг огорода «пляшет», в особенности в нынешнее время — без огорода нынешние российские люди с голоду пропали бы. Начавши бесхитростную зарисовку, я увлекся, разошелся в работе, меня «понесло», громко говоря, на волне вдохновения по вегрилу памяти, и что-то уж вроде ма-

ленькой повести наль большой поэмы начало получаться. Ранний вариант «Оды» я напечатал в журнале «Наш современник», конечно же выдержав бой за название, — меня все обвиняли в том, что я неправильно понимаю то слово «пастораль», то «оду» и даже наизусть зачитывали «образцы» «од». Но я, где прикидываясь дурачком, где психопатом, стоял на своем и как с повестью «Пастух и пастушка» уберег подзаголовок, так здесь — название, определяющее не только музыкальный фон, но и скрытый, лукавый, может, и наглый смысл произведения, моей «Оды», — единственного в своем роде литературного сочинения, написанного на свой лад, но в высоком, древнем стиле («стигле») о вещах обыденных и вечных, как то: — земля, овощ, пазём, баня, корова, курицы, и о небе тоже, и о солнце, и о первой детской, память обжигающей любви.

Я не устал украшать свою «елку» и много лет подряд возвращался и возвращался к ней, читал ее вслух друзьям и близким людям — выверял каждую строку, каждое слово. Ныне все-то мне некогда почитать «Оду» и записать ее с голоса на пленку, ну да время такое, что растаскивает человека по кускам, не дает ему делать именно то, что душа его чает делать. И цензуры нет, и партия не указывает, что читать и писать, и нужда уж не давит, а вот поди ж ты — до стола и до дела своего добраться трудно.

Я очень редко и мало писал и пишу о тех местах, где мне хорошо жилось и работалось. Так, мимоходом чего-нибудь ляпну — и пошел, поехал дальше, и о деревне и речке Быковке чиркнул какие-то «затеси», мимоходные заметки, рассказ — и все. Быковка та была и осталась в моей жизни самым добрым и плодотворным временем. Здесь я начал «Последний поклон», докончил «Кражу». С неистовым озарением, за три дня нагвоздил черновик «Пастуха и пастушки», сделал, но больше выболтал и погубил с десяток рассказов; здесь мимоходом писались «затеси», письма к друзьям и даже стихи.

Не знаю, совесть ли меня заела, тоска, жажда ль покаяться подступила к сердцу, но однажды я начал писать о Паруле — о самом нашей семье и всей Быковкой любимом — не любимом, но почитаемом и необходимом человеке. Писалось свободно, писалось с печалью и тоской о самом-самом маленьком человеке, и где-то под сердцем или в самом сердце что-то сочилось слезою, и порой трепетало во мне чувство нежное и благодарное. Удалось ли до конца, наверное, нет, передать мне словом всю мою любовь, всю мою печаль, трепет мой, но, видит Бог, я стремился изо всех сил, стремился передать все свои лучшие чувства, которые я испытывал, живя в этом неприметном, самом дорогом сердцу, после родной деревни, уголке русской, уральской земли, к людям, что его населяли, и прежде всего к незабвенной российской труженице — Паруле, Прасковье Александровне Вороновой, в которой, на мой взгляд, воплотился весь облик и характер женщины-россиянки.

СОДЕРЖАНИЕ

ОДА РУССКОМУ ОГОРОДУ	5
ПАРУНЯ. Очерк	55
ЗРЯЧИЙ ПОСОХ. Повесть	79
<i>Комментарии</i>	350

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ

АСТАФЬЕВ Виктор Петрович

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том восьмой

Художественное оформление **А. Озеревской, А. Яковлева**

Редакторы **М. В. Моисеева, А. Ф. Греницкая**

Художественный редактор **Е. В. Корнеева**

Технический редактор **Н. Н. Шабли**

Корректоры

А. Ф. Пантелеева, А. С. Павленко, В. Н. Ключина, Е. М. Гаврилина

Оператор компьютерной верстки **Н. А. Боброва**

ЛР № 010162 от 06.03.97

Подписано в печать 03.07.97. Формат 84x108 1/32. Бумага офс. №1. Гарни-
тура Балтика. Печать офсетная. Усл. печ. л. 16.48. Уч.-изд. л. 17.26.
Тираж 10 000. С — 015. Заказ 67.

Отпечатано на производственно-издательском комбинате
«ОФСЕТ»

660049, Красноярск, ул. Республики, 51

